

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

" НАУКА "
МОСКВА – 2007

СОДЕРЖАНИЕ

А. А. Зализняк (Москва). Еще раз об энклитиках в «Слове о полку Игореве».....	3
С. Менгель (Берлин – Галле). Отражение протекания действия во времени в языке восточных славян	14
Е. В. Ягунова (Санкт-Петербург). Коммуникативная и смысловая структуры текста и его восприятие	32
В. В. Байда (Москва). К вопросу о выражении категории таксиса в ирландском языке ..	50
Н. А. Ганина (Москва). «Алкуинова рукопись»: к этимологической и историко-культурной трактовке	60
Г. Гладкова (Прага), И. Ликоманова (София). Некоторые раздумья над языковой ситуацией.....	73

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

В. Г. Кузнецов (Москва). Ф. де Соссюр и женевская школа: от «языка» к «речи»	97
--	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Л. Л. Шестакова (Москва). Авторская лексикография на рубеже веков.....	116
--	-----

Рецензии

П. П. Ветров (Москва). <i>К.Я. Сигал</i> . Синтаксические этюды	130
Ю. А. Ландер, Я. Г. Тестелец (Москва). Кабардино-черкесский язык	134
С. А. Бурлак, И. Б. Иткин, Ф. Р. Минлос (Москва). <i>Studies on reduplication</i>	138
А. Ю. Урманчиева (Москва). <i>E. Filimonova</i> (ed.). <i>Clusivity: Typology and case studies of the inclusive-exclusive distinction</i>	146
Д. А. Эршлер (Москва). <i>J. Hewson, V. Bubenik</i> . <i>From case to adposition. The development of configurational syntax in Indo-European languages</i>	150

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

О. В. Федорова (Москва). Российский гуманитарный научный фонд: поддержка лингвистических мероприятий.....	153
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 2007 г.	157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН,
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

© 2007 г. А. А. ЗАЛИЗНЯК

ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭНКЛИТИКАХ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

В книге «Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста» автор отнес поведение энклитик в «Слове» к числу тех его языковых особенностей, которые в балансе аргументов за и против подлинности этого произведения ложатся на чашу подлинности. Настоящая статья содержит дополнительный разбор данной проблемы в ответ на некоторые возражения, высказанные в статье М. Мозера.

В журнале «*Studia Slavica*» опубликована интересная статья австрийского лингвиста Михаэля Мозера [Мозер 2005], представляющая собой реплику на один из разделов моей книги о «Слове о полку Игореве» [Зализняк 2004].

Статья четко ограничена разбором только двух аргументов в пользу подлинности «Слова о полку Игореве» (далее: СПИ) из числа рассматриваемых в моей книге, а именно, тех, которые связаны с релятивизатором *то* и с вакернагелевскими (т. е. подчиняющимися закону Вакернагеля) энклитиками. Основное утверждение статьи состоит в том, что эти два аргумента не могут служить бесспорными свидетельствами подлинности СПИ.

При этом, однако, автор не утверждает, что тем самым непременно неверен и общий вывод моей книги. Это и понятно: ведь эти два аргумента составляют весьма небольшую часть тех трех с лишним десятков аргументов в пользу подлинности СПИ, которые упоминаются в моей книге. Даже если бы эти два аргумента были не просто поставлены под сомнение, а строго опровергнуты, общий вывод от одного этого еще не изменился бы.

Замечу лишь, что М. Мозер несколько преувеличивает то значение, которое я якобы придаю аргументу *который то* в вопросе подтверждения подлинности СПИ. В действительности я нигде не утверждаю, что это решающее доказательство тезиса подлинности. Если бы я так считал, мне незачем было бы исследовать и приводить все остальные аргументы. Более того, я должен был бы тогда исходить из того, что вопрос решен уже в 1981 году, когда я впервые обратил внимание на проблему *который то* в СПИ (см. [Зализняк 1981]). Между тем в действительности я еще долгие годы после этого пребывал в сомнении относительно того, как же обстояло дело с СПИ.

Как мне уже приходилось писать, в вопросе о СПИ нет такого окончательного аргумента, который сам по себе полностью закрыл бы вопрос. Ни один из когда-либо предъявлявшихся доводов — как той, так и другой стороны — не исключает на сто процентов возможность того, что дело было все-таки не так.

Поэтому, строго говоря, я согласен с главным утверждением М. Мозера с самого начала: да, указанные два аргумента — как, впрочем, и остальные — не являются бесспорными свидетельствами подлинности СПИ.

Обсуждать можно только бóльшую или меньшую вероятность того, что конкретный аргумент «сработает», т. е. что соответствующее рассуждение правильно отразит действительность.

И с этой точки зрения я уже не готов согласиться с оценкой относительного веса аргументов и контраргументов в рассматриваемом вопросе, которая предлагается в работе М. Мозера.

Статья М. Мозера на четыре пятых посвящена вопросу о релятивизаторе *то*; вакернагелевским энклитикам уделены в сущности лишь беглые замечания.

Между тем в системе аргументов в пользу подлинности СПИ вес этих двух аргументов как раз обратный. В моем сводном списке [Зализняк 2004: 167–170] аргумент о релятивизаторе *то* входит в самую слабую категорию — «Особенности отдельных слов», тогда как аргумент о вакернагелевских энклитиках принадлежит к более сильной категории — «Особенности целых классов слов или словоформ». Соответственно, и ниже я уделяю основное внимание именно второму, а не первому.

Вопрос о релятивизаторе *то*

М. Мозер указывает, что встретившееся в СПИ *который то* в принципе могло появиться в тексте СПИ не как наследие древнерусского подлинника, а как заимствование из польского *który to*, совершенное фальсификатором XVIII века.

С тем, что это в принципе возможно, я совершенно согласен. И, соответственно, признаю законным упрек М. Мозера в том, что я этого в книге не упомянул (ограничившись лишь ссылкой на свою статью 1981 года, где рассмотрены и польское *który to* и другие инославянские соответствия).

И М. Мозер, конечно, прав в том, что сторонники поддельности СПИ при желании могут, сочтя *который то* полонизмом, использовать его как аргумент в свою пользу. В связи с этим я признаю, что было бы более правильным, если бы в своей книге на с. 168 в рубрике «Возможные возражения» я указал для аргумента о релятивизаторе *то* среди прочих возражений еще и «мог заимствовать из польского».

Но вот с тем, что две версии происхождения этого *который то* — из древнерусского или из польского — равновероятны, я не могу согласиться.

Здесь полезно уточнить, что противопоставление этих двух версий не является все же прямым эквивалентом противопоставления версий подлинности и поддельности СПИ. Фальсификатор мог почерпнуть *который то* из древнерусского источника, и тогда никакого иноязычного заимствования тут нет, а тем не менее перед нами фальсификат. (Так что уже по одной этой причине присутствие в тексте релятивизатора *то* не может быть окончательным свидетельством подлинности СПИ.) С другой стороны, заимствование в принципе могло произойти и в древности.

Предполагаемые полонизмы, богемизмы, сербизмы и прочие иноязычные заимствования в некотором русском тексте естественно делить на две категории:

а) «сильные»; это такие явления, которых в древнерусском не было или по крайней мере они там пока что не обнаружены;

б) «слабые»; это явления, которые имелись также и в древнерусском.

Например, Э. Кинан утверждает, что в СПИ представлено множество богемизмов. Но подавляющее их большинство относится к категории слабых; скажем, он предлагает считать богемизмом слово *рана* в значении 'удар', засвидетельствованное в этом значении также и в древнерусских текстах (ср. разбор предполагаемых богемизмов в СПИ [Зализняк 2004: 286–301]).

Представляется очевидным, что если подозреваемое заимствование относится к категории слабых, то и сама гипотеза о том, что это заимствование, а не собственно русское явление, оказывается чрезвычайно слабой. Такая гипотеза может быть не совсем бессмысленной только в одном случае — если помимо нее уже доказано, что текст вообще был подвержен внедрению заимствований из данного языка (например, если уже доказано, что текст сочинил носитель этого языка). Как самостоятельный аргумент в пользу поддельности некоего спорного текста такая гипотеза не весит почти ничего.

Как легко видеть, предположение о том, что *который то* в СПИ есть заимствование из польского, — это предположение о слабом полонизме.

Оно может приобрести какое-то правдоподобие только после того, как будет установлено, что СПИ писал человек, черпавший что-то из польского.

Между тем бесспорных полонизмов, т. е. несомненно пришедших из польского и несомненно отсутствовавших в древнерусском, в СПИ не обнаружено (ср. разбор статьи Р. Айтцетмюллера о предполагаемых полонизмах в СПИ [Зализняк 2004: 222–227]).

Добавим к этому некоторые соображения, возникающие при попытке представить себе деятельность предполагаемого фальсификатора более конкретно.

Какими путями вообще может попасть в сочиняемый кем-то русский (или древнерусский) текст иноязычное, скажем, польское, слово?

Существенно прежде всего то, проникло ли оно туда незаметно для пишущего или вставлено осознанно.

Первый вариант естествен для человека, который практически владеет польским языком и активно им пользуется (разумеется, наряду с русским; реально такие люди часто бывают знакомы еще и с украинским и/или белорусским). В речи такого человека возможна естественная интерференция этих языков, и он может вставить в текст польское слово, не осознавая того, что в чистом русском языке его нет.

Второй вариант носит менее естественный характер. Он вероятен только в том случае, если пишущий сознательно хочет придать своему тексту некоторую дополнительную окраску, которую, с его точки зрения, привносит польское слово. Например, это возможно в ситуации, когда использование польских слов воспринимается как престижное. То же в случае, если пишущий хочет придать своему тексту колорит древности и почему-либо полагает, что польское слово — более древнее или более похоже на древнее.

В обоих случаях, однако, очень трудно объяснить, почему одни элементы польского языка (из числа отсутствующих в современном русском) проникли в сочинение фальсификатора, а другие нет.

Если польские элементы проскальзывали в его русских сочинениях неосознанно, то почему у него попало в текст (в русифицированной форме) именно *który to* (имеющее древнерусское соответствие), но не, скажем, *któryś*, или *ten*, или *tamten*, или *żeby* и т. п. (не имеющие такого соответствия)?

Здесь уместно вспомнить убедительный список из 20 синтаксических явлений, которые сам М. Мозер выделяет в другой работе [Мозер 1998] как элементы польского и, в терминологии автора, «югозападнорусского» влияния на русский синтаксис. Это следующие конструкции (ради краткости опускаем их точное описание, ограничиваясь примерами, в которых подчеркнут характерный элемент): 1) *есть отцом*; 2) членные формы прилагательных в предикативной функции; 3) то же для страдательных причастий; 4) *сотворився безумным*; 5) *не забвенную мя учини*; 6) *такъ вѣрни*; 7) *accusativus cum infinitivo* и *nominativus cum infinitivo*; 8) родительный качества (*и такого был мужественного сердца*); 9) *не почитают насъ там... и за пса смердящаго*; 10) оборот *что за*; 11) *через* + В. падеж в значении средства или причины; 12) *до царя Василья поидоша*; 13) *по замерзлыхъ водахъ*; 14) *суровѣйшаго надъ тя мучителя*; 15) *просити о помощь*; 16) будущее время в форме *буду* + инфинитив; 17) *имѣти* + инфинитив; 18) *царицу тобою счаровано*; 19) союз *естьли (если)*; 20) союз *так что* (см. также Крысько 2001).

Если сочинителем СПИ был человек XVIII века, говоривший по-русски и по-польски (вероятно, также и по-украински и/или по-белорусски), то весь этот ряд явлений был в числе его речевых автоматизмов. Каким же образом могло получиться, что ни одно из этих 20 явлений не попало в текст СПИ, тогда как *który to* попало?

Стороннику данной версии тут остается только сказать: «Случайность». Разумеется, случайности бывают. Но верно и то, что чем больше случайностей необходимо допустить, чтобы принять некоторую версию, тем менее надежна сама версия.

Если же фальсификатор сознательно вставил польское слово, полагая, что это усилит древний колорит, то как объяснить, что из множества специфических польских слов

он остановил свое внимание именно на *który to*, которое имеет соответствие в древнерусском? Можно, конечно, предположить, что он сделал это именно потому, что встретил *который то* также и в каком-то древнерусском источнике. Но тогда достаточно одного этого — отпадает необходимость искать объяснения в польском.

Таковы причины, по которым два объяснения для *который то* — из древнерусского или из польского — нельзя признать равноправными и равновероятными.

Вопрос о вакернагелевских энклитиках

В этом важном вопросе М. Мозер, к сожалению, фактически ограничивается лишь беглыми замечаниями, однако же считает возможным сделать на их основании общий скептический вывод относительно показательности этого аспекта синтаксиса СПИ, а именно: «Таким образом, едва ли можно утверждать, что ситуация с энклитиками в Игорева песне требует недоступного для предполагаемого фальсификатора знания исторического синтаксиса. Их доказательная сила в отношении подлинности Игорева песне остается дискуссионной» [Мозер 2005: 280].

В моей книге было показано, что в количественном измерении СПИ обнаруживает тот же тип соотношения препозиции и постпозиции *ся*, что в памятниках XII века, близких к живой речи, — в ранних берестяных грамотах и прямой речи в Киевской летописи. При этом сходство обнаруживается не только при суммарном подсчете, но и порознь в каждой из выделенных нами основных категорий фраз. Между тем все другие группы памятников — как древних, так и поздних — дают совершенно другую картину, с гораздо более низким процентом случаев препозиции *ся*.

Таким образом, если данное сходство не случайно, то либо СПИ создано примерно тогда же, что и названные памятники, и в том же стилистическом ключе, либо фальсификатор каким-то образом — сознательно или неосознанно — достиг такого сходства.

Случайность здесь, действительно, нельзя исключать — прежде всего потому, что материала СПИ мало для серьезной статистики. Но все же следует учитывать, что здесь придется признать не одну только случайность сходства суммарных отношений, но также и случайность сходства в количественном распределении примеров по частным категориям фраз. И напомню еще раз, что каждая новая апелляция к случайности вычитается из правдоподобия версии, которая на этой случайности основана.

М. Мозер фактически трактует указанное сходство именно как случайное, хотя и не говорит об этом в явной форме. Его мысль сводится к тому, что представленная в СПИ картина поведения *ся* могла сложиться более или менее стихийно, в силу различных индивидуальных факторов, проявившихся в разных группах фраз.

Вот какие соображения он высказывает по поводу каждой из рассматриваемых категорий фраз с возвратным глаголом.

1 (фразы с подчиненным инфинитивом). Здесь в СПИ имеется всего один пример, и он содержит *ся* в препозиции: *А чи диво ся, братіє, стару помолодити*. Комментарий М. Мозера (с. 279): «Тот факт, что *один* пример с инфинитивом обнаруживает препозицию *ся*, едва ли может рассматриваться как особо показательный — для этого имеется слишком много соответствий в других древневосточнославянских текстах».

2 (фразы с начальным местоименным словом). Здесь М. Мозер указывает на то, что для сочетания *ту ся*, представленного в СПИ трижды, есть много примеров в древних текстах, в частности, в Киевской летописи. Правда, тут же он добросовестно констатирует, что в Киевской летописи наряду с таким *ту ся* имеется даже несколько большее число примеров, где *ся* стоит во фразе с *ту* не так: *и ту скуписа, и ту скупишася, и ту шблomisшася, и ту снашася*. Он комментирует это так: «Фальсификатор мог усвоить конструкцию *ту + ся + глагол* совсем из другого текста». И добавляет, что соответствие для *ту ся* часто встречается в польском и в хорватском.

3 (фразы с начальным знаменательным словом). В СПИ препозиция *ся* представлена в 6 случаях из 10. Комментарий М. Мозера: «Предполагаемый фальсификатор, должно быть, установил только то, что — как в каком-то другом известном ему славянском языке вплоть до его времени — употреблялись оба варианта».

4 (фразы с начальной двучленной группой). Комментарий М. Мозера (с. 280): «Если здесь из пяти примеров один обнаруживает препозицию *ся*, то речь идет ровно об одном примере двойного *ся* (*Вежи ся Половецкѣи подвизашася*), тем самым не о чистой препозиции — но в древнейших восточнославянских текстах препозиция засвидетельствована крайне редко, а двойное *ся*, как уже упомянуто, вообще не засвидетельствовано».

5 (фразы с причастием в нечленной форме). В СПИ примеров препозиции *ся* нет. Комментарий М. Мозера: «Это в конечном счете незначимо (insignifikant): правда, в древнейших текстах препозиция чаще, но предполагаемый фальсификатор, должно быть, не приобрел знания об этом (*muss dies ja nicht in Erfahrung gebracht haben*)».

Таким образом, на каждый пункт находится соображение *ad hoc*, каждый раз новое, которое должно материал этого пункта как-то обесценить. В пункте 1 М. Мозер ссылается на то, что так бывает во многих древневосточнославянских памятниках. В пункте 2 — на то, что в Киевской летописи большей частью не так, но фальсификатор в этом случае мог опираться на какой-то иной памятник. В пункте 3 — просто на то, что в памятниках бывает и так, и так. Про пункт 4 сказано только, что тут всего один пример препозиции из пяти, и тот не вполне чистый. Для пункта 5 предположено, что фальсификатор мог просто не знать, как обстоит дело в древнейших текстах.

При этом в изложении М. Мозера дело выглядит так, что объяснения требуют только примеры с препозицией *ся*, а примеры с постпозицией представляют собой как бы нейтральный, ни о чем не говорящий фон, и можно не учитывать ни их структуру, ни их количество; иначе говоря, чтобы объяснить всю ситуацию с размещением *ся* в СПИ, достаточно найти для каждой из имеющихся в СПИ фраз с препозицией *ся* какие-то индивидуальные причины, которые могли бы привести сочинителя к именно такому построению фразы.

Между тем на самом деле объяснения требуют не одни лишь фразы с препозицией *ся*, а распределение случаев препозиции и постпозиции. Например, согласно М. Мозеру, пункт 4 не имеет большого значения по той причине, что здесь всего один пример препозиции *ся* из пяти. Но в действительности здесь существенно как раз это соотношение «всего один из пяти»: оно очень похоже на ситуацию в этой категории фраз в древнерусских памятниках. И нуждается в объяснении именно это сходство между СПИ и древними памятниками, а не просто конкретный пример препозиции.

Но рассмотрим все же и те конкретные соображения М. Мозера по поводу фраз СПИ с препозицией *ся*, из которых, по его мнению, вытекает, что все эти фразы могли быть построены фальсификатором без особых затруднений и не требовали от него ни больших лингвистических знаний, ни каких-то необыкновенных способностей.

Мог ли фальсификатор механически скопировать готовое сочетание *ту ся* из какого-то древнерусского памятника или из польского или хорватского языка? В принципе, конечно, мог. Я могу в этом пункте пойти даже дальше М. Мозера и предложить следующее простое (а в рамках версии поддельности даже как бы напрашивающееся) решение. Ведь в Задонщине (в списке И-1) есть сочетание *тудо ся*. И фальсификатор, если он существовал, несомненно опирался в своем сочинительстве на Задонщину. И тогда ему незачем было далеко ходить за сочетанием *тудо ся* (или, что то же, *ту ся*): оно уже содержалось в его образце¹.

¹ Понятно, что именно на это *тудо ся* в Задонщине сторонники подлинности СПИ указывают как на заимствование из СПИ; но в рамках версии поддельности здесь, конечно, естественно предполагать заимствование в противоположном направлении.

Так что три примера с *ту ся* в СПИ действительно можно сравнительно легко объяснить как продукты копирования. Но проблема не сводится к этим трем самым легким примерам. Чтобы сделать вывод о том, что вообще в данном вопросе задача фальсификатора была не так уж сложна, необходимо уметь как-то объяснить все имеющиеся примеры.

И вот тут более глубокий и точнее документированный анализ показывает, что целый ряд из них искусственно создать далеко не так просто, как это выглядит в беглом обзоре у М. Мозера.

Нет необходимости подробно разбирать все фразы СПИ с препозицией *ся*. Ограничимся двумя наиболее показательными примерами.

Первый из них — фраза *А чи диво ся, братіе, стару помолодити*. Она содержит инфинитив с препозицией *ся*, причем не контактной, а дистантной.

Заметим предварительно, что фальсификатор явно как-то различал — если не на основе лингвистического знания, то хотя бы интуитивно — разные категории фраз с возвратным глаголом. Из этого фактически исходит и М. Мозер: иначе каким образом фальсификатор мог бы, например, применить принцип «бывает и так, и так» только к категории 3, а не ко всем пяти?

И М. Мозер признает, что фальсификатор должен был использовать в своем деле в качестве образцов древние восточнославянские памятники — даже если он, кроме того, в той или иной мере опирался на какой-то живой славянский язык. В вопросе о том, сознательно или неосознанно он действовал в этих случаях, М. Мозер, судя по приведенной выше цитате, по-видимому, склоняется ко второму. Но для нас неприципиально в данном случае, сознательно или неосознанно фальсификатор отражал свои образцы. Важно то, что имело место отражение образцов.

Обратимся же к этим предполагаемым образцам.

Рассмотрим отношение числа фраз с инфинитивом (возвратного глагола) и дистантной препозицией *ся* к общему числу фраз с неначальным инфинитивом (возвратного глагола). Вот какая картина обнаруживается в памятниках (для расширения кругозора включаем в список также и некоторые старославянские памятники):

Мариинское евангелие	1 из 39
Супрасльский кодекс	3 из 128
Изборник 1076 года	1 из 33
«История Иудейской войны» Иосифа Флавия	0 из 73
«Пчела»	1 из 41
Житие Андрея Юродивого	22 из 73
«Повесть временных лет» (без Мономаха)	8 из 51
Киевская летопись по Ипат. (в целом)	21 из 95
Галицко-Волынская летопись	1 из 34

На фоне этих данных выглядит уже довольно легковесным утверждение М. Мозера, что фраза из СПИ не составляет ничего особо примечательного, поскольку для нее «имеется слишком много соответствий в других древневосточнославянских текстах». Таких соответствий, конечно, можно насчитать какое-то количество, если их просуммировать по крупицам по всем памятникам. Но все же человек, знакомящийся с разными памятниками подряд, в среднем примерно в 10 раз чаще встречает другие способы построения фразы с возвратным инфинитивом.

А нет ли все-таки такого источника, где доля фраз с дистантной препозицией была бы существенно выше — ну хотя бы достигала половины случаев? Оказывается, есть: это прямая речь в Киевской летописи (и напомним, что это как раз один из тех двух источников, с которыми СПИ сближается по целому ряду признаков). В ней данное соот-

ношение составляет 15 из 30 (тогда как в авторской речи в той же летописи — 6 из 65). Попутно отметим, что такой же порядок элементов, как в СПИ, имеет единственная фраза рассматриваемой структуры, встретившаяся в ранних берестяных грамотах: *могоу сь съ тобою ати на водоу* в грамоте XII века № 238.

А не могла ли именно прямая речь в Киевской летописи послужить для фальсификатора искомым образцом? Могла — но только при условии, что фальсификатор сперва сумел расщепить Киевскую летопись на два ее основных компонента: без этого данный источник «невидим», он растворяется в авторской речи, у которой совсем другие характеристики.

Таким образом, очень трудно объяснить, на каком базисе фальсификатор развил такую интуицию, которая позволила ему построить фразу *А чи диво ся, братіе, стару помолодити*. Ведь 90 процентов прочитанного им материала подсказывало ему другую конструкцию — с постпозицией *ся* (... *стару помолодитися*) или по крайней мере с контактной препозицией (... *стару ся помолодити*).

Но и это еще не все: не следует забывать, что фальсификатор не просто сочинил эту фразу. Если СПИ создал он, то он взял эту фразу из Задонщины, где она выглядит как *Добро бы, брате, в то время стару помолодит(ь)ся*. И вот в этой уже готовой фразе, совершенно похожей на подавляющее большинство известных ему фраз с возвратным инфинитивом, он по какому-то неизвестному побуждению счел нужным изменить место *ся*, причем заменив постпозицию даже не на контактную препозицию, которая все же не столь редка, а на максимально редкую дистантную препозицию.

Как мы уже выяснили, невозможно предполагать, что он часто встречал фразы с дистантной препозицией *ся* при инфинитиве и потому просто привык именно так строить фразу. Остается только предположить — если не прибегать к жалкой версии о чисто случайной перестановке *ся*, — что он знал, что дистантная препозиция создаст впечатление древности, и именно ради этого сознательно переставил *ся*.

Разумеется, этого знания можно было достичь с помощью научного анализа. Что же касается предположения о том, что можно того же самого достичь с помощью чистой интуиции, то счастье его правдоподобным очень трудно. Во всяком случае это нас ведет к тому же допущению, к которому версия поддельности СПИ уже приводила при анализе целого ряда других аспектов этого памятника, — что подделыватель был гением интуиции.

Нельзя ли, однако, вообще обойтись без апелляции к древнерусским памятникам, а объяснить то же самое тем, что фальсификатор знал какой-то живой славянский язык, где энклитики сохраняют древний порядок (или даже просто тем, что это был его родной язык)? Правда, именно в этом пункте М. Мозер не апеллирует к инославянскому источнику, но он упоминает о возможности такого источника в некоторых других случаях.

Дистантная препозиция показателя возвратности при инфинитиве имеет различную частотность в разных западно- и южнославянских языках. Так, в польском фразы такого строения составляют лишь ничтожную часть общего массива фраз с возвратным инфинитивом. Но, например, в сербском это довольно частое явление. Поэтому в принципе можно было бы допустить, что в данном пункте фальсификатор произвел синтаксическое заимствование, в частности, из сербского.

Тогда мы столкнемся с такой же проблемой, как в случае с *который то*.

Если фальсификатор просто свободно говорил по-сербски и допускал сербизмы неосознанно, то чем можно объяснить, если не сослаться в очередной раз на случайность, что он заимствовал черту, представленную также и в древнерусском источнике (причем в таком, с которым СПИ и в ряде других отношений сходно, — в прямой речи из Киевской летописи), но при этом не заимствовал сербских черт, отсутствовавших в древнерусском, например, таких, как имперфекты типа **хочаше* или типа **дотециаше* (в соответствии с сербскими *хоћаше*, *дотецијаше*) или обороты типа *хотяше да пѣснь творить* вместо *хотяше пѣснь творити*, или вариант *му* вместо *ему* и т. д.?

Если же он скопировал эту сербскую черту обдуманно, полагая, что она придаст его фальсификату более древний колорит, то тот же самый вопрос принимает вид: как он сумел сделать среди разных сербских черт такой правильный, с точки зрения данной цели, выбор? И как он мог счесть данную конструкцию за древнюю в условиях, когда ни в евангельских текстах, ни в более поздних церковнославянских памятниках, ни в большинстве древнерусских она почти не встречается?

Другой пример — фраза *Вежи ся Половецкѣи подвизашася* (с двойным *ся*).

М. Мозер лишь бегло упоминает эту фразу, не уделяя ей особого внимания. Между тем в действительности для создания этой фразы фальсификатор должен был бы подняться до самых вершин своего искусства. Эта фраза уже рассматривалась нами [Зализняк 2006: 10–11]; ниже мы даем более подробный комментарий.

Первое *ся* стоит здесь в точном соответствии с законом Вакернагеля, причем оно вклинено в группу «существительное + согласованное с ним прилагательное». И именно таким должен был быть порядок слов в первоначальном состоянии славянской фразы.

Однако во фразах с начальной группой такой структуры эта древнейшая синтаксическая модель очень рано начинает вытесняться другими конструкциями. В древнерусских памятниках, даже XI–XII веков, она сохраняется лишь в чрезвычайно редких случаях.

Рассмотрим фразы с начальной группой «существительное + согласованное с ним прилагательное (в том числе местоименное) или управляемое им слово» (в любом порядке) и сказуемым, имеющим при себе *ся*.

Подсчитаем отношение числа случаев вклинивания *ся* в начальную группу указанной структуры к общему количеству таких фраз. Число случаев вклинивания записано ниже (если это не нуль) в виде $a + b$, где a — число случаев с группой «существительное + согласованное с ним прилагательное», b — с группой «существительное + управляемое им слово». Общее количество фраз указывается суммарно для случаев a и b .

Вот результаты этих подсчетов для ряда важных древних памятников.

Мариинское евангелие	0 из 71
Супрасльский кодекс	0 из 148
Житие Мефодия	1+0 из 3
Изборник 1076 года	0 из 101
«История Иудейской войны» Иосифа Флавия	0 из 204
«Пчела»	0 из 106
Житие Андрея Юродивого	0 из 82
Житие Феодосия	1+1 из 34
«Хождение» игумена Даниила	5+0 из 52
«Повесть временных лет» (без Мономаха)	1+1 из 80
Прямая речь в Киевской летописи	1+2 из 13
Авторская речь в Киевской летописи	0 из 136
Синодальный список НПЛ	1+2 из 139
Слово о полку Игореве	1+0 из 5

Приведем несколько иллюстраций из категории a (т. е. той, к которой относится интересующая нас фраза из СПИ); как видно из подсчетов, такие примеры представляют собой исключительную редкость:

съ грубою сѧ чадью пѣрѣхъ (Житие Мефодия по Усп. сб., 107а);

си же сѧ злоба склучи въ дѣѣ Възнесеньѧ Г҃а нашего Г҃са Х҃а (ПВЛ по Лавр., [1093], 73 об.);

се съ симъ ны сѧ полкомъ нѣлзѣ бити сею рѣкою (прямая речь в Киевской летописи по Ипат., [1148], 132 об.);

того сѧ всего ѿступаемъ (Синод. НПЛ, [1242], 130);

да то ся мѣсто зоветь Месопотамия («Хождение» игумена Даниила; заметим, что из 5 примеров в этом памятнике 4 практически одинаковых).

Мы ясно видим теперь тот предельно узкий базис, на который должна была опираться интуиция фальсификатора, чтобы создать фразу *Вежи ся Половецкѣи подвизашася*, точнее, чтобы именно так поставить в ней первое *ся*. При исключительной редкости фраз данной структуры совершенно непостижимо, каким образом фальсификатор почувствовал, что это не странные ошибки, а как раз древнейшая синтаксическая модель, которую стоит запомнить и использовать.

Не помогут здесь и ссылки на живые славянские языки: ни в одном из них такая конструкция не является сколько-нибудь частотной.

Что же касается второго *ся*, то про него М. Мозер говорит лишь то, что «в древнейших восточнославянских текстах (...) двойное *ся* (...) вообще не засвидетельствовано»². По-видимому, смысл этого указания в том, что здесь можно усматривать улику против фальсификатора, который в данном случае не сумел построить правильную раннедревнерусскую фразу.

Но откуда же тогда все-таки взялось второе *ся*?

В живых языках XVIII века никакого двойного *ся* уже не было. Двойное *ся* — это явление переходного периода в истории восточнославянских языков, когда древнее правило расстановки энклитик (закон Вакернагеля) постепенно ослабевало, но еще не исчезло, а новое правило (требующее постоянной постпозиции *ся*) еще не победило полностью; в основном это XV–XVI века.

Тем самым двойное *ся* относится к той же группе представленных в СПИ явлений, что южнославянская орфография или ряд морфологических эффектов XV–XVI веков, которых тоже нет ни в рукописях XII–XIII веков, ни в практике XVIII века, — они ограничены неким средним периодом истории русского языка. Эта группа явлений создает наибольшие трудности для версии об искусственном создании СПИ в XVIII веке, поскольку фальсификатор не мог познакомиться с ними ни по древнейшим источникам, ни из языковой реальности (и письменной практики) своего времени. Единственная возможность состояла в знакомстве с рукописями XV–XVI веков и усвоении тех их специфических особенностей, которые отличают их как от древнейших, так и от позднейших рукописей.

При этом необходимо учитывать, что даже и в поздних рукописях двойное *ся* представлено со статистической точки зрения крайне редко — в обследованном нами материале это 0,4% от общего числа *ся* при нена начальном глаголе (28 случаев из примерно 6600). Чтобы заметить это явление и как-то зафиксировать в сознании (или подсознании), нужно было «проработать» множество таких рукописей.

Из всего этого ясно, что человек конца XVIII века поставить второе *ся* в силу собственных речевых или письменных автоматизмов никоим образом не мог. Ничего не давали ему здесь и живые славянские языки: двойного *ся* в них нет. Он мог только симитировать — сознательно или неосознанно — эффект, встречавшийся ему в мизерном проценте случаев в рукописях XV–XVI веков.

Как же все-таки ему это удалось? Ничего не остается, как в очередной раз прибегнуть либо к гипотезе о беспрецедентной силе интуиции, либо к гипотезе о превосходном лингвистическом анализе (на десятилетия раньше возникновения лингвистической науки нового времени) в сочетании с изысканным коварством — желанием создать у лингвистов отдаленного будущего иллюзию древнего текста, переписанного в XV–XVI веках.

Таким образом, эта линия объяснения требует гипотез, несравненно более сложных и мало правдоподобных, чем прямолинейное предположение о том, что второе *ся* появи-

² Строго говоря, это не совсем верно: несколько примеров двойного *ся* в памятниках XII–XIII вв. все же отмечено (см. [Др.-русс. гр. 1995: 474]). Но действительно их так мало, что в рассматриваемом здесь вопросе они явно не могли сыграть никакой роли.

лось под пером в точности тех, для кого оно было естественно и характерно, — писцов XV–XVI веков.

В целом ситуацию с энклитиками в СПИ можно резюмировать так.

Соотношение случаев препозиции и постпозиции *ся* в СПИ сходно с ранними берестяными грамотами и прямой речью в Киевской летописи — как в целом, так и в распределении по разным категориям фраз. Существует, правда, вероятность того, что это статистическая случайность, но она невелика.

Но особенно существенно в данном вопросе то, что без сложных и маловероятных допущений не удастся объяснить строение ряда конкретных фраз с препозицией *ся* из СПИ, если исходить из предположения об их искусственном создании в XVIII веке.

Соображения общего порядка, на которых строится скептическая позиция М. Мозера, оказываются совершенно недостаточными при документированном анализе показаний древнерусских памятников и их возможных отражений в предполагаемом фальсификате.

* * *

В заключение несколько более общих замечаний.

В ситуации, когда не существует одного довода, который сам по себе окончательно закрыл бы вопрос, аргументация неизбежно принимает форму блока из целого ряда аргументов, которые не просто соседствуют в общем списке, но в определенной степени взаимодействуют друг с другом; в частности, слабое звено одного аргумента может быть «защищено» действием некоторого другого аргумента.

Поэтому избранная М. Мозером постановка вопроса, состоящая в том, что анализируются ровно два аргумента в отвлечении от всех прочих, фигурирующих в дискуссии, хотя и привлекательна четкостью своих границ, в целом очень мало что дает.

В рамках версии о фальсификации, естественно, необходимо иметь хотя бы в общих чертах портрет предполагаемого фальсификатора.

Если против этой версии выдвинуто три десятка аргументов, то в идеале фигура фальсификатора должна быть такова, чтобы она могла перечеркнуть все эти аргументы, то есть предполагаемый фальсификатор должен обладать такими способностями и умениями, которые сделают эти аргументы недействительными.

Можно для начала попытаться обрисовать фигуры, обладающие хотя бы частью требуемых способностей.

Так, в принципе можно представить себе фальсификатора, который тщательно изучил Ипатьевскую летопись и научился имитировать именно ее. Если допустить, что такая цель действительно достижима, то из общего списка аргументов против поддельности СПИ можно будет признать недействительными те, где речь идет о наличии в СПИ такого же явления, как в Ипатьевской летописи.

Можно представить себе и несколько иную фигуру — человека, который прочел много рукописей XV–XVI веков, созданных на северо-западе Руси, и научился имитировать — осознанно или интуитивно — именно их орфографию, морфологию и диалектные черты. Это позволило бы признать недействительным другой ряд аргументов против поддельности СПИ.

Далее, можно вообразить человека с исключительными лингвистическими способностями, который, опередив свой век, научился отличать раннедревнерусские рукописи от рукописей XV–XVI веков и достиг способности правильно преобразовывать текст Задонщины с ее поздней грамматикой в текст, соответствующий нормам XII века.

Возможна также фигура деятельного собирателя народных речений в разных местах России, Белоруссии и Украины, а иногда и за их пределами.

Возможна фигура поляка, чеха или серба, знавшего также и русский язык, который привнес в сочиняемый текст элементы своего родного языка.

Этот список можно продолжить.

Каждая из очерченных фигур позволяет с какой-то степенью правдоподобия объяснить определенную группу черт СПИ.

Правда, по поводу почти каждой из этих фигур могут быть высказаны серьезные сомнения относительно их реальной способности правильно построить соответствующие элементы фальсификата; об этом много говорится в моей книге. Нельзя сказать также, что все эти фигуры легко вписываются в культурно-историческую обстановку конца XVIII века. Но все же полностью отрицать возможность их существования и их потенциал нельзя.

Понятно, однако, что версия фальсификации неумолимо требует совмещения всех этих фигур (точнее, столько из них, сколько необходимо, чтобы справиться со всей суммой аргументов против поддельности). И вот эта задача оказывается предельно, практически непреодолимо трудной.

Например, по мнению Э. Кинана, Йозеф Добровский, в котором он хочет видеть автора СПИ, совмещает в себе свойства чуть ли не всех этих фигур. Но все же ему никаким образом не удастся приписать Добровскому знание особенностей северо-западных русских рукописей XV–XVI веков. И вот Э. Кинану ничего не остается, как не признавать (точнее, обходить молчанием) несомненное: что в СПИ есть северо-западные черты.

М. Мозер не рисует нам полного портрета человека XVIII века, который мог бы сочинить СПИ. Это вполне естественно, поскольку он не объявляет себя прямым сторонником версии поддельности. Но все же упомянуты некоторые черты теоретически возможного фальсификатора: он не является лингвистом – знатоком исторического синтаксиса; он знаком с Ипатьевской летописью и какими-то другими рукописями; он знает один или несколько западно- и/или южнославянских языков.

Нетрудно видеть, что такая фигура еще менее способна соединить в себе все необходимые характеристики, чем фигура Добровского: Добровский был по крайней мере превосходный лингвист.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Др.-русск. гр. 1995 — Древнерусская грамматика XII–XIII вв. М., 1995.
- Зализняк 1981 — А. А. Зализняк. Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском // Балто-славянские исследования 1980. М., 1981.
- Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста. М., 2004.
- Зализняк 2006 — А. А. Зализняк. Можно ли создать «Слово о полку Игореве» путем имитации // ВЯ. 2006. № 5.
- Ипат. — Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1962.
- Крысько 2001 — В. Б. Крысько. Рецензия на Мозер 1998 // Славяноведение. 2001. № 4.
- Лавр. — Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Вып. 1–3. Л., 1926–1928.
- Мозер 1998 — M. Moser. Die polnische, ukrainische und weißrussische Interferenzschicht im russischen Satzbau des 16. und 17. Jahrhunderts. Frankfurt-am-Main etc., 1998. (Schriften über Sprachen und Texte; Bd. 3).
- Мозер 2005 — M. Moser. Sind der «Relativisator» *to* und die Syntax anderer Enklitika als klare Beweise für die Authentizität des Igorlieds zu werten? // Studia Slavica. 2005. T. 50/3.
- НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
- ПВЛ — Повесть временных лет.
- Синод. НПЛ — Синодальный список НПЛ.
- СПИ — Слово о полку Игореве.
- Усп. сб. — Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971.

© 2007 г. С. МЕНГЕЛЬ

**ОТРАЖЕНИЕ ПРОТЕКАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ
В ЯЗЫКЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН**

На основе анализа памятников восточнославянской письменности и современного состояния русского, украинского и белорусского языков доказывается, что в восточнославянских языках (в отличие от южнославянских), по всей вероятности, не существовало сложной системы прошедших времен, а процесс протекания действия во времени отражался (и отражается) преимущественно путем описания способа действия. Выдвигается гипотеза, что такое положение вещей объясняется восприятием протекания действия в сознании восточных славян прежде всего как продолжительного или непродолжительного процесса и только затем как процесса, происходящего в настоящем, прошлом или будущем.

Любое действие протекает во времени. Когнитивная связь между действием и временем осуществляется в сознании человека в двух плоскостях. Одна из них – дейктическая – категоризирует действия как явления прошлого, настоящего или будущего. В семантическом пространстве языка эта плоскость восприятия выражается грамматической категорией времени глагола, системой глагольных времен. Другая плоскость восприятия отражает действия как протекающие во времени продолжительные (дуративные) или непродолжительные (пунктивные) процессы. Ее характеристики в семантическом пространстве языка выражаются в первую очередь описанием способов глагольного действия.

**1. ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ КАТЕГОРИЙ СЛАВЯНСКОГО ГЛАГОЛА
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ. НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСМОТРА
НАКОПЛЕННЫХ ЗНАНИЙ**

1.1. В историческом языкознании принято считать, что в славянских языках обе плоскости восприятия, подвергнутые органичному синтезу, нашли свое отражение во взаимодействии глагольных категорий времени, вида и способа действия. Развитие славянского глагола в этом направлении осуществлялось, по мнению ученых, следующим образом [Aizetmüller 1978]: от оппозиции способов глагольного действия (дуративность : пунктивность) в объективной плоскости восприятия через дальнейшее детальное дифференцирование глагольного действия в прошлом к оппозиции во времени (настоящее : прошлое) в объективно-субъективной плоскости восприятия, что привело к возникновению категории вида. Ключевую роль при этом сыграло развитие различных значений аориста: корневого аориста, обозначающего пунктивное (ментальное) действие в прошлом, тематического аориста, маркирующего начало или конец дуративного действия в прошлом, и сигматического аориста, обозначающего ограниченное во времени дуративное действие в прошлом.

Принято считать, что в старославянском (древнецерковнославянском) языке, представляющем собой в известной степени фиксацию праславянского языка в период его распада, обнаруживаются следы подобного развития. Оппозиция способов глагольного действия представлена помимо однокоренных глаголов III-го и II-го классов, ср.: прыгати/прыгнѣти, индоевропейскими оппозициями, ср.: (вѣз)имати/(вѣз)ати, гладати/гладѣти, хватати/хватити. Аорист и имперфект, обозначающий неограниченное

дуративное действие в прошлом, функционируют в качестве живых форм претерита; при этом среди форм аориста наиболее продуктивны сигматические. Во 2-м и 3-м лице ед. числа, т.е. в наиболее частотных употреблениях, они совпадают с формами тематического аориста и подобны основе инфинитива, ср.: *хвати, гладѣ*. Корневой аорист выступает в виде отдельных непродуктивных форм, ср.: *пожрѣтъ, выстѣ*. Категория глагольного вида находится в процессе развития, о чем свидетельствует отсутствие облигаторной видовой корреляции: целый ряд глаголов тяготеет к совершенному или несовершенному виду в зависимости от способа глагольного действия.

Разветвленная система прошедших времен старославянского языка включает в себя кроме выше названных простых претеритов – аориста и имперфекта – два сложных прошедших времени, образуемых с помощью причастия прошедшего времени на *-лъ* и вспомогательного глагола *выти* – перфект и плюсквамперфект. Они обозначают действие прошлого, рассматриваемое с точки зрения настоящего.

1.2. Первый письменный язык славян, как известно, генетически восходит к южнославянским, македоноболгарским, диалектам. В современном болгарском языке сохранилась вполне идентичная система прошедших времен с четырьмя функционально задействованными формами претерита. Из западнославянских языков подобная система времен представлена в грамматиках серболужицкого. Современные же восточнославянские языки во главе с русским фактически не содержат формальных или семантических указаний на наличие у них в прошлом сложной системы прошедших времен: формальным репрезентантом категории прошедшего времени является единственно неспрягаемая форма на *-л*. В противоположность общепринятому в русистике мнению, что к неизбежной утрате системы прошедших времен вело развитие категории вида (ср. иное объяснение в [Гаспаров, Сигалов 1974]), современный болгарский язык, наряду с другими славянскими, обладает высокоразвитой категорией аспектуальности, проявляющейся также во всех формах разветвленной системы претеритов. В то же время содержание категории вида в различных славянских языках отличается своими когнитивными особенностями [Петрухина 2000].

Такое положение вещей, как нам кажется, свидетельствует о необходимости в определенной степени пересмотреть (или уточнить) общепринятое научное мнение о едином общеславянском развитии глагольных категорий времени, вида и способа действия, связанных с представлением о протекании действия и его отражением в языке.

В настоящей статье делается попытка осветить лишь один аспект данной проблематики, а именно, "дефективность" категории времени в восточнославянских языках. Не отрицая накопленных в этом плане сравнительно-исторической языковедческой наукой знаний о близком родстве славянских языков с индоевропейской языковой семьей, попытаемся рассмотреть выше названные особенности под углом зрения когнитивных процессов, учитывая возможность модификации и изменчивости языковой картины мира [Кубрякова 2004]. В нашем изложении будем исходить из новейших данных, полученных исторической наукой о языке и общим языкознанием, привлекая некоторые незаслуженно забытые грамматические теории прошлого.

2. СИНХРОННОЕ ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ РУССКОГО ГЛАГОЛА В ИСТОРИИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ВЫВОДОВ

Один из замечательных представителей русской грамматической науки К.С. Аксаков высказал в свое время мысль о том, что для русского глагола категория времени морфологически нерелевантна: область претерита представлена в русском языке причастием, а будущее время выражается с помощью форм настоящего времени глаголов совершенного вида. Таким образом категория времени является в русском языке только "психологической и синтаксической". Морфологически релевантной и формально выраженной представляется единственно категория вида [Аксаков 1855/1875: 411 и сл.].

Развивая эту мысль, его последователь Н.П. Некрасов приходит к следующему выводу: «Быстрота, краткость, продолжительность, кратность проявления действия не нуждаются во времени и им не измеряются. <...> Время есть условие, под влиянием которого мыслится действие; продолжительность есть свойство, без которого немислимо действие в русском глаголе. <...>» [Некрасов 1865: 139]. Далее он высказывает – отнюдь не бесспорное, но обоснованное – предположение о том, что в русском языке любая морфологическая форма глагола способна выражать любые временные значения.

Благодаря неординарным, хотя и не бесспорным, идеям этих ученых – назовем здесь также имена А.В. Болдырева [Болдырев 1812], Г.П. Павского [Павский 1850], А. Мазона [Mazon 1914] – теория о «безвременности» русского глагола сменила господствовавшие до середины XIX века представления о сложной системе глагольных времен в русском языке, опиравшиеся на описания первых русских грамматик XVIII века, составленных в соответствии с западноевропейской (прежде всего латинской) грамматической традицией (ср. десять времен в грамматике М.В. Ломоносова [Ломоносов 1755], восемь – у А.Х. Востокова [Востоков 1831]). В 30-е годы прошлого века последователей лингвистических взглядов К.С. Аксакова и Н.П. Некрасова обвинили в «субъективистском» подходе к понятию категории времени и в «психологизме», теория была признана «идеалистической». Грамматические описания современного русского языка вернулись к «реалистической» системе трех времен (ср. [Ludolf 1696; Адодуров 1731]).

Данный подход представлен и по сей день во всех русских грамматиках. При описании категории прошедшего времени в них указывается на остатки в современном русском языке «древней системы прошедших времен» (которая описывается в традиционных исторических грамматиках русского языка, ср. [Борковский, Кузнецов 1965]), и делаются попытки с учетом значения вида выявить у форм на -л – «формальных реликтов старого перфекта» – «унаследованные» ими значения аориста, перфекта [Русская грамматика 1980] и имперфекта [Виноградов 1972].

Такое противоречивое понимание категории времени у русского глагола в плане синхронного описания современного состояния языка в истории грамматической мысли лишний раз заставляет задуматься над ответом на вопрос, который принято рассматривать в области диахронного описания: почему русский язык (и другие восточнославянские языки) утратил сложную систему прошедших времен? Можно задать этот вопрос иначе: в какой степени сложная система прошедших времен была свойственна русскому языку (и другим восточнославянским языкам) для отражения протекания действия во времени?

3. НЕПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ ПРОШЕДШИХ ВРЕМЕН В ЯЗЫКЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. ДИАХРОННЫЙ АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФАКТОВ

Чтобы проследить историю развития того или иного языкового явления, ученые вынуждены обращаться к письменным памятникам данного языка. Полученные путем их анализа результаты сравниваются с положением дел в современном языке, прежде всего в его ненормированных, устных, живых формах существования, преимущественно диалектах. Определенное несоответствие – письменных и устных – источников сравнения является таким образом неременным условием любого исторического исследования. Для истории русского языка (и других восточнославянских) этот момент несоответствия, если не подойти к нему с должной степенью осторожности, может привести к серьезным искажениям результатов исследования.

3.1. Появление восточнославянской письменности связано, как известно, с принятием христианства Киевской Русью в 988 году. Письменная фиксация общевосточнославянского становится возможной благодаря импорту из Болгарии церковнославянского (т.е. старославянского, см. 1.1) культового языка и через него – кириллического письма. Благодаря близкородственности славянских языков южнославянский по происхождению сакральный язык стал не только понятным восточным славянам, но явился неотъ-

емлемой и определяющей частью их письменного языка. Язык культа приобретает статус языка культуры со свойственными ему атрибутами престижности и кодифицированности (ср. [Успенский 1987]), оставляя за восточнославянским – языком устного общения – область письменной фиксации в сфере деловой и приватной коммуникации. Стабильное сосуществование двух языков как двух «неравных» вариантов письменного языка (см. [Mengel 1998], ср. [Виноградов 1982; Винокур 1959; Соболевский 1980; Живов 1998]) продолжается в истории русского языка семь столетий (XI–XVII вв.) и, как минимум, четыре столетия (XI–XIV вв.) в истории украинского и белорусского языков. Кодифицированный, престижный церковнославянский благодаря культурно-языковой политике и пуристским усилиям книжников сохраняет в чистоте свою генетически южнославянскую языковую систему и сознательно охраняется в этом плане от восточнославянского влияния. Для деловой и приватной письменности не существует подобных ограничений. Напротив, введение церковнославянских (генетически чуждых) языковых элементов могло использоваться для придания тексту особой важности и престижности. В истории русского письменного языка языковая ситуация кардинально изменяется лишь к середине XVIII века, когда в ходе петровских реформ создается русский литературный язык нового типа, нормы которого основываются на противопоставлении церковнославянских и русских языковых элементов, воспринимаемых уже не генетически, а функционально (см. [Живов 1996; Менгель 2002]).

3.2. Что касается предмета нашего исследования, то в письменном языке Киевской и Московской Руси безусловно представлена сложная система прошедших времен, характерная для церковнославянских текстов. В так называемых «русских» текстах деловой письменности и частной переписки употребление разнообразных форм претерита может быть интерпретировано, как представляется, двояко: не только как их наличие в русском (восточнославянском) языке, но и как стремление автора текста подчеркнуть значительность соответствующего документа путем ввода маркеров престижного языка культуры, т.е. церковнославянского (ср. [Живов 1996; Gutschmidt 1997; Mengel 2004]). При создании русского литературного языка нового типа в первой трети XVIII века формы простых претеритов, аориста и имперфекта, считаются особенно маркированными функциональными элементами церковнославянского языка. Они последовательно изгоняются из соответствующих текстов и заменяются формами на *-лъ* (ср. [Успенский 1987; Живов 1996; Круглов 2004]). Данный факт свидетельствует также о том, что к этому времени языковой системе русского языка была чужда сложная система прошедших времен; претеритальное значение маркировалось единственно причастием на *-лъ*.

В исторических грамматиках русского языка (см. [Борковский, Кузнецов 1965; Eckert et al. 1983]) традиционно считается, что простые претериты исчезают из устного употребления к XIV–XVI векам (ср. иное мнение в [Issatschenko 1983]). Данный вывод основывается на том, что в грамотах этого периода, т.е. документах деловой и приватной корреспонденции, отражающих живой язык восточных славян, полностью отсутствуют формы имперфекта, а формы аориста встречаются «весьма редко» [Будде 1892]. Обследовав 219 грамот с широким спектром территориальной (Новгород, Двина, Москва, Псков, Ярославль, Нижний Новгород, Рязань, Смоленск, Полоцк и др.) и временной (XI–XVII вв.) принадлежности, В.И. Борковский установил, что из 1156 форм употребления претерита аорист составляет около 13%, остаток представляют собой формы на *-лъ* при полном отсутствии форм имперфекта [Борковский 1949: 157]. Новейшие филологические изыскания последних десятилетий прошлого века и начала века нынешнего сделали достижением научной общественности широкий круг вновь открытых памятников раннего периода восточнославянской письменности XI–XIII веков.

Анализ документов, отражающих живой язык восточных славян, относительно употребления в них форм претерита дал аналогичные полученным по памятникам XIV–XVI веков результаты: в них наблюдается полное отсутствие форм имперфекта, очень незначительное количество форм аориста и абсолютное преобладание форм на *-лъ* (ср.

[Ремнева 2003]). Опираясь на результаты новейших исследований, которые разрушают традиционные представления о ходе развития системы прошедших времен у восточных славян, попытаемся проанализировать употребление различных форм претеритов в «русских» текстах с указанной выше функциональной точки зрения и выявить особенности семантики форм на *-лъ*.

3.2.1. Детальные наблюдения над употреблением весьма небольшого количества форм аориста в грамотах показывают, что формы аориста встречаются в наиболее важных по содержанию отрезках текста. Значительность содержания связывалась в языковом сознании восточных славян, как показано выше (см. 3.1), с использованием церковнославянского языка культуры, с его атрибутами престижности и кодифицированности. Отсюда вывод, что формы аориста в грамотах следует скорее всего рассматривать как маркеры, элементы, церковнославянского языка, и менее как свидетельство их наличия в языковой системе восточных славян, их устном живом языке. Тексты летописей предоставляют, как нам кажется, весьма важное доказательство от противного в пользу этого вывода.

Обследование форм прошедшего времени в тексте I-й Новгородской летописи по данным А.И. Ефимова показало, что аористы составляют 89,5%, имперфекты – 4,8% и формы на *-лъ* – 5,7% [Ефимов 1937: 86]. В филологическом научном знании XIX – второй трети XX веков господствовало мнение, что язык летописей представляет собой преимущественно живой язык восточных славян. Значительное количество форм аориста, таким образом, должно было свидетельствовать о наличии данных претеритальных форм в системе русского (восточнославянского) глагола. Современной исторической наукой о языке установлено и убедительно доказано, что тексты летописей – в престижности и важности которых сомневаться не приходится – относятся к языку культуры («литературному языку» по [Успенский 1987]) и соответственно отражают грамматические нормы церковнославянского языка (ср. [Ремнева 1995]). Употребление в летописных текстах большого числа форм аориста обусловлено в этом плане его семантикой в системе прошедших времен церковнославянского языка: аорист выступает в качестве основного повествовательного времени, описывающего действия, последовательно сменяющие друг друга в прошлом. Особой семантикой времени церковнославянского глагола объясняется, как представляется, и весьма незначительное в языке летописей количество форм имперфекта, который отражает неограниченное и незаконченное действие в прошлом (см. 1.1).

Употребление в летописях немногочисленных форм на *-лъ* зафиксировано преимущественно в диалогах и прямой речи. Е.С. Истрина объясняет этот факт отсутствием у говорящего «объективного отношения» (которое обеспечило бы употребление аориста) к событиям прошлого и наличием у него (говорящего) «субъективного ощущения» настоящего, что обуславливает использование перфекта – так она интерпретирует формы на *-лъ* [Истрина 1919: 114]. Анализируя язык Владимира Мономаха в «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку 1377 года, С.П. Обнорский делает замечательное наблюдение [Обнорский 1946: 48]: при широком употреблении аориста в летописной речи князя в описаниях сцен охоты однозначно преобладают формы на *-лъ*, употребляемые без вспомогательного глагола *быти* (см. также [Якубинский 1953: 136], ср. [Issatschenko 1983: 362]), ср.:

(1) *Шлень ма шдинъ болъ, а. ѿ. лоси шдинъ ногами топталъ. а дрѹгыи рогама болъ. вепрь ми на ведрѣ мечь Шалъ. медвѣдь ми оу колѣна подъклада оукѹсилъ. лютын звѣрь скочилъ ко мнѣ на бедра и конь со мною поверже* (Лаврентьевская летопись, л. 82–83, цит. по [Борковский 1978: 54]).

Современные исследования показали, что, несмотря на характерную для летописных текстов церковнославянскую грамматическую норму, в целом они включают в себя и т. наз. «тематические единства» [Hüttl-Folter 1983], в которых при описании аутентич-

ных ситуаций используется живой язык восточных славян. Такие ситуации представлены в диалогах, прямой речи, описаниях сцен охоты *etc.*, т.е. в тех отрезках текста, о которых были сделаны выше названные наблюдения ученых. Если употребление форм на *-лъ* в диалогах и прямой речи еще можно было бы идентифицировать как семантически адекватное употребление форм перфекта, то их использование в повествовательных контекстах (в сценах охоты и т.п.) – при этом без вспомогательного глагола – не поддается в этом плане какому-либо смысловому обоснованию. Такое положение вещей указывает на то, что в живом языке восточных славян прошедшее время обозначалось исключительно причастием на *-лъ*, а сложная система прошедших времен отсутствовала.

3.2.2. Мысль о том, что русский глагол в своей истории не знал форм имперфекта, высказал еще Е.Ф. Будде [Будде 1892: 2]. По мнению Г.А. Хабургаева [Хабургаев 1988], имперфект представлял собой в праславянском языке не общеславянское, а диалектное явление и не был характерен для восточнославянских диалектов. В результате своих обширных исследований М.Л. Ремнева [Ремнева 2003] приходит к выводу, что для истории русского глагола формы аориста, перфекта и плюсквамперфекта также были не характерны. Действие (или состояние) в прошлом могло обозначаться исключительно причастием на *-лъ* [Ремнева 2003: 38 и сл.]. Если Е.С. Истрина [Истрина 1919], исходя из научного знания начала прошлого века, пыталась доказать, что скопления форм на *-лъ* в определенных отрезках текста летописей XIII–XIV веков можно объяснить, опираясь на значение перфекта (см. 3.2.1), то М.Л. Ремнева предоставляет убедительные доказательства тому, что в памятниках деловой письменности и грамотах частного содержания формы на *-лъ* уже в XI–XIII веках способны обозначать «отдельные действия в ряду динамически сменяющихся действий в прошлом», т.е. выступать на месте и в значении аориста [Ремнева 2003: 75], ср.:

(2) и ты имъ выдалъ разбойника потом шол еси оу разбойниковъ клетъ товар еси разбойниковъ взалъ и иныхъ люди товар былъ тѣ и то помалъ еси княжо [Ремнева 2003: 75].

В соответствующих тематических единствах летописных текстов (ср. 3.2.1), а также в приписках к созданным или переписанным на Руси религиозным произведениям аористы и формы на *-лъ* без вспомогательного глагола *быти* могут использоваться как равноправные предикаты (ср. [Issatschenko 1983: 362 и сл.]), ср.:

(3) Тогда и московская застава ратная сила отъѣхаша на Москву, а стоаши в Новгороде 17 недель (л. 219 об.); И тако посадники възвратишася с великою радостию и повѣдаша посольство на само Филипово заговѣние. А князь ярославъ тогда остался на Москве и тамо оженился (л. 223 об.) (II-я Псковская летопись, XV в., цит. по [Борковский 1978: 53]). Ср. также пример (1): <...> *скачииъ ко мнѣ на бедра и конь со мною поверже.*

(4) В лѣт(о) 6864 написаны быша книги сиа повелениемъ архуеп(и)с(ко)па новгородскаго Моисѣя, а писали Левнидъ, Носифъ вл(а)д(ы)чии ровата. <...> (Выходная запись № 41 к кодексу 1356 г., цит. по [Столярова 1998: 343]). Ср.: В лѣт(о) 6778 кончаны быша книги сиа <...>. Писахъ же книги сиа азъ, Гюрги, с(ы)нъ поповъ <...> (Выходная летописная запись № 18 к Евангелию 1270 г., цит. по [Столярова 1998: 305]).

Исследуя употребление форм на *-лъ* в текстах, отражающих живой язык восточных славян, М.Л. Ремнева делает еще два важных, на наш взгляд, наблюдения: 1) при формах на *-лъ* глагол *быти* встречается только в 1-м и 2-м лице единственного и множественного числа настоящего времени, значение 3-го лица обоих чисел маркируется всегда причастием на *-лъ* без вспомогательного глагола [Ремнева 2003: 77 и сл.]; 2) формы вспомогательного глагола *быти* при причастиях на *-лъ* не являются составной частью форм перфекта, а используются для выражения грамматического значения лица (см. [Ремнева 2003: 74 и сл.], ср. [Буслаев 1858: 363; Issatschenko 1983: 372]). Последний вывод М.Л. Ремнева обосновывает прежде всего поведением причастий на *-лъ* в синтаксиче-

ских конструкциях с отрицанием, где они составляют предикативный центр предложения, на что указывает положение отрицательной частицы перед причастием на -лъ, а не перед формой глагола *быти*, ср.: *А ты атче еси не възалъ коунъ техъ, а не еми ничъто же оу него* (Берестяная грамота № 109, XI–XII вв., [Ремнева 2003: 75]). Подобное явление мы находим в современном чешском [Вауегпörrer et al. 1980] и словацком [Мистрик 1985] языках. В серболужицком [Faske 1981] и южнославянских, располагающих сложной системой прошедших времен с аналитическими формами перфекта (см. 1.2), отрицательная частица занимает место перед вспомогательным глаголом (ср. [Ремнева 2003: 74 и сл.]). По нашему мнению, последний вывод М.Л. Ремневой подтверждается еще и тем фактом, что вспомогательный глагол при формах на -лъ употребляется превентивно в предложениях с материально не выраженным грамматическим субъектом, ср. пример (2): *ты выдалъ, товар былъ, но шол еси, еси взалъ, понималъ еси*. Подобные «бессубъектные» конструкции со спрягаемой формой глагола широко известны славянским языкам.

Наблюдения М.Л. Ремневой требуют некоторого уточнения. Анализ употребления причастий на -лъ в сочетании с формами глагола *быти* с функциональной точки зрения показал, что в зачинах, концовках и особенно важных по содержанию отрезках нарративной части грамот данные конструкции могут выступать как формы перфекта, маркеры церковнославянского языка аналогично выше описанному употреблению форм аориста. В этом случае соответствующие аналитические конструкции используются при наличии материально выраженного субъекта. Бессубъектные конструкции с формой на -лъ и вспомогательным глаголом, выступающим в функции грамматического значения лица, используются исключительно в нарративной части грамот с «неосновным» содержанием, т.е. в тех ее частях, которые написаны по-русски.

Примером, подтверждающим наши выводы, может служить анализ широко известной первой имеющей датировку грамоты восточных славян – «Грамоты великого князя Мстислава Володимировича и сына его Всеволода новгородскому Юрьеву монастырю» 1130 года (см. иную датировку 1128 годом в [Рождественская 1994]). В первой строке грамоты – формализованном (нормативном) традиционном зачине – употреблен церковнославянский перфект, грамматический субъект материально выражен личным местоимением и существительным: *Се азъ мьстиславъ володимиръ снъ <...> повелѣлъ есмь <...>*. В строке 13 нарративной части документа находим причастие на -лъ без вспомогательного глагола в сочетании с личным местоимением в роли грамматического субъекта: *<...> а азъ далъ рүкою своею <...>*. Строки 15–16 нарративной части содержат особо важную информацию, в которой объявляется о дарственных намерениях Всеволода. Здесь вновь употребляется церковнославянский перфект (при наличии материально выраженного субъекта): *а се азъ всеволодъ далъ есмь блюдо серебряно <...>*. В следующей же, 17-й, строке нарративной части с тривиальным содержанием используется причастие на -лъ в сочетании с формой глагола *быти*, передающей грамматическое значение 1-го лица материально невыраженного субъекта: *<...> велѣлъ есмь бити въ не на шбѣдѣ <...>*. Концовка документа (последние четыре строки) не содержит форм прошедшего времени (цит. по [Иванов и др. 1990: 39]).

Тот факт, что формы на -лъ с грамматическим значением 3-го лица (единственного и множественного числа) в текстах восточнославянской деловой письменности последовательно употребляются без глагола *быти*, может иметь следующее объяснение. Содержанием «престижных» частей грамот – их формализованных зачинов, концовок и соответствующих отрезков в нарративной части – являются формулы договоренности двух сторон. Называние третьей стороны, а следовательно, и ее действий в прошлом, для них не важно, что препятствует проникновению «престижных» форм церковнославянского перфекта 3-го лица в данные документы. С другой стороны, это же обстоятельство служит достоверным косвенным доказательством того, что прошедшее время в живом языке восточных славян выражалось единственно причастием на -лъ. Высокочастотное употребление данного причастия прошедшего времени с грамматическим значением 3-го лица (единственного и множественного числа) не сопровождается вспо-

могательным глаголом даже в бессубъектных конструкциях. Формы глагола **быти** используются только для маркировки грамматических значений 1-го и 2-го лица (и только при отсутствии грамматического субъекта), которые отличаются меньшей частотностью употребления. Аналогичную картину мы находим в современных славянских языках – чешском, словацком и польском.

3.3. Анализ языка памятников восточнославянской письменности приводит нас к заключению о том, что на их материале невозможно доказать наличие сложной общеславянской системы прошедших времен в живом языке восточных славян. Напротив, результаты исследования и интерпретация общеизвестных языковых фактов в свете новых достижений научной филологической мысли позволяют утверждать, что в письменных источниках, отражающих живой язык восточных славян – деловых и частных документах, соответствующих отрезкам текста летописей и др., сложная система прошедших времен как таковая не представлена. Формы имперфекта и плюсквамперфекта (вспомогательный глагол употребляется при причастии на *-ль* только в настоящем времени) практически не зафиксированы. Немногочисленные формы аориста и перфекта используются функционально в качестве церковнославянских маркеров престижности. Семантика форм на *-ль* не ограничена перфектным значением актуальности прошедшего действия для настоящего: формы на *-ль* могут обозначать любые действия в прошлом, в том числе и динамически сменяющие друг друга. Совокупность выше названных фактов позволяет с большой степенью вероятности предполагать, что языку восточных славян не была свойственна сложная глагольная система прошедших времен, и отражение протекания действия в прошлом маркировалось единственно причастием на *-ль*.

Мысль о том, что разнообразные формы претеритов в памятниках письменности восточных славян не отражают состояние живого языка, высказывал А. Исаченко. Он относил «эпоху утраты» сложной системы прошедших времен восточнославянскими диалектами в «доисторическое, точно не определяемое время до 1100 года» [Issatschenko 1983: 354 и сл.], не предъявляя, однако, никаких доказательств в пользу процесса самой этой «утраты».

4. СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ НЮАНСОВ ПРОТЕКАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В ПРОШЛОМ В ЯЗЫКЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Выдвинутое выше предположение о том, что для маркировки значения прошедшего действия в языке восточных славян изначально использовалось единственно причастие на *-ль* (как это практически представлено и по сей день), подкреплено некоторыми фактами и процессами в современном языке, прежде всего в его ненормированных, устных, живых формах существования, преимущественно диалектах. Одним из важнейших доказательств в этом плане может служить отсутствие в современном языке формальных следов сложной системы прошедших времен. Принимая выдвинутое предположение, предстоит выяснить вопрос, каким образом в таком случае выражаются различные нюансы протекания действия в прошлом. С учетом ограниченных рамок статьи в качестве предмета исследования обратимся прежде всего к данным русского языка, привлекая материал украинского и белорусского.

Все попытки ученых представить доказательства в пользу наличия в формах прошедшего времени современного русского языка значений древних форм прошедших времен – имперфекта, аориста и перфекта – заканчиваются выводом, что такие значения можно установить **только** при наличии определенных семантико-синтаксических или синтактико-фразеологических условий и с учетом видовых значений конкретных форм на *-ль* ([Виноградов 1972: 439 и сл.], ср. [Потебня 1958; Шахматов 2001] и др.). Существование в современном русском языке формальных следов старой системы прошедших времен, реликтом перфектных форм которой якобы являются причастия на *-ль*, представляется нам также принципиально не доказуемым.

4.1. В своей книге «Русский язык (грамматическое учение о слове)», описывая нюансы значений форм прошедшего времени на -лъ в современном русском языке, В.В. Виноградов [Виноградов 1972] приводит в сноске следующее высказывание К. Житомирского: «Мы не можем **теперь** (выделено нами. – С.М.) отличить "он ушел" в смысле *il s'en allé, er ging fort* от "его здесь нет" (*il s'en est allé, er ist fort*) и в смысле "его здесь не было" (*il s'en était allé, er war fort*). Однако потребность в этих формах чувствуется в русском языке. Народ (а не писатели) уже и выработал необходимые формы. "Он ушел" у него уже значит только *il s'en allé* (аорист), а для результативного вида он имеет уже формы, еще не признанные литературой: "он ушедши" (*il s'en est allé*), "он был ушедши" (*il s'en était allé*). Эти формы, без сомнения, не замедлят перейти в литературный язык, как видно из уже терпимых форм: *он был выпивши, он был уставши* и немногих других» (Молох XX века. 1915 г., цит. по [Виноградов 1972: 447]).

Высказанная ученым в начале XX века мысль представляется нам показательной в плане истории изучения категории времени русского глагола в синхронном и историческом языкознании. Насколько верно сделанное исследователем наблюдение над семантикой употребления несогласуемого причастия прошедшего времени в нелитературных формах существования современного русского языка, настолько неверна диахроническая интерпретация данного языкового явления, приведшая к необоснованности прогноза о «незамедлительном переходе» народных форм в литературный язык.

Исходя из теоретических предпосылок об утрате русским языком сложной системы прошедших времен, К. Житомирский считает использование несогласуемых причастий (деепричастий) прошедшего времени совершенного вида для выражения значения законченного действия в прошлом новыми языковыми средствами в русском языке для обозначения перфектного значения. В действительности такие конструкции широко представлены уже в памятниках письменности, отражающих живой язык восточных славян, ср.: *а рѣка Десна потекла на полдни ко градѣ къ Рославлю, и не дошедъ 20 верстъ до Рослава <...> поворотила на востокъ* («Книга, глаголемая Большой чертеж» 1627 г., цит. по [Буслаев 1959: 366]). Они по сей день весьма продуктивны в русском просторечии и в современных русских диалектах, ср.: *она поевши, она была поевши, она будет поевши; пока вы до Москвы доедете, я уж буду померши* [Пожарицкая 1997: 111]. Тот факт, что подобные конструкции до сих пор не проникли в литературный язык, свидетельствует об их бытовании в сугубо живых формах существования языка: пуристские нормы русского литературного языка, как известно, традиционно отталкиваются от форм живого употребления.

Использование несогласуемого причастия прошедшего времени совершенного вида для выражения «перфектного» значения (ср. [Соболевский 1939: 199 и сл.]) в памятниках письменности, отражающих живой язык восточных славян, и в современных устных некодифицированных формах существования языка является только одним из свидетельств того, что живой язык восточных славян не располагал, по всей вероятности, специализированными формами общеславянского перфекта (и плюсквамперфекта). Современный русский язык (как все восточнославянские в их истории) использует также целый ряд других языковых средств для выражения значения результативности прошедшего действия в ее актуальности для настоящего (или будущего), ср.:

(5) *Стол накрыт, письмо отослано* – страдательное причастие прошедшего времени совершенного вида (ср. [Шахматов 2001]); *Пообедав, Левин сел с книгой в кресло* (Л.Н. Толстой. Анна Каренина) – деепричастие совершенного вида; *Одеколоны, спирты, у самой истерики, глазки опухли* (или *опухшие*. – С.М.), *носик покраснел* (или *покрасневший*. – С.М.) (А.Н. Островский. Красавец-мужчина) – действительное причастие прошедшего времени совершенного вида = глагол прошедшего времени совершенного вида (ср. [Виноградов 1972: 445 и сл.]); *Пролегла-лежит дороженька* (народная песня) – предикат в форме «двойного глагола» совершенного вида прошедшего времени и несовершенного вида настоящего времени; *Моя хозяйка была пригожа и добра, а муж-то помер* (А.С. Пушкин. Гусар) – глагол совершенного вида прошедшего времени не имеет здесь фактического значения, он обозначает состояние, актуальное для настоящего (ср. [Соболевский 1939: 210]).

Важным доказательством в пользу остатков плюсквамперфекта в современном русском языке традиционно считаются формы типа сказочно-фольклорного – т.е. бытующего в устном живом употреблении – зачина *жили-были*. В современных грамматиках украинского и белорусского языков такие формы описываются как аналитический перфект, обозначающий «давно прошедшее время». В русском языке они встречаются преимущественно в севернорусских диалектах, ср.:

(6) а) укр.: *сказав був, відповіла була* (цит. по [Пономарів 1997: 184]); б) белорус.: *Госць зноў надзеў паліто, якое быў скінуў* (цит. по [Янкоўскі 1983: 197]); в) с.-русс. диалекты: *была сгорела, были остались* (цит. по [Пожарицкая 1997: 107]).

При ближайшем рассмотрении семантики данных форм оказывается, что значение результативного действия в прошлом, предшествующего следующему прошедшему действию, (т.е. плюсквамперфектное) выражается с их помощью чрезвычайно редко, а именно в согласуемых формах (глагола *быть* и основного глагола), кодифицированных в грамматиках современного украинского и белорусского языков (ср. пример 6б; об особенностях кодификации в современных грамматиках украинского и белорусского языков см. [Mengel, Neyl 1995]). Однозначно доминирует значение так называемого «абсолютного плюсквамперфекта» [Пожарицкая 1997: 108], где несогласуемая форма *было* маркирует значение давно прошедшего действия без отношения его результативности к действию последующему или актуальному, ср.:

(7) русск. диалекты: *я сама лопату делала, нету было; было дают* пять килограмм на отёл; а хлеба-то где *было возьмешь* (цит. по [Пожарицкая 1997: 107]); укр.: *Коли його вусока постать появлялась було у дверях, Марія здригалась* (цит. по [Пономарів 1997: 184]); белорус.: *Разгневаўся было Лявон, стаў прасіць <...>* (цит. по [Янкоўскі 1983: 199]).

М.В. Ломоносов в своей «Российской грамматике» 1755 года среди десяти времен глагола выделяет пять прошедших (представленных исключительно формами на *-ль*), из которых три обозначают давно прошедшее действие: 1) «*глатывалъ, брасывалъ*»; 2) «*бывало глоталъ, бросалъ*»; 3) «*бывало глатывалъ, брасывалъ*» [Ломоносов 1755: 106]. В «Русской грамматике» 1980 года формы на *-ывал* определяются как «формы прошедшего времени глаголов многократного способа действия» [Русская грамматика 1980: 600, 634] с указанием на особенности их употребления лишь в прошедшем времени для выражения «повторяемости, обычности действия в прошедшем, отдаленном от настоящего». Дополнительно констатируется их «малоупотребительность» в современном языке и их использование в художественной литературе «для стилизации народной речи» [Русская грамматика 1980: 634]. Языковеды XIX – начала XX века уделяли внимание этим формам, продуктивным в то время в русской разговорной речи. А.М. Пешковский отмечал, что в них категории вида и времени сплетаются оригинальнейшим образом, что дает основание идентифицировать формы на *-ывал* как «особый плюсквамперфект», выступающий лишь в комбинации с итеративным способом глагольного действия [Пешковский 2001: 211]. Мнения ученых (в рамках статьи мы позволим себе не останавливаться на различных нюансах модальных значений данных форм) единогласно сходятся в том, что формы на *-ывал* выражают общее значение давно прошедшего действия безотносительно к другим действиям в прошлом или настоящем (ср. [Востоков 1831; Буслаев 1959; Размусен 1891; Виноградов 1972]), ср.:

(8) Не забудьте навести справочку, где теперь актер Суздальцев? Жив ли, здоров ли? Вместе *пивали* когда-то (А.П. Чехов. Чайка); Братья Пушкины, случалось, *гащивали* у генерала-цехмейстера (Ю. Тынянов. Пушкин); Ведь я знаю, как ты *живал*, как проводил ночи и с кем (Л.Н. Толстой. Крейцера соната).

Эта функция итеративных претеритов в русском языке аналогична, по нашему убеждению, употреблению глагола *быть* в так называемых «плюсквамперфектных» восточно-

- Борковский 1949 – *В.И. Борковский*. Синтаксис древнерусских грамот (простое предложение). Львов, 1949.
- Борковский 1978 – *В.И. Борковский*. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. М., 1978.
- Борковский, Кузнецов 1965 – *В.И. Борковский, П.С. Кузнецов*. Историческая грамматика русского языка. М., 1965.
- Будде 1892 – *Е.Ф. Будде*. Русский глагол сравнительно с церковнославянским // РФВ. Т. XXVII. Варшава, 1892.
- Буслаев 1959 – *Ф.И. Буслаев*. Историческая грамматика русского языка. М., 1959.
- Вайс 1993 – *Д. Вайс*. Двойные глаголы в современном русском языке // Категория сказуемого в славянских языках: модальность и актуализация. Акты международной конференции Certosa di Pontignano (Siena) 26.–29.3.1992 (= Slavistische Beiträge. Bd. 305). München, 1993.
- Виноградов 1972 – *В.В. Виноградов*. Русский язык (грамматическое учение о слове). М., 1972.
- Виноградов 1982 – *В.В. Виноградов*. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. М., 1982.
- Винокур 1959 – *Г.О. Винокур*. Русский литературный язык в первой половине XVIII века // Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
- Востоков 1831 – *А.Х. Востоков*. Русская грамматика. СПб., 1831.
- Гаспаров, Сигалов 1974 – *Б. Гаспаров, П. Сигалов*. Сравнительная грамматика славянских языков. Тарту, 1974.
- Диалектные различия 1998 – Диалектные различия русского языка. Морфология. Программа собирания диалектного материала. М., 1998.
- Ефимов 1937 – *А.И. Ефимов*. К истории форм прошедшего времени русского глагола // Уч. зап. Пермского гос. пед. ин-та. Вып. 2. Пермь, 1937.
- Живов 1998 – *В.М. Живов*. Автономность письменного узуса и проблема преемственности в восточнославянской средневековой письменности // Славянское языкознание. XII Междунар. съезд славистов. Краков, 1998 г. Докл. рос. делегации. М., 1998.
- Живов 1996 – *В.М. Живов*. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Иванов и др. 1990 – *В.В. Иванов, Т.А. Сумникова, Н.П. Панкратова*. Хрестоматия по истории русского языка. М., 1990.
- Истрина 1919 – *Е.С. Истрина*. Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи // Изв. ОРЯС АН. Т. XXIV. М., 1919.
- Киреевский 1861 – *И.В. Киреевский*. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1861.
- Круглов 2004 – *В.М. Круглов*. Русский язык в начале XVIII века: узус петровских переводчиков. СПб., 2004.
- Кубрякова 2004 – *Е.С. Кубрякова*. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004.
- Ломоносов 1755 – *М.В. Ломоносов*. Российская грамматика. СПб., 1755.
- Менгель 2002 – *С. Менгель*. К истории становления русского литературного языка нового типа // ИАН СЛЯ. 2002. № 5.
- Мистрик 1985 – *Й. Мистрик*. Грамматика словацкого языка. Братислава, 1985.
- Некрасов 1865 – *Н.П. Некрасов*. О значении форм русского глагола. СПб., 1865.
- Обнорский 1946 – *С.П. Обнорский*. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л., 1946.
- Обнорский, Бархударов 1952 – *С.П. Обнорский, С.Г. Бархударов*. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 1. М., 1952.
- Павский 1850 – *Г.П. Павский*. Филологические наблюдения над составом русского языка. СПб., 1850.
- Петрухина 2000 – *Е.В. Петрухина*. Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М., 2000.
- Пешковский 2001 – *А.М. Пешковский*. Русский синтаксис в научном освещении. М., 2001.
- Пожарицкая 1997 – *С.К. Пожарицкая*. Русская диалектология. М., 1997.
- Пономарів 1997 – *О.Д. Пономарів* (ред.). Сучасна українська мова. Київ, 1997.
- Потебня 1958 – *А.А. Потебня*. Из записок по русской грамматике. Т. I–IV. М., 1958.
- Размусен 1891 – *Л.П. Размусен*. О глагольных временах // ЖМНП. № 6. СПб., 1891.
- Ремнева 1995 – *М.Л. Ремнева*. История русского литературного языка. М., 1995.
- Ремнева 2003 – *М.Л. Ремнева*. Пути развития русского литературного языка XI–XVII вв. М., 2003.

славянских конструкциях, описанных выше. Так же, как и глагол *быть* (особенно несогласуемое *было*), формы прошедшего времени многократного способа действия (ср. *бывало* как составляющая часть 2-го и 3-го давно прошедших времен в грамматике М.В. Ломоносова, см. выше) маркируют действие, произошедшее в далеком прошлом. При этом маркировка осуществляется в первую очередь не на уровне восприятия протекания действия во времени, т.е. соотношения следования одного действия за другим, а путем объективного описания того, каким образом (способом) действие совершалось. Если форма *было* указывает на единичный факт давно прошедшего действия, то итеративные претериты (в том числе и *бывало*) свидетельствуют о его повторяемости, «обычности» в далеком прошлом. Эту нашу мысль подтверждает, как думается, и тот факт, что в русском языке (и других восточнославянских) значение многократности действия может быть выражено только в прошлом (кратность действия означает его перманентное «окончание», т.е. объективное отнесение к прошлому), тогда как в других славянских, например, словацком [Мистрик 1985: 78], этот способ глагольного действия грамматически представлен во всех временах.

Итак, рассмотрение в качестве «следов старого плюсквамперфекта» образований типа *жили-были* в восточнославянских языках не может быть признано верным (ср. [Isatschenko 1983: 377]). В исследованиях по общему языкознанию их типологически связывают с финно-угорскими «копулятивными» конструкциями [Ткаченко 1979; Вайс 1993]. Думается, что в целом это утверждение следует признать верным. Однако вряд ли можно согласиться с тем, что образования типа *было/был(-а, -и)* + форма на *-л* отражают в русском языке финно-угорский субстрат. Для обозначения давно прошедшего времени такие конструкции, как было показано выше, используются во всех восточнославянских языках. Скорее благодаря наличию и продуктивности субстратных копулятивных конструкций в русском языке (ср.: *жить-поживать, жду-поджидаю, дочери-матери* и др.) формы *было* + причастие на *-л* отличаются частотностью употребления особенно в севернорусских диалектах. По той же причине, как кажется, одним из способов обозначения результативности действия в прошлом в его актуальности для настоящего (т. наз. «перфектных значений») могут служить двойные глаголы типа *пролегла-лежит* (ср. пример 5). Выражение результативных и других значений протекания действия в восточнославянских языках, как представляется, связано не с грамматической категорией времени, а с описанием способа протекания действия во времени.

4.2. В этой связи следует вспомнить не бесспорное высказывание Н.П. Некрасова о способности любой морфологической формы глагола выражать в русском языке любые временные значения (см. 2). Транспозиционное употребление форм инфинитива, повелительного наклонения и междометий в предикативной функции на месте спрягаемых форм глагола представляет собой языковой феномен, характерный для восточнославянских языков и неизвестный, как кажется, другим славянским, ср.:

(9) русск.: Медведь с волком обрадовались добыче и ну *рвать* бычка (А. Афанасьев. Русские народные сказки); И царица *хохотать* (А.С. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях); Пришел мужик за козой, ее на бойню вести, а она *бежать* (русские диалекты, из разговора); укр.: Я розказав їй про свої проблеми, а вона *реготати* (из разговора); белорус.: Засердаваў Дубавец на суседа. Той *уговарываць*: кінь ваўкам пазіраць (Л. Калодзежны. Сляды на снезе).

(10) русск.: Я пришел к нему записаться на курс, а он вдруг *возьми* да и *пригласи* меня к себе на вечер (И.С. Тургенев. Гамлет Щигровского уезда); Раз он ему и *скажи*: Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь (М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени); Я шутить, ведь, не умею, И *вскочи* ему на шею (П.П. Ершов. Конек-горбунок); А тут к беде еще беда: *случись* тогда несчастье (И. Крылов. Охотник); укр.: Я прийшов до нього на семінар, а він *візьми* та й *запроси* мене в гості (из разговора); белорус.: Хлапчук *вазьмі* ды *папытай*: чаму людзі не лятаюць? (Л. Калодзежны. Смак крынічнай вады).

(11) Пришла девочка, *глядь* – братца нету! (А. Афанасьев. Русские народные сказки); Прямо яблочко летит. Пес как прыгнет, завизжит... Но царевна в обе руки *Хватъ* – поймала

(А.С. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях); Татьяна прыг в другие сени (А.С. Пушкин. Евгений Онегин); укр.: А вона *стриб* в сторону (из разговора); белорус.: Лаба-новіч *скок* на ганак (Я. Колас. На ростанях).

А.А. Шахматов высказывал в свое время очень осторожное предположение о том, что в случае транспозиционного предикативного употребления форм императива и междометий в значении глаголов прошедшего времени возможна генетическая или аналогическая связь данных форм со старым корневым и сигматическим аористом [Шахматов 2001: 166]. Некоторыми современными исследователями делается неубедительная попытка объяснить любое транспозиционное употребление форм инфинитива, императива и междометий в русском языке (в том числе в придаточных цели и условия) остатками аориста, почти «презентное» значение которого предполагается и в современном языке, а переосмысление форм из «аористных» в инфинитивы, императивы и междометия (благодаря сходности звучания) относится к XVIII веку (ср. [Daiber 2004]).

4.2.1. В одном из писем середины XIX века И.В. Киреевский делится с К.С. Аксаковым своим следующим наблюдением: «Русский глагол имеет еще особенную форму для выражения той быстроты, с которой действие переходит в прошедшее. Разумеется эта форма возможна только для тех глаголов, которых личный смысл вмещает возможность этой мгновенной быстроты. Этого времени, уже не однократного только, но мгновенно прошедшего, нет в других языках, и, следовательно, нет в иностранных грамматиках <...>. Этой формы не было прежде и в наших грамматиках (и не могло быть, потому что искали только форм *общих для всех глаголов*), и потому литературный язык ее избегает. Оттого она не развилась <...> и носит на себе какой-то оттенок неблагородного как свойственная больше народу, чем людям образованным. К этой форме мгновенно прошедшего относятся слова *глядь, хватъ, прыг, щелк, стук, бряк, звяк, бух, шлёп, скок, миг, шмыг, бац, кех, плюх, лух* и пр. <...>» [Киреевский 1861: 106 и сл.]. Данное высказывание влечет за собой, по нашему убеждению, следующие далеко идущие выводы: 1) Феномен транспозиционного употребления междометий представляет собой явление народного языка, т.е. живого некодифицированного собственно русского (восточнославянского) языка, употребляемого преимущественно в устной коммуникации. 2) Он не охватывает грамматическую категорию глагола в целом, а связан с лексической семантикой ее конкретных единиц (т.е. конкретных глаголов). 3) Транспозиционное употребление междометий в форме «мгновенно прошедшего» используется практически не для выражения значения прошедшего времени, а для описания моментального («не однократного только, но мгновенного») способа протекания действия, который предопределяет законченность действия и, таким образом, его отнесенность к прошлому.

А.М. Пешковский усматривал в данных формах «ультрамгновенный вид русского глагола» и считал, что к глаголам на *-нуть* «с мгновенным значением» они относятся, как «превосходная степень прилагательного к сравнительной» [Пешковский 2001: 200]. В.В. Виноградов рассматривает транспозиционное употребление междометий и императивов в качестве «прошедшего времени мгновенно-произвольного действия» [Виноградов 1972: 434] и трактует транспозиционный императив частично в рамках эмбриональной формы «особого, волюнтаривного наклонения» [Виноградов 1972: 472 и сл.]. Модальное, экспрессивное значение он видит и в употреблении инфинитива для «переносного замещения личных форм глагола», особенно при использовании инфинитивов несовершенного вида «в значении прошедшего времени с интенсивно-начинательным оттенком» ([Виноградов 1972: 475 и сл.], ср. пример 9).

Как было показано выше (см. 1.1), оппозиция дуративного и пунктивного способов глагольного действия была представлена в праславянском языке индоевропейскими корневыми оппозициями, ср. ст.-слав.: (вѣз)имати/(вѣз)ати, гладати/гладѣти, хватати/хватити, прыгати/прыгнѣти и др. В формах древнего корневого аориста (означающего моментальное действие в прошлом) глаголы пунктивного способа действия значе-

- Рождественская 1994 – Т.В. *Рождественская*. Надпись с именем князя Мстислава из Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде // Древний Псков. Исследования средневекового города. Мат-лы конф. Санкт-Петербург, 20–21.05.1992. СПб., 1994.
- Русская грамматика 1980 – Русская грамматика. Т. 1. М., 1980.
- Соболевский 1939 – С.И. *Соболевский*. Грамматика латинского языка. М., 1939.
- Соболевский 1980 – С.И. *Соболевский*. История русского литературного языка. Л., 1980.
- Столярова 1998 – Л.В. *Столярова*. Древнерусские надписи XI–XIV вв. на пергаменных кодексах. М., 1998.
- Ткаченко 1979 – О.Б. *Ткаченко*. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. Киев, 1979.
- Успенский 1987 – Б.А. *Успенский*. История русского литературного языка. München, 1987.
- Хабургаев 1988 – Г.А. *Хабургаев*. Дискуссионные вопросы истории русского литературного языка (древнерусский период) // Вестник МГУ. Сер. 9: ФН. № 2. М., 1988.
- Шахматов 2001 – А.А. *Шахматов*. Синтаксис русского языка. М., 2001.
- Якубинский 1953 – Л.П. *Якубинский*. История древнерусского языка. М., 1953.
- Янкоўскі 1983 – Ф. *Янкоўскі*. Гістарычная граматыка беларускай мовы. Мінск, 1983.
- Aizetmüller 1978 – R. *Aizetmüller*. Altbulgarische Grammatik. Freiburg i. Br., 1978.
- Bauernöppel et al. 1980 – Jo. *Bauernöppel*, H. *Fritsch*, B. *Bielfeldt*. Kurze tschechische Sprachlehre. Berlin, 1980.
- Brugmann, Delbrück 1967 – K. *Brugmann*, B. *Delbrück*. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. 2. Leipzig, 1967.
- Daiber 2004 – T. *Daiber*. Aoristische Reste im modernen Russischen // B. Hansen (Hrsg.). Linguistische Beiträge zur Slavistik. XI. JungslavisInnen-Treffen in Cambridge 19–22 September 2002. München, 2004.
- Eckert et al. 1983 – R. *Eckert*, E. *Crome*, Ch. *Fleckenstein*. Geschichte der russischen Sprache. Leipzig, 1983.
- Faßke 1981 – H. *Faßke*. Grammatik der obersorbischen Sprache der Gegenwart. Morphologie. Bautzen, 1981.
- Gutschmidt 1997 – K. *Gutschmidt*. Die Sprache der Vorreden Francisk Skorina zu den Büchern des Alten Testaments und die sog. «einfache» Sprache bei den orthodoxen Slaven // A. Guski, W. Košni (Hrsg.). Sprache – Text – Geschichte. Festschrift für K.-D. Seemann. München, 1997.
- Hüttl-Folter 1983 – G. *Hüttl-Folter*. Die *trat / torot*-Lexeme in den altrussischen Chroniken. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der russischen Literatursprache. Wien, 1983.
- Issatschenko 1983 – A. *Issatschenko*. Geschichte der russischen Sprache. Bd. 2. Heidelberg, 1983.
- Ludolf 1696 – H.W. *Ludolf*. Grammatika Russica. Oxford, 1696.
- Mazon 1914 – A. *Mazon*. Emplois des aspects du verbe russe. Paris, 1914.
- Mengel 1998 – S. *Mengel*. Besonderheiten der Schrift- und Standardsprache(n) im Ostslavischen (unter spezieller Berücksichtigung der Normierungstendenzen) // H. Jelitte (Hrsg.). Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongreß in Krakau 1998. Frankfurt-am-Main, 1998.
- Mengel 2004 – S. *Mengel*. Die «einfache Sprache» der hallischen Bibelübersetzungen ins «Russische» // V. Lehmann, L. Udolph (Hrsg.). Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift für K. Gutschmidt zum 65. Geburtstag. München, 2004.
- Mengel, Heyl 1995 – S. *Mengel*, S. *Heyl*. Normvarianten oder gleichberechtigte Dubletten? Zur Entwicklung des gemeinslawischen Deklinationssystems in ostslawischen Sprachen. (Eine Vergleichsstudie Russisch – Ukrainisch – Weißrussisch) // Innerslavischer und slavisch-deutscher Sprachvergleich (= Beiträge zur Slavistik, Bd. XXVII). Frankfurt-am-Main, 1995.

ние мгновенности выражали с особой силой (пользуясь выше приведенным сравнением А.М. Пешковского, суперлативно). Однако тот же эффект «ультрамгновенности» действия достигался и в формах повелительного наклонения данных глаголов: «<...> этот эффект вытекает из предположения, что за повелением немедленно следует исполнение», – замечает в этой связи А.А. Потебня ([Потебня 1958: 148], ср. [Буслаев 1959]).

В пользу того, что в истории русского языка (и других восточнославянских) для выражения «ультрамгновенности» действия использовались формы императива, а не аориста, говорят следующие факты.

Ядро рассматриваемого феномена представляют собой междометия, соотносимые с конкретными глаголами, лексическая семантика которых включает в себя значение мгновенности действия. Положение о том, что междометие как языковая категория возникло на основе форм императива, считается в сравнительно-историческом языкознании практически бесспорным (ср. [Brugmann, Delbrück 1967: 347]): превращению императивов в междометия способствует частотность употребления ряда глаголов определенной лексической семантики. Результаты именно этого процесса обнаруживаются, по нашему мнению, в восточнославянских языках. Высокая частотность употребления форм императива глаголов пунктивного (однократного, мгновенного) способа глагольного действия для выражения значения «ультрамгновенности» действия привела к возникновению на их основе соответствующих междометий, ср. примеры (10), (11): русск. *возьми*, укр. *візьми*, белорус. *вазьмі*; русск. *глядь*, *хватъ*, *прыг*; укр. *стриб*; белорус. *скок* и др. (ср. также примеры в высказывании И.В. Киреевского). Процесс этот весьма продуктивен и в современных восточнославянских языках, особенно в их живых, некодифицированных формах существования, ср., в частности, в русских диалектах: *гляди* > *гляи*, *гляй*, *гля*, *ляи*, *ля* и др. [Диалектные различия 1998: 152]. Для выражения пунктивности (мгновенности) действия могут использоваться формы повелительного наклонения всех глаголов, лексическая семантика которых отражает завершенность действия (т.е. в современных восточнославянских языках все глаголы совершенного вида). Не обладая, однако, в этой функции столь высокой частотностью употребления, как императивы глаголов пунктивного (однократного, мгновенного) способа действия, они не переходят в междометия, ср. пример (10).

О взаимосвязи семантики завершенности (мгновенности) действия с представлением об отнесенности действия в прошлое и одновременной недифференцированности данного представления путем специальных грамматических средств в глагольной системе времен – т.е. отсутствии форм аориста – свидетельствует, на наш взгляд, следующий факт. У глаголов совершенного вида наблюдается почти «зеркальное» транспозиционное употребление форм прошедшего времени в значении форм повелительного наклонения, ср.: русск. *Встали! Пошли! Поехали!* У глаголов несовершенного вида напротив в функции императива транспозиционно могут употребляться формы настоящего времени, указывающие как бы на необходимость протекания действия в настоящий момент, ср.: русск. *Идём! Уходим!*

Для полноты картины следует упомянуть о том, что формы корневого аориста, который обозначал пунктивное действие в прошлом, были непродуктивны в общеславянском языке уже в дописьменный период и представлены в старославянском языке лишь отдельными лексемами, ср.: *пожреть*, *высть* (см. 1.1). В звуковом отношении они не были близки формам восточнославянского императива и вряд ли могли быть переосмыслены как таковые. По своей звуковой оболочке формам повелительного наклонения были близки формы 2-го и 3-го лица единственного числа церковнославянского тематического аориста, ср.: *хвати*, *гладѣ* (см. 1.1). Российские азбуковники XVII века, кодифицирующие, как известно, нормы церковнославянского языка культуры (см. 3.1–3.2), предостерегают относительно смешения форм русского императива с формами церковнославянского аориста, отсутствующего в живом русском (восточнославянском) языке (ср. [Виноградов 1972: 436]). В церковнославянской системе прошедших времен тематический аорист маркирует начало или конец дуративного действия в прошлом (см. 1.1). В данном значении – «значении прошедшего времени с интенсивно-начина-

тельным оттенком», ср. выше [Виноградов 1972: 475] – в восточнославянских языках используются, однако, не императивы, а транспозиционные формы инфинитива глаголов несовершенного вида (ср. пример 9).

4.2.2. Формы повелительного наклонения глаголов дуративных способов глагольного действия (т.е. всех глаголов несовершенного вида в современных восточнославянских языках) неспособны в силу своей лексической семантики отражать мгновенность (законченность, целостность) действия. Для соответствующих потребностей наиболее подходящим языковым средством представляется форма инфинитива, называющая действие в целом. Ее употребление в императивном значении, в смысле «немедленного исполнения повеления» (см. выше [Потебня 1958: 148]), широко известно современным восточнославянским языкам, ср.: русск. *Молчать! Стоять!*; укр. *Працювати на злогодю!* Формой инфинитива передается значение волеизъявления в случае неременной «необходимости совершения действия» [Ремнева 2003: 94]. По наблюдениям М.Л. Ремневой, в древнерусских грамотах в функции императива последовательно употребляется инфинитив, «если распоряжение имеет характер закона, общеобязательного правила» [Ремнева 2003: 94], ср.: *Аже вѣдѣте холѣпъ ѹвѣтъ .ѧ. гривна сѣрьбра заплатити. <...> Аже извинитъ сѧ латининъ оу смольнѣскѣ. не мѣтати его оу погрѣбѣ* (Смоленская грамота 1229 г., цит. по [Обнорский, Бархударов 1952: 45 и сл.]). Таким образом, транспозиционные формы инфинитива представляют собой более «сильный» императив. Наличие функциональных параллелей в употреблении форм императива и инфинитива для выражения волеизъявления, присутствие у форм инфинитива в значении императива усиленного компонента обязательности «немедленного исполнения повеления» и основная функция инфинитива называть действие в целом делают возможным и способствуют транспозиционному употреблению форм инфинитива глаголов дуративных способов действия (*resp.* несовершенного вида) для выражения значения квазипунктивного действия. Транспозиционные формы инфинитива дуративных глаголов употребляются параллельно транспозиционным формам императива глаголов с лексической семантикой законченности действия (*resp.* совершенного вида). Нюанс квазипунктивности проявляется в транспозиционных формах инфинитива дуративных глаголов в том, что они маркируют момент начала действия (ср. действие «с интенсивно-начинательным оттенком» по В.В. Виноградову).

4.2.3. Значение ультрамгновенности (квазипунктивности) протекания действия как в целом, так и в плане маркированности его начала, помимо транспозиционных форм, может быть выражено в восточнославянских языках целым рядом других грамматических и лексических языковых средств, ср.: русск. *и вдруг как вскочит, и вдруг вскочила* наряду с *вскочи* (пример 10); *как схватит, быстро схватила* наряду с *хватъ* (пример 11); *вдруг как захохочет, вдруг захохотала* наряду с *хохотать* (пример 11). Подобно выражению значения результативности действия («перфектного» значения, см. 4.1) выражение значения пунктивности действия («аористного» значения) не закреплено в восточнославянских языках за системой глагольных форм прошедшего времени и осознается в первую очередь, как представляется, в связи с описанием способа действия. Думается, что приведенные выше аргументы доказывают несостоятельность попытки объяснить феномен транспозиционного употребления форм инфинитива, императива и междометий в восточнославянских языках как реликтовых форм общеславянского аориста.

4.3. В области противопоставления значений моментального и дуративного процессов протекания действия в прошлом в восточнославянских языках также не наблюдается остатков форм старых прошедших времен – аориста и имперфекта (см. 1.1), – но зато представлены следы древней индоевропейской корневой оппозиции, в которой семы моментального и дуративного способов протекания действия соответственно включены

© 2007 г. Е. В. ЯГУНОВА

КОММУНИКАТИВНАЯ И СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА И ЕГО ВОСПРИЯТИЕ*

При восприятии речи основной задачей адресата является извлечение значения или, вернее, смысловой структуры, которая отвечает тексту как некоторой целостности. Эта структура заведомо многослойна и неоднородна. Даже отвлекаясь от того очевидного обстоятельства, что значение текста «вытекает» из значений его компонентов (высказываний, сверхфразовых единств) плюс фоновые и выводные знания, целесообразно, как минимум, различать вклад со стороны тема-рематических структур, структур «данное – новое» и, условно (терминология не устоялась), собственно смысловых структур. Первые два типа (тема-рематические структуры и «данное – новое») мы объединим под именем «коммуникативные структуры». Что же касается собственно смысловых структур, то в рамках нашей работы в качестве таковых будут фигурировать структуры ключевых слов (КС) в пределах данного текста¹.

Мы будем говорить о потенциальной значимости коммуникативных и смысловых структур в их взаимодействии для восприятия звучащего текста.

1. ВВЕДЕНИЕ

Проблемой коммуникативного членения занимались представители разных научных школ, наиболее существенными для данной работы являются следующие положения:

1. Кажется плодотворным выделение Т.Е. Янко двух основных типов коммуникативных значений: конституирующее речевой акт и не-конституирующее (подробнее см. [Янко 2001]). Естественно, конституирующий компонент является обязательным, а не-конституирующий компонент – факультативным. Традиционно в теории актуального членения рассматривают речевой акт как реализацию сообщения (повествовательного предложения); в этом случае рема – это конституирующий компонент, а тема – не-конституирующий. У других типов речевых актов также есть конституирующий и могут быть не-конституирующий компоненты, хотя за ними не всегда закреплена традиционная терминология. В данной работе для любых типов речевых актов конституирующий компонент будем называть ремой, а не-конституирующий – темой.
2. «В языках существует не менее четырех способов маркирования темы, на которые может опираться воспринимающий речь человек. Это позиционный, грамматический, лексический и фонетический способы. Первый и последний из них, можно думать, являются универсальными, в то время как остальные два представлены в одних языках, но отсутствуют в других» [Касевич 2006: 600]. Для русского языка лексический способ введения темы (использование оборотов, вводящих тему, напр., *что касается*) используется крайне редко. Особое значение при извлечении смысла в процессе восприятии речи имеет позиционный критерий. Начальное положение слова (имен-

* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-06-80-251).
Небольшой фрагмент с обсуждением особенностей структуры и функционирования коммуникативного членения принят к печати ПК и ОК Международной конференции «Диалог 2007».

¹ Процедура выделения КС приведена ниже (пункт 2.2).

в лексическую семантику парных однокорневых глаголов (см. 1.1). Отнесенность действия в прошлое маркируется формой на *-л*, ср.:

(12) Мы *слышали* еще два выстрела, и кроме шума волн уже ничего не *слыхали* (Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника); Что *слышал*? – Ничего не *слыхал*. – Что *видел*? – Ничего не *видал*. (В.Г. Короленко. Сон Макара).

В силу лексической семантики глаголов оппозиция не может быть представлена в настоящем: моментальность (пунктивность) действия предполагает его законченность, а значит связанность с прошлым или – теоретически – с будущим. Данная оппозиция в будущем практически не представлена в восточнославянских языках индоевропейскими парными глаголами, ср.: русск. *буду слышать*/**буду слыхать*; *буду видеть*/**буду видать*. Она может быть выражена только в прошлом, так же, как оппозиция однократности/повторяемости действия (см. 4.1, ср. пример 8).

«Неразвитость» грамматической категории будущего (или настоящего?) времени в восточнославянских языках свидетельствует, на наш взгляд, еще раз о том, что протекание действия во времени в языке восточных славян проявляется прежде всего не системой глагольных времен, а описанием способа действия. Аналитическая форма будущего времени с асемантическим вспомогательным глаголом *быть* утверждается в русском языке лишь в XVIII веке. До этого, как известно, для отнесения действия в будущее использовались глаголы с модальными и начинательными значениями, ср. [Eckert et al. 1983: 168 и сл.]. Аналитическая форма употребляется только для образования будущего времени от глаголов несовершенного вида, т.е. таких, которые обозначают дуративные способы протекания действия. Недуративные (квазимоментальные) действия в восточнославянских языках не выражены в настоящем: законченность действия связана с его отнесением в прошлое или будущее. Грамматические формы настоящего времени от глаголов совершенного вида выступают как транспозиционные формы для обозначения действия в будущем. Таким образом, у глаголов совершенного вида грамматическая категория настоящего времени является «дефективной». (В этой связи следует вспомнить грамматические идеи К.С. Аксакова и Н.П. Некрасова о нерелевантности категории времени для русского глагола, см. 2.) Отражение протекания действия в будущем в языке восточных славян безусловно требует дальнейшего изучения, что не входит в задачи настоящего исследования. Приведем лишь в качестве сравнения пример положения в болгарском языке, где при живой разветвленной системе прошедших времен (см. 1.2) наличествует и детализированная система будущих времен, ср.: *ще чета* (действие, которое будет совершено после момента речи), *ще съм (ще бъда) прочел* (будущее предварительное: действие, которое завершится в будущем до определенного момента в будущем, о котором говорится в момент речи); *щях да чета* (будущее время в прошлом: действие, которое предстояло совершить в прошлом после момента, о котором говорится в момент речи); *щях да съм (да бъда) прочел* (будущее предварительное время в прошлом: действие, которое предполагалось совершить в прошлом после определенного момента в прошлом, о котором говорится в момент речи).

4.4. Итак, анализ современного состояния восточнославянских языков, их различных, прежде всего ненормированных, устных, живых форм существования, в сравнении с данными исторического анализа памятников восточнославянской письменности подтверждает наш тезис о том, что для языка восточных славян была не характерна сложная система прошедших времен. Значение протекания действия в прошлом маркировалось и маркируется единственно причастием прошедшего времени на *-лъ*. Наличие в современных восточнославянских языках каких бы то ни было следов старых форм перфекта, плюсквамперфекта, аориста и имперфекта представляется недоказуемым. Напротив, в них представлены веские доказательства того, что различные нюансы протекания действия в прошлом – как и нюансы протекания действия во времени вообще – отражаются в языке преимущественно не с помощью системы (прошедших) времен, но

путем описания способа протекания действия как продолжительного (дуративного) или непродолжительного (пунктивного) процесса. Для этого используется целый ряд грамматических и лексических языковых средств.

5. ВЫДВИГАЕМАЯ ГИПОТЕЗА

Проведенное исследование позволяет выдвинуть следующую гипотезу, для укрепления теоретического статуса которой необходимы, разумеется, дальнейшие практические изыскания и теоретические размышления:

1) Славянские языки, которые по данным сравнительно-исторического языкознания отличаются в индоевропейской семье особой генетической близостью, проявляют значительные различия в области отражения процесса протекания действия во времени. Это связано, по-видимому, с когнитивными различиями в восприятии сути данного феномена и концентрации системообразующего смысла в двух различных плоскостях восприятия: в дейктической плоскости, категоризирующей действия как явления прошлого, настоящего и будущего, или в плоскости восприятия действия как продолжительного (дуративного) или непродолжительного (пунктивного) процесса.

2) Данный вывод опирается прежде всего на факт отсутствия в восточнославянских языках сложной системы прошедших времен (представленной в южнославянских) и употребление в них для выражения различных нюансов протекания действия в прошлом всевозможных языковых средств, описывающих способ протекания действия.

3) Заключение об отсутствии системы прошедших времен вытекает из анализа памятников восточнославянской письменности и языкового материала современных русского, украинского и белорусского языков. Наличие каких бы то ни было следов сложной системы прошедших времен как в истории восточнославянских языков (по крайней мере, начиная с письменной фиксации общевосточнославянского в конце X века), так и на современном этапе их существования представляется принципиально недоказуемым. Отнесение действия в прошлое маркируется единственно формой на *-л*. Напротив, описание способов протекания действия во времени как отражение дуративных или пунктивных процессов широко представлено помимо компонентов лексической семантики соответствующих глаголов использованием дополнительных лексических языковых средств и транспозиционным употреблением всевозможных форм глагола с учетом их грамматического и лексического значения.

4) Подтверждением выдвинутой гипотезы может также служить «неразвитость» категории будущего и настоящего времени и «лексикализованность» категории вида в восточнославянских языках (в сравнении с южнославянскими). Оба феномена требуют в этом плане, разумеется, более глубокого изучения.

5) Сделанные выводы не противоречат по своей сути общей системе знаний о близком родстве славянских языков в индоевропейской семье. Для выражения одного понятия языковой фонд, как известно, располагает целым рядом различных языковых средств. Восточнославянские языки (так же, как южнославянские) используют для описания понятия протекания действия во времени общеславянский арсенал языковых средств, выбирая из него те, которые наиболее соответствуют потребностям носителей данных языков для отражения специфических нюансов и модификаций языковой картины мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адодуров 1731 – *В.Е. Адодуров. Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache* // Е. Вейсманн. Немецко-латинский и русский лексикон. Приложение. СПб., 1731.
- Аксаков 1875 – *К.С. Аксаков. О русских глаголах* // Полное собрание сочинений. Т. 2. Ч. 1. М., 1875.
- Болдырев 1812 – *А.В. Болдырев. Рассуждение о глаголах* // Труды Общества любителей российской словесности. Ч. 2. СПб., 1812.

ной группы) в высказывании (вместе с синтаксической немаркированностью) заставляет слушающего выдвигать гипотезу о принадлежности слов к теме (см. там же).

3. Наряду с бинарным противопоставлением тема vs. рема, (согласно теории коммуникативного динамизма) может рассматриваться и деление по шкале.

Гипотеза, лежащая в основе данной работы, заключается в том, что как коммуникативное, так и смысловое структурирование текста в значительной степени предопределяется его **функциональным стилем**. Это сказывается в: (1) использовании разных типов структур (и их компонентов), (2) в разных способах маркирования этих компонентов, (3) в функционировании структур (и их компонентов) в процедурах восприятия текста.

Исследование проводилось на материале двух переводных русских текстов разных функциональных стилей²:

- Отрывок из официальной публикации «Закон об иностранных инвестициях во Вьетнаме и нормативные акты, изданные на его основе» (в дальнейшем, деловой текст);
- Отрывок художественной прозы Нам Као «Ти Фео» с элементами диалога (в дальнейшем, художественный текст)³.

2. ОПИСАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И СМЫСЛОВЫХ СТРУКТУР И ИХ КОМПОНЕНТОВ

2.1. Дизайн эксперимента по определению слов, принадлежащих теме (в терминах актуального членения)

Определение слов, принадлежащих к теме, осуществлялось на основании результата эксперимента, в котором участвовало 13 экспертов-лингвистов. Экспертам-лингвистам⁴ было предложено неограниченное число раз прослушать тексты в удобном режиме и в орфографической записи подчеркнуть слова, относящиеся к теме (в терминах актуального членения предложения). В инструкции подчеркивалась необходимость ориентироваться в решении поставленной задачи на **з в у ч а щ и й** текст.

2.2. Дизайн эксперимента по определению КС

Для определения КС были проведены серии экспериментов на материале звучащих текстов⁵. В каждой серии экспериментов приняло участие более 20 человек; общая тематика текстов (Вьетнам: экономика, делопроизводство) незнакома испытуемым. Мы старались придерживаться методики, описанной А.С. Штерн [Мурзин, Штерн 1991]. Инструкция: «Прослушайте текст. Подумайте над его содержанием. Выпишите из текста 10–15 слов, наиболее важных с точки зрения его содержания».

² Эти тексты характеризуются целостностью и следующим объемом: деловой текст содержит 236 фонетических слов, художественный – 221 фонетическое слово.

³ Данные тексты используются нами и для типологически ориентированного исследования на материале вьетнамского, французского и русского языков, т.к. эти тексты содержат параллельные версии на вьетнамском (оригинал), французском и русском языках (переводы).

⁴ Эксперты-лингвисты являются специалистами в областях: звучащий текст, синтаксические и коммуникативные структуры высказывания.

⁵ Нами были проведены эксперименты по определению КС также и на материале письменной формы рассматриваемых текстов, рассматривалась зависимость результатов определения КС от формы предъявления (см., напр. [Ягунова 2004]). Более того, отдельно была проведена серия эксперимента по определению КС на начальном фрагменте текста для исследования подстройки слушающего под структурные особенности текста. По понятным причинам в данной статье невозможно остановиться на всех вопросах, связанных со смысловой структурой текста.

2.3. Тема-рематическая структура высказывания и функциональный стиль текста

Предполагалось, что, в отличие от художественного текста (особенно от реплик диалога в художественном тексте), деловой текст имеет сравнительно четкую тема-рематическую структуру (в высказываниях присутствуют слова, отвечающие теме, и испытуемые не испытывают затруднений в их выделении).

По результатам эксперимента все слова текста были отнесены к одному из следующих компонентов: ядро темы (Тя), периферия темы (Тп) и не-тема (неТ) (см. табл. 1). Если словоупотребления текста были выделены не менее чем 9 испытуемыми, они были отнесены к ядру темы (Тя); аналогичным образом определялись периферия темы (от 8 до 5 испытуемых) и не-тема (менее 4 испытуемых). Таким образом, «группа темы» в предложениях текста рассматривается как неоднородная, включающая «ядро» и «периферию».

Таблица 1

Число словоупотреблений, отнесенных испытуемыми к разным коммуникативным компонентам (в абсолютных числах и в %)

Компоненты Тексты	Ядро темы	Периферия темы	Не-тема
Деловой	19 (8%)	92 (40%)	117 (51%)
Художественный	13 (6%)	42 (19%)	166 (75%)

На рис. 1 приведены распределения словоупотреблений делового и художественного текстов в соответствии с числом испытуемых, выделивших это словоупотребление как относящееся к теме (напр., 54 словоупотребления из делового и 41 словоупотребление из художественного текстов ни один испытуемый не выделил в качестве темы (первые два столбца)). Эти распределения существенно различаются для текстов двух разных функциональных стилей (см. рис. 1). Для делового текста области темы и не-темы приблизительно одного объема, в распределении существуют максимумы и для темы (ее периферии), и для не-темы. Для художественного текста область не-темы существенно больше, чем область темы, максимум присутствует лишь в области не-темы.

Для делового текста разделение словоупотреблений на элементы темы и элементы ремы (не-темы) соответствуют очень четким синтаксическим структурам высказываний текста. Выделение ядра и периферии, в целом, соотносится с построением синтаксической структуры, где ядру соответствовали вершины синтаксических конструкций, а периферия, как правило, представляла собой определяющие и уточняющие части этих конструкций. Формальное различие стратегий заключается в выделении либо ядер темы, либо всей темы целиком. Некоторая несогласованность, кроме того, может относиться к выделению ядра темы, напр., в случае конкурирующих – позиционный vs. синтаксический – критериев. Например, вынесенное в начальную позицию слово *продукцию* (прямое дополнение) 9 испытуемых отнесли к ядру темы: *Продукцию* (Тя) / которую разрешено сбывать на вьетнамском внутреннем рынке, *стороны*, участвующие в реализации договора о деловом сотрудничестве, *и предприятия* с иностранным капиталом (Тп) / могут продавать самостоятельно или через вьетнамские хозяйственные организации на основе хозяйственных договоров, заключаемых в соответствии с действующим во Вьетнаме законодательством. Слова *стороны* и *предприятия* (подлежащие) были выделены в качестве темы 8 испытуемыми и попали, соответственно, в компонент периферии темы.

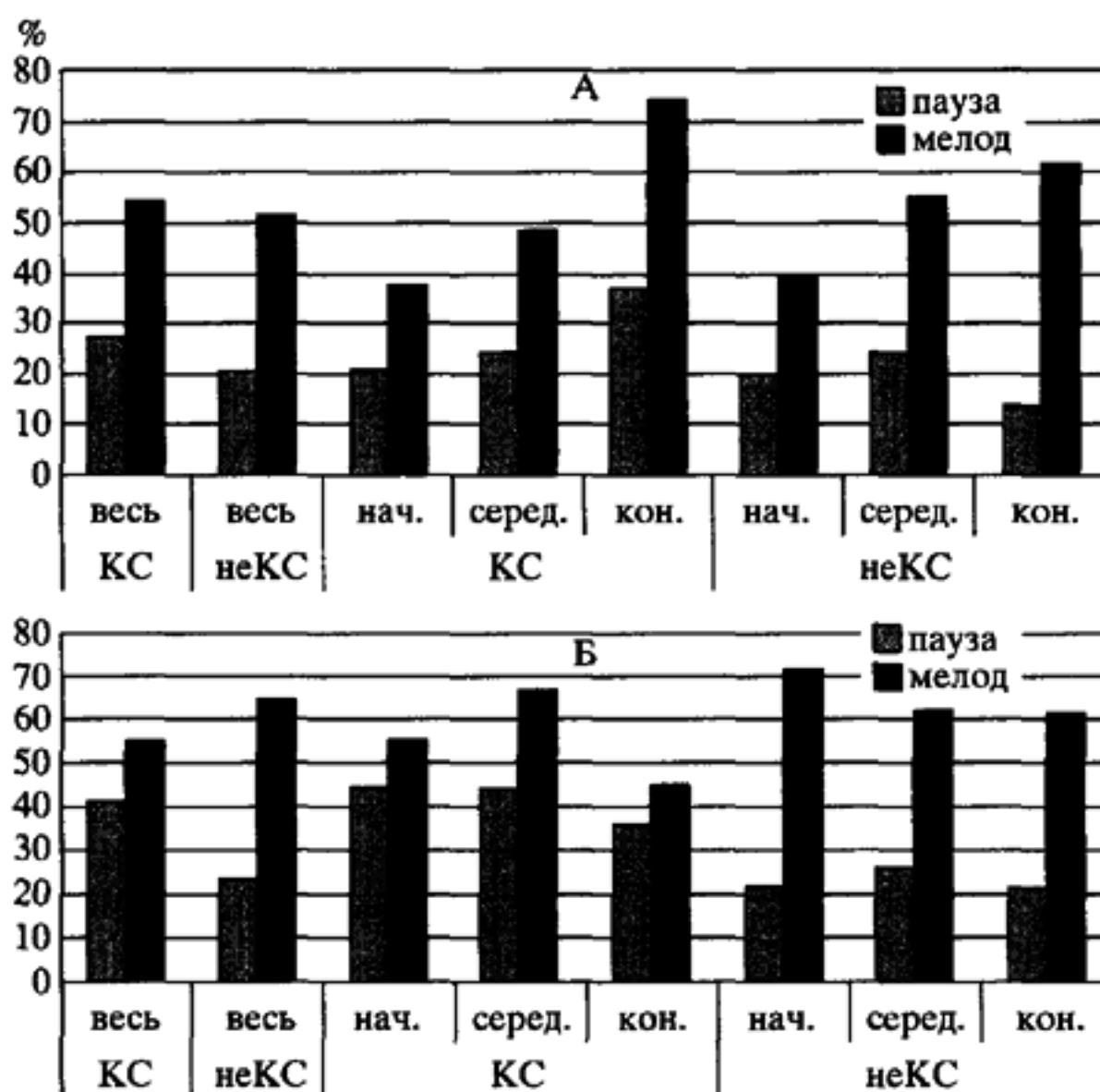


Рис. 4. Доля элементов (слов) смыслового членения – КС и неКС, выделенных ДЧОТ или паузой после слова в тексте и его фрагментах (начальном, срединном и конечном) А – для делового текста, Б – для художественного текста

ется лишь для мелодически маркированных словоупотреблений (от 40% до 61%), предпаузальные неКС в конце текста, напротив, встречаются реже всего (14%). В результате фонетическое маркирование характерно лишь для конечного фрагмента текста. Следовательно, фонетическое выделение свойственно повторенным (даже многократно повторенным) КС, т.к. КС делового текста обладают высокой частотностью в тексте. В то же время более частое мелодическое выделение КС на конечном фрагменте соотносится с более частым маркированием элементов темы на конечном фрагменте: набор элементов темы и НКС в значительной степени пересекается. Естественно, практически для любого текста верно то, что паузы встречаются реже, чем мелодическое выделение. Однако предпаузальная позиция является более «сильным» выделителем КС (24% vs. 14% для КС vs. неКС), чем ДЧОТ (74% vs. 61% для КС vs. неКС).

Для художественного текста характерно маркирование КС последующей паузой, что свойственно как тексту в целом (41% vs. 23%), так и всем его фрагментам. Различия в доле маркированных паузой КС не зависят от продвижения по тексту. ДЧОТ в несколько большей степени характеризует неКС (в отличие от КС), особенно для конечного фрагмента. Следовательно, мелодическое выделение может рассматриваться как «отрицательный» признак КС, что хорошо согласуется с тем, что ДЧОТ маркирует «новое» в коммуникативной структуре «данное vs. новое».

Таким образом, способы фонетического маркирования КС зависят от функционального стиля текста:

для делового текста характерно фонетическое выделение КС на конечном фрагменте текста, т.е. повторенных КС (и, как правило, компонентов темы); последующая пауза является более сильным признаком, чем ДЧОТ;

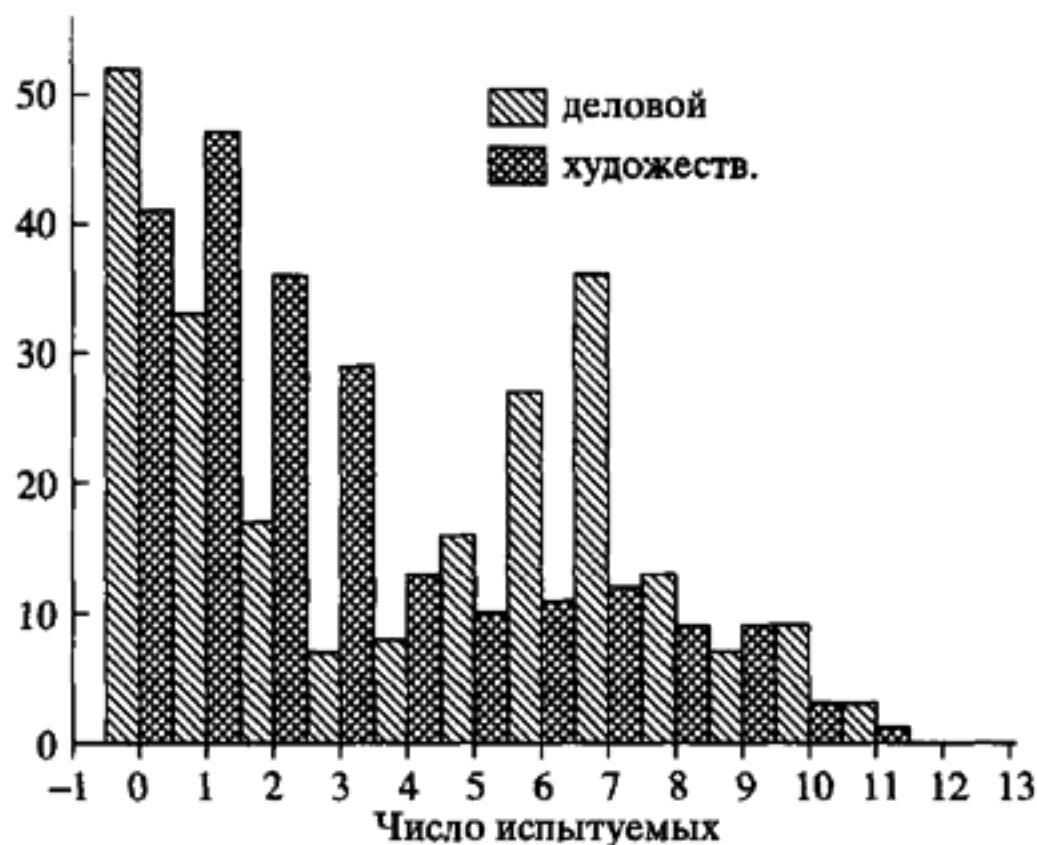


Рис. 1. Распределения словоупотреблений делового и художественного текстов в соответствии с числом испытуемых, выделивших это словоупотребление как относящееся к теме. По оси X – число испытуемых, выделивших слово как относящееся к теме, по оси Y – объем соответствующего класса

В случае художественного текста выделение темы представляло для испытуемых определенную сложность⁶. Наряду с позиционным и синтаксическим критериями существенным для принятия решения является и интонационный критерий. Напомним, что художественный текст – сюжетный, с элементами диалога – является очень эмоциональным и по содержанию, и по интонационному оформлению. Элементы темы в тексте крайне редки (см. табл. 1): как правило, предшествующий контекст определяет «о чем говорится в предложении», т. е. можно условно сказать, что тема большинства высказываний не выражена непосредственно в этом высказывании (имплицитна). Среди 55 слов, относящихся к элементам темы, 35 приходится на нарратив (11% от всех в тексте и 28% от принадлежащих нарративу) и 20 – на диалог (9% от всех в тексте и 21% от принадлежащих диалогу). В репликах диалога нет ни одного элемента ядра темы. Среди элементов темы основное место занимают обозначения действующих лиц (не включая слова, расширяющие именная группу) и местоименная лексика, в том числе, в роли обозначений действующих лиц (85% для слов, обозначающих ядро темы, и 64% для слов, обозначающих тему в целом).

Каждое предложение делового текста содержит в себе хотя бы одно слово, относящееся к ядру темы, и ряд слов, относящихся к периферии темы. Для художественного текста ситуация очевидным образом иная.

Результаты предварительного анализа подтверждают выдвинутую гипотезу:

- деловой текст имеет сравнительно четкую тема-рематическую структуру,
- художественный текст не имеет четкой тема-рематической структуры (в особенности реплики диалога), традиционные критерии выделения темы могут противоречить друг другу, а высказывания часто не содержат слов, отвечающих теме (тема определяется более широким контекстом (возможно, вплоть до структуры всего текста), кроме того, тема часто выражена местоименной лексикой).

⁶ Об этом свидетельствуют замечания испытуемых: от общих (напр., «не знаю, как здесь выделить тему») до содержащих обоснование затруднений (напр., «есть конфликт между выделенностью (или восклицательностью) и начальным положением в синтагме или фразе»).

2.4. Описание НКС и функциональный стиль текста

Как и следовало ожидать, большинство КС являются сущест в и т е л ь н ы м и: 75% для художественного текста и 81% для делового текста. Наряду с существительными в НКС художественного текста присутствуют глаголы: 19% (6% прилагательных) для всего текста и 38% для начального фрагмента (6% наречий). В состав НКС делового текста входят прилагательные: 19% для всего текста и 24% для начального фрагмента (ср., аналогичные данные, напр., в [Сибирский и др. 1979; Сиротко-Сибирский 2006]).

Полностью подтверждается обычно принимаемое положение о том, что встречаемость КС в тексте выше, чем их общеязыковая вероятность. При подсчете ч а с т о т ы встречаемости в тексте мы опирались в первую очередь на «однокоренной класс условной эквивалентности» (объединяющий разные части речи, напр., *экспорт, экспортный* и *экспортировать*), также рассматривается частота встречаемости словоформ и лексем. Общеязыковая (объективная) частота встречаемости была определена по частотному словарю словоформ и лексем С.А. Шарова (вторая версия) (см., напр., www.artint.ru/project/frqlist.asp).

Для делового текста большинство слов имеет низкую общеязыковую частотность. В то же время в тексте многие слова оказываются частотными в рамках данного текста. Все КС делового текста встречаются в тексте не менее двух раз; в среднем НКС характеризуется сравнительно высокой частотой встречаемости: 2,6, 5,4 и 7 для словоформ, лексем и однокоренных слов класса условной эквивалентности соответственно.

Многие слова художественного текста, напротив, имеют высокую общеязыковую частотность⁷. Число слов, частотных для художественного текста, существенно меньше, чем в случае делового текста. 73% КС художественного текста встречается в тексте не менее двух раз; в среднем НКС характеризуется следующими частотами встречаемости: 3,7, 4,2 и 4,2 для словоформ, лексем и однокоренных слов класса условной эквивалентности соответственно. Указанные формальные соотношения во многом определяются частотностью наименований действующих лиц (*Ти Фео* 16, *Советник* 6), и тем, что вьетнамское имя не склоняется. Именно этим и объясняется более высокая средняя частота встречаемости для словоформ и лексем для НКС художественного по сравнению с НКС делового текста. Если включить в рассмотрение неоднокоренные слова условного класса эквивалентности, объединяющие, напр., не только *крикнул* + *крик*, но и *орал* + *вопли*, то 90% КС обладают неоднократной встречаемостью.

Таким образом, ф а к т о р частотности в тексте является сущест в е н н ы м для формирования НКС обоих текстов, однако в большей степени имеет отношение к деловому тексту.

Признак частотности по тексту является существенным для характеристики текстов разных функциональных стилей (и с точки зрения иерархии тем текста, и с точки зрения средств связности) и ниже рассмотрен несколько более подробно.

Для делового текста характерно повторение как лексико-грамматических единиц, так и точных форм, более того – целых конструкций; при этом местоименная лексика встречается крайне редко (0,4% – местоимения-существительные, 4% – местоимения-прилагательные). Распределение частоты словоупотреблений по тексту, по-видимому, непосредственно соотносится с иерархией тем и, соответственно, формирует НКС как набор наиболее важным тем текста.

Порядок следования частотных слов в тексте может соответствовать путям формирования смысловых вех у слушающего. Большинство смысловых вех делового текста введено уже в начальном фрагменте текста, сравнительно небольшое число КС, непосредственно не соответствующих словоупотреблениям начального фрагмента текста,

⁷ Исключение составляет два слова «*Ти Фео*» (имя действующего лица) и «*хао*» (денежная единица).

художественному тексту свойственно маркирование КС последующей паузой (вне зависимости от фрагмента текста); мелодическое выделение может рассматриваться как «отрицательный» признак, т. к. мелодика маркирует «новое».

3. РАСПОЗНАВАЕМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ КОММУНИКАТИВНОЙ И СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУР ПРИ ВОСПРИЯТИИ ТЕКСТОВ В ШУМЕ

3.1. Дизайн эксперимента

В качестве типа искажения было выбрано: наложение на исходный сигнал белого шума⁹ при общем соотношении сигнал/шум 0 дБ. В эксперименте приняло участие 40 испытуемых (носителей русского языка, далеких от предметной области экономики и соответствующего делопроизводства). В инструкции испытуемым предлагалось прослушать текст удобными порциями, останавливаясь с помощью клавиши «пауза» и записывая каждый следующий услышанный фрагмент с новой строки, начинающейся с символа «звездочка». Текст можно было слушать один раз, не возвращаясь назад.

3.2. Распознаваемость компонентов коммуникативных структур

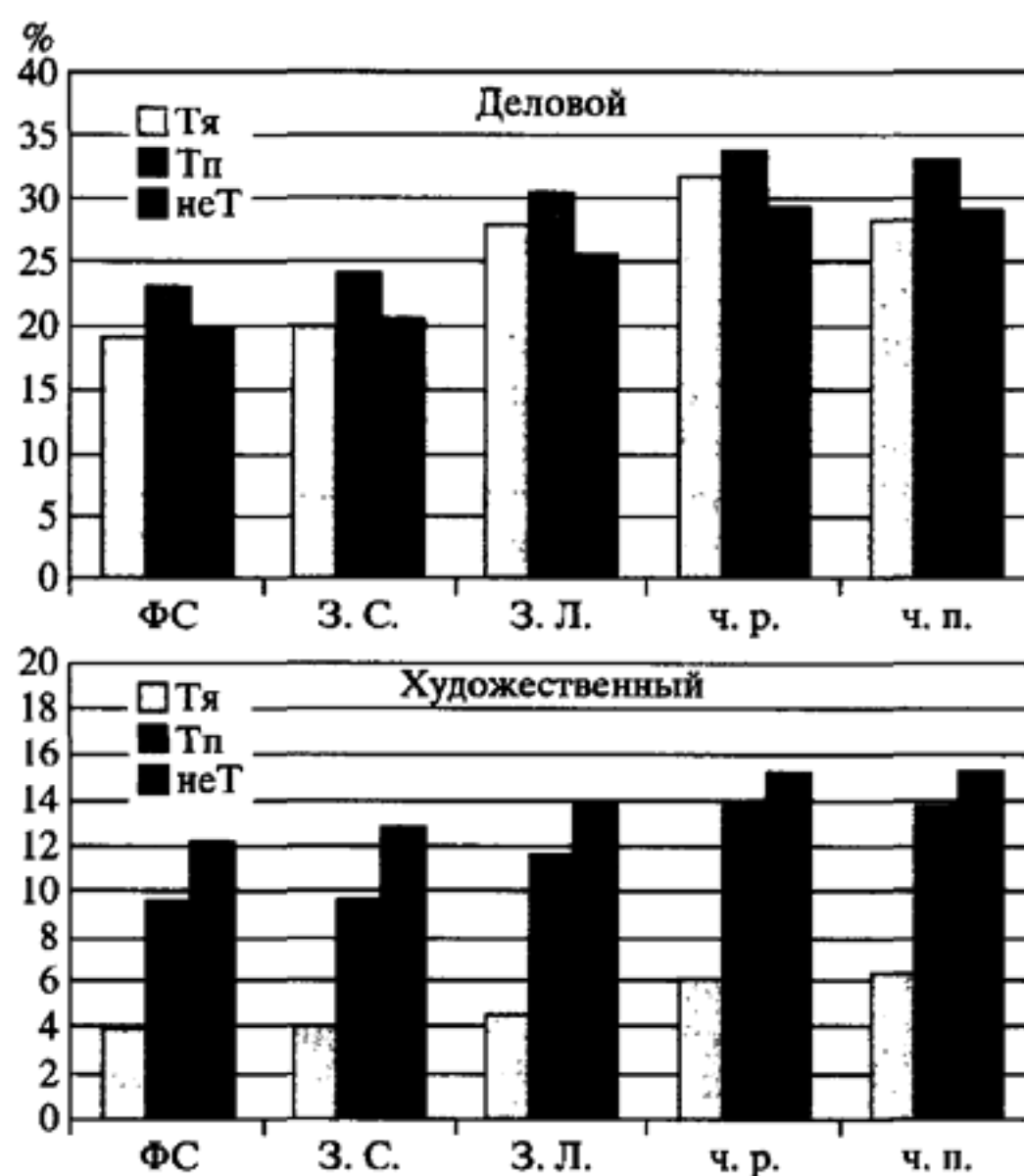


Рис. 5. Распознаваемость элементов темы и ремы при восприятии делового и художественного текстов в шуме. Условные обозначения: ФС – фонетические слова, З.С. – знаменательные словоформы, З.Л. – знаменательные лексемы, ч.р. – грамматический класс «часть речи», ч.п. – грамматический класс «член предложения», Тя – ядро темы, Тп – периферия темы, неТ – рема¹⁰

⁹ Белый шум характеризуется одинаковой спектральной плотностью на всем диапазоне частот.

¹⁰ Далее в тексте и рисунках используются соответствующие условные обозначения.

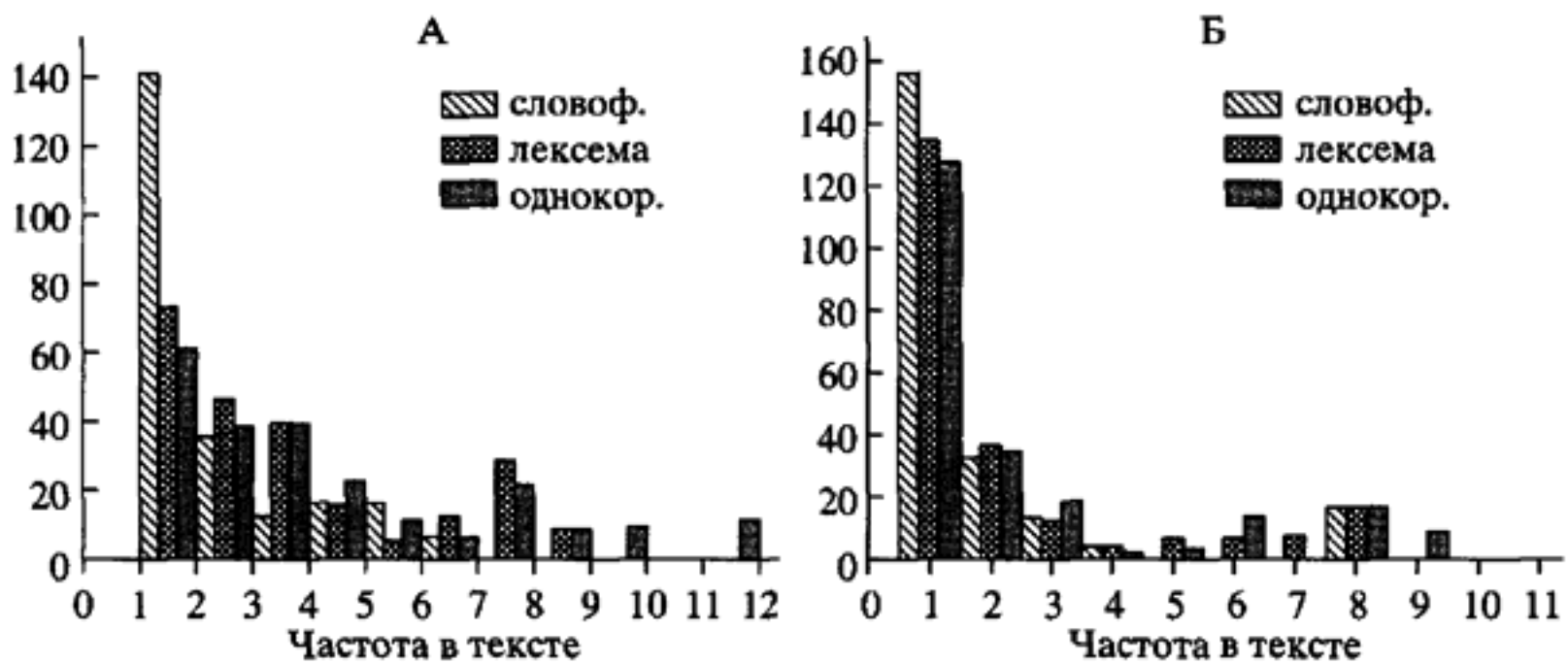


Рис. 2. Распределение словоупотреблений текста в соответствии с их частотностью (словоформы, лексемы, однокоренные слова класса условной эквивалентности); А – для делового текста, Б – для художественного текста

по-видимому, принадлежит к тематической области текста (и, соответственно, эти смыслы могут быть восстановлены).

В художественном тексте связность тем осуществляется не только за счет повторяющихся наименований двух действующих лиц, но и соответствующих личных местоимений, так, напр., частота встречаемости лексем *я, ты, он* – 4, 7 и 5, частота встречаемости класса условной эквивалентности (наподобие *я + мой, ты + твой*) – 5, 9 и 6, соответственно. Таким образом, наиболее частотные слова (с частотой встречаемости более 3) соотносятся только с действующими лицами, их, очевидно, не может быть достаточно для формирования всего НКС. Начальный фрагмент художественного текста соответствует преамбуле, в нем только вводятся имена действующих лиц, большинство смысловых вех текста невозможно предсказать на основании этого фрагмента.

Уже предварительный анализ полученных данных позволяет подтвердить основные предположения:

В деловом тексте частотность словоупотреблений (и конструкций) по тексту гораздо выше, а общеязыковая частотность – существенно ниже, чем в художественном. Порядок следования частотных словоупотреблений соответствует потенциальным путям формирования смысловых вех (КС) и важен для обеспечения связности текста. В НКС делового текста несколько чаще представлены существительные и, далее, синтаксические субъекты (по сравнению с НКС художественного текста).

В художественном тексте частотность знаменательных словоупотреблений (только наименования действующих лиц) существенно ниже, чем в деловом тексте, т.е. частотных по тексту слов не может быть достаточно для формирования НКС; большей частотностью обладает местоименная лексика художественного текста (в отличие от делового текста); в НКС художественного текста присутствуют существительные (в несколько меньшем количестве) и глаголы – в отличие от делового текста.

2.5. Фонетические признаки компонентов коммуникативного членения высказывания

«Среди фонетических признаков выделения темы следует отметить два. Первый – это использование паузы, следующей за словом или синтагмой, отвечающими теме. ... Второй способ маркирования темы – собственно просодический, прежде всего мелодический» [Касевич 2006: 601]. Традиционно считается, что наиболее маркированным с помощью движения частоты основного тона (ДЧОТ) являются элементы ремы (не-темы) или нового (в противопоставлении данному). В то же время существует значительное число работ, посвященных мелодическому маркированию собственно элементов темы (см., напр. [Brown 1983; Terken 1980]). Возможно, мело-

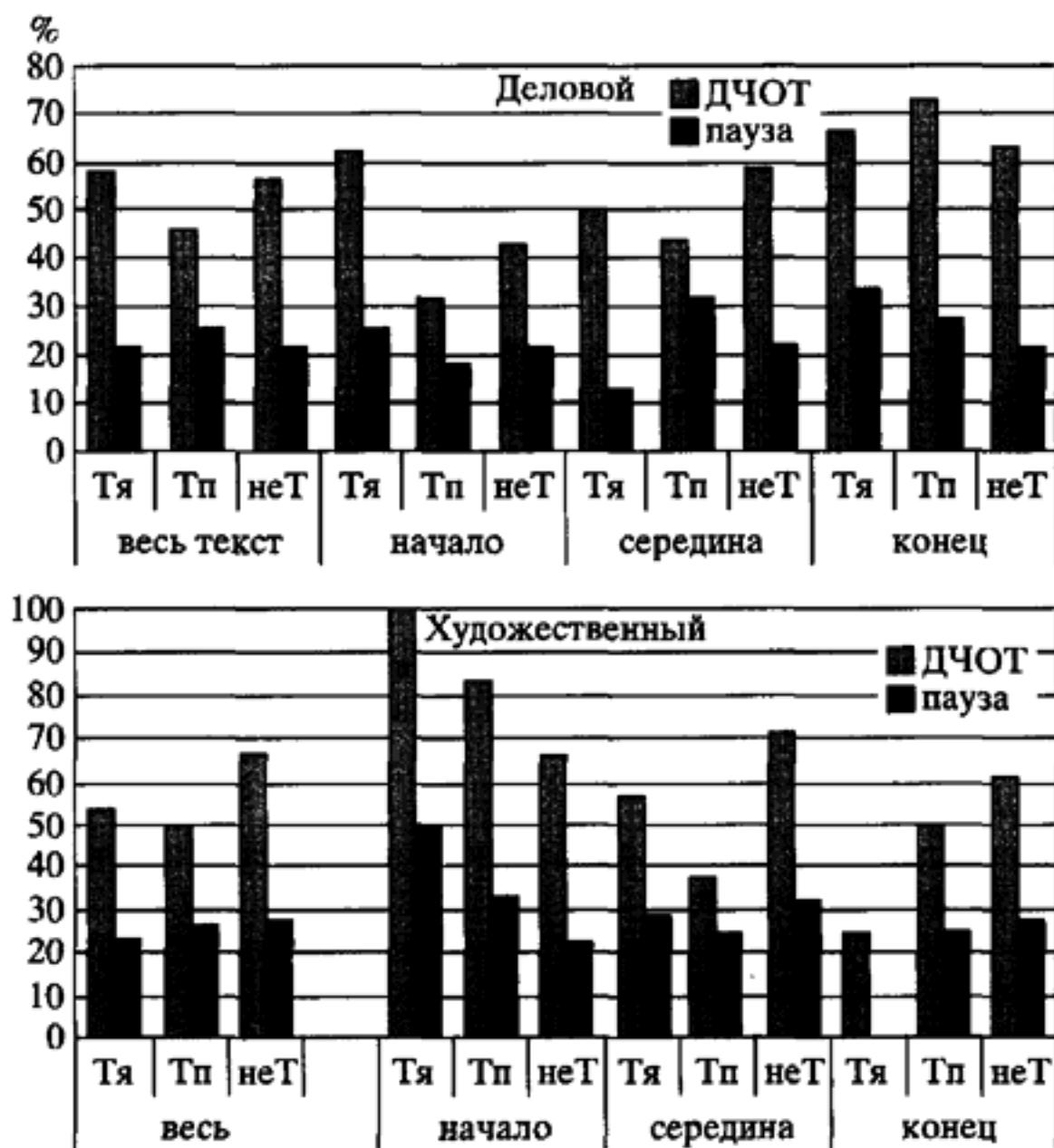


Рис. 3. Доля элементов (слов) коммуникативного членения, выделенных ДЧОТ или паузой после слова в тексте и его фрагментах (начальном, срединном и конечном)

дическое выделение в большей степени определяется противопоставлением «данное vs. новое», а не «тема vs. рема», т.е. маркируется н о в о е. В частности, выделяется та тема, которая является коммуникативно-новой, последующие же употребления того же слова (обозначения того же предмета, явления) уже не обладают просодической выделенностью (см., напр. [Halliday 1970; Brown 1983; Terken 1980], подробнее обзор в [Касевич 2006]). Наше предположение заключается в том, что способы фонетического маркирования тех или иных компонентов коммуникативных структур (тема – рема и далее данное – новое), прежде всего, зависят от функционального типа текста.

Деловой текст

На материале делового текста пауза в подавляющем числе случаев играет роль фонетического признака, маркирующего границу между темой и ремой (не темой) (ср. [Шабельникова 1980]). Тема, как правило, представлена словосочетаниями (содержащими сравнительно большое число слов), поэтому если считать применительно к каждому конкретному слову, то этот фонетический признак кажется сравнительно малочастотным (см. рис. 3). Предполагалось, что максимальную роль последующая пауза играет для выделения компонента периферии темы (прежде всего, при традиционном следовании в предложении компонентов: ядро темы – периферия темы – не-тема). В то же время в результате рассмотрения данных по признаку паузации, на наш взгляд, нельзя выделить приоритетный (из трех рассматриваемых компонентов): ядро темы для начального и конечного фрагментов и периферия для середины текста.

Как уже говорилось ранее, высказывания рассматриваемого текста представляют собой сообщения четкой синтаксической и коммуникативной структуры, «модифицирующие» значения (по Т.Е. Янко) отсутствуют (напр., контраст, эмпфаза). На нашем материале слова, маркированные с помощью ДЧОТ на центре или предцентре, могут принад-

Для делового и художественного текста наблюдаются противоположные «направления» улучшения правильного опознания в терминах функциональной структуры высказывания: *рема* → *тема* для делового и *тема* → *рема* для художественного текста¹¹ (см. рис. 3). Для делового текста все различия в распознавании незначимы; ядро темы распознается несколько хуже, чем периферия. Для художественного текста не-тема распознается лучше, чем ядро темы (для ФС и ЗЛ. значимо на уровне тенденции).

Рассмотрение различий между начальным, срединным и конечным фрагментами текстов позволит проследить динамику взаимодействия разных структур текста.

Деловой текст

От начального к конечному фрагменту делового текста происходит улучшение распознаваемости каждого из элементов. Особенно ярко эта закономерность проявляется для элементов периферии темы, различия статистически значимы по всем параметрам (ФС, ЗС, СС, грамматические классы «часть речи» и «член предложения»).

Для конечного фрагмента делового текста характерна четкая схема улучшения распознаваемости: не-тема → периферия темы → ядро темы. Элементы ядра темы распознаются существенно лучше, чем элементы не-темы.

Художественный текст

От начального к конечному фрагменту художественного текста происходит ухудшение распознаваемости элементов ядра и периферии темы. В наибольшей степени эта закономерность проявляется для элементов периферии темы, различия статистически значимы по всем параметрам (ФС, ЗС., ЗЛ., грамматические классы ч.р. и ч.п.). Для элементов *ремы* характерно улучшение распознаваемости от начала к началу (середине и концу): наилучшая распознаваемость отличает середину текста (вероятно, предсказуемое развитие сюжета, обилие диалоговых фрагментов); различие между начальным и срединным фрагментами значимо для ЗС., ЗЛ., ч.р. и ч.п. и значимо на уровне тенденции для ФС.

Для конечного фрагмента художественного текста характерно следующее направление улучшения распознаваемости: ядро темы → периферия темы → *рема* (не-тема). Элементы *ремы* распознаются значимо лучше, чем элементы темы (по ФС и по ЗС.), в случае рассмотрения более обобщенной единицы рассмотрения (грамматические классы ч.р. и ч.п. или ЗЛ.) различия значимы на уровне тенденции.

Таким образом, в соответствии со значимостью противопоставления «данное vs. новое» в начале текста лучше распознается тема (19%), а в середине и конце – рема (соответственно, 15% и 13%).

3.3. Распознаваемость компонентов смысловой структуры

Выделяется три набора («малый», «средний» и «большой» НКС). При соотнесении со словоупотреблениями предъявляемых текстов необходимо учитывать частотность этих словоупотреблений в тексте, поэтому в дальнейшем мы вынуждены были вести основную работу со средним НКС для научного текста и большим для художественного текста, каждый из которых составлял 14% от всех словоупотреблений текста.

Деловой текст

На материале делового текста КС распознаются значимо лучше, чем неКС (значимое различие для ЗС., ЗЛ., ч.р.) (см. рис. 6). Такая закономерность характеризует и текст целиком («КС vs. неКС»), и начальный фрагмент («КС vs. неКС» и «КСнач vs. неКСнач»). Таким образом, сведения о распознаваемости начального фрагмента текста демонстрируют функциональное подобие структур НКС и НКСнач («КС vs. неКС» и «КСнач vs. неКСнач»).

¹¹ В случае делового текста названное направление соответствует и увеличению доли ключевых слов (см. далее, в следующих разделах); в случае художественного текста соотнесения элементов темы/ремы с наборами ключевых слов не наблюдается.

лежать как компонентам ядра или периферии темы, так и элементам не-темы (ремы). Более того, для конечного фрагмента текста (несмотря на минимальную степень «новизны» с точки зрения структуры текста) число мелодически выделенных элементов темы больше, чем для начального или срединного фрагмента (см. обсуждение ниже).

Художественный текст

На материале художественного текста последующая пауза крайне редко маркирует границу между темой и не-темой (ремой). В наибольшей степени подобный способ фонетического маркирования темы (или границы темы) прослеживается для начального фрагмента (вернее даже, самого начала текста, которое можно назвать преамбулой) – в 50% и 33% случаев (соответственно, для элементов ядра и периферии темы) (см. рис. 3).

Рассматриваемый художественный текст содержит сравнительно большое количество эллиптических высказываний, понимание структуры которых – прежде всего, коммуникативной – с необходимостью «задействует» как ближайший, так и далекий (вплоть до всего текста) контексты⁸. В наибольшей степени мелодическое маркирование элементов коммуникативной структуры характеризует начальный фрагмент текста, при этом элементы темы выделялись несколько чаще, чем элементы ремы (см. рис. 3). Для срединного и конечного фрагментов текста несколько чаще маркируются элементы ремы (см. рис. 3). Эти результаты хорошо согласуются с представлениями о том, что мелодически маркируется новое (коммуникативно новые темы в начале текста и ремы в последующих его фрагментах).

Следовательно, и здесь подтверждается гипотеза о том, что фонетическое маркирование компонентов коммуникативных структур существенным образом зависит от функционального стиля текста:

- для делового текста пауза в большинстве случаев маркирует границу между компонентами темы и ремы, мелодическое выделение характеризует структуру «тема vs. рема» (не «данное vs. новое»): ДЧОТ может нести любой компонент (Тя, Тп и неТ), на конечном фрагменте тексте число мелодически выделенных элементов темы больше, чем на начальном или срединном;
- для художественного текста складывается противоположная картина: пауза крайне редко маркирует рассматриваемую границу, а мелодически маркируется новое (т.е. структура «данное vs. новое», а не «тема vs. рема»)

2.6. Фонетические признаки маркирования КС

Среди фонетических признаков маркирования КС мы рассматривали наличие паузы после соответствующего словоупотребления и/или наличие ДЧОТ на предупредном и/или ударном сегментах слова (предцентре и/или центре). Точно такие же фонетические признаки рассматривались ранее применительно к компонентам коммуникативного членения; предполагалось взаимодействие коммуникативной и смысловой структур. Основная гипотеза заключается в том, что способы фонетического маркирования КС (как и компонентов коммуникативного членения) зависят от функционального стиля текста.

Для делового текста в целом не обнаружено маркирования КС ни с помощью последующей паузы, ни с помощью ДЧОТ, а именно доли фонетически маркированных КС и неКС практически одинаковы (28% vs. 20% для паузы и 54% vs. 51% для ДЧОТ). Для КС доля фонетически маркированных словоупотреблений возрастает в направлении начало – середина – конец от 38% до 74%); для неКС в этом направлении увеличива-

⁸ Многие высказывания содержат эмфазу, логические ударения и т.д. Таким образом, наряду с основными коммуникативными значениями эти структуры могут нести так называемые «модифицирующие» значения. Однако на ограниченном материале мы не можем еще больше «дробить» рассматриваемые компоненты коммуникативных структур.

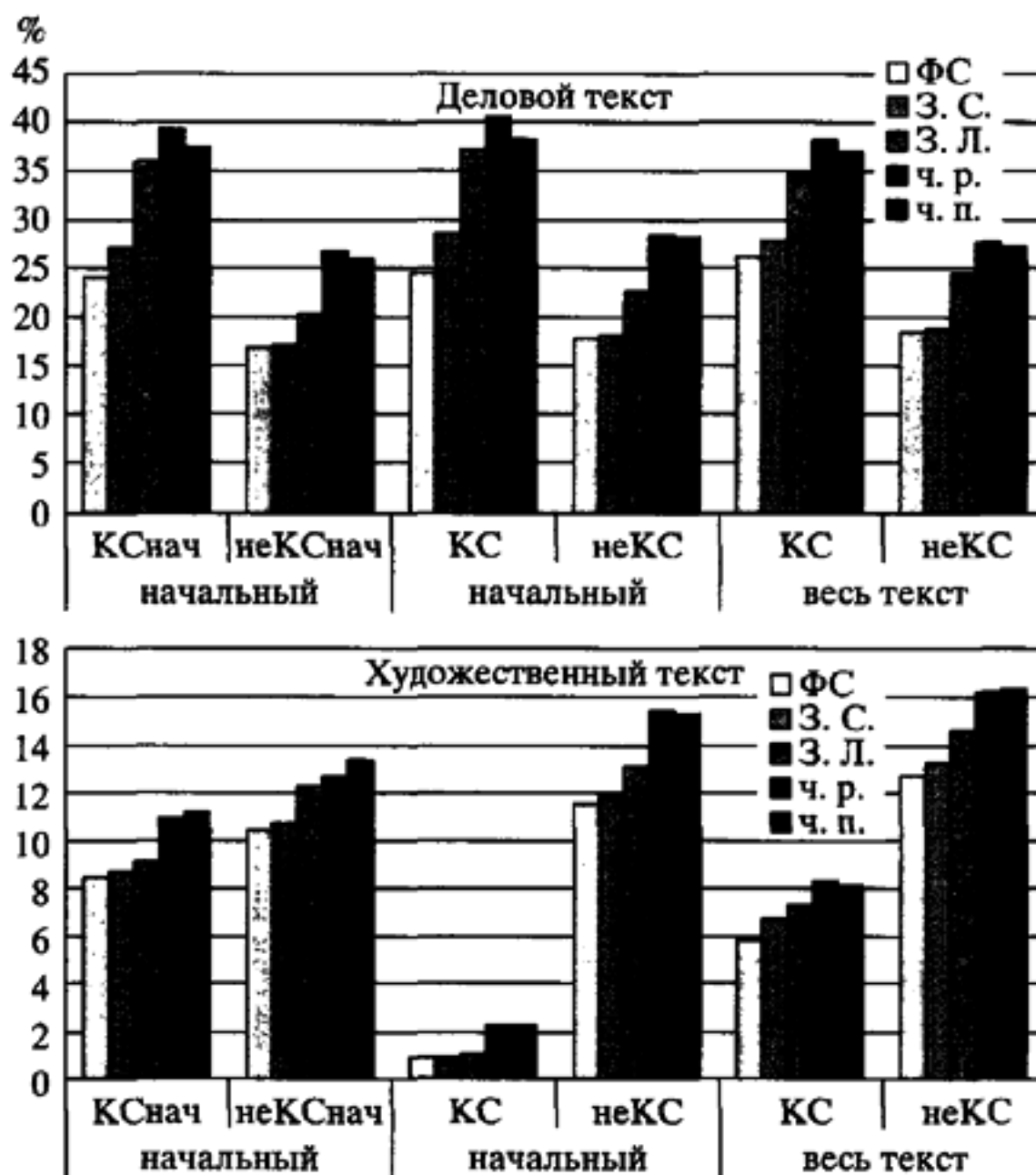


Рис. 6. Распознавание КС и неКС (КСнач и неКСнач) во всем тексте и в его начальном фрагменте

КС (словоупотребления) в деловом тексте распределяются примерно поровну между начальным, срединным и конечным фрагментами (см. табл. 2). Для неКС распознаваемость увеличивается в «естественном» направлении начало → середина → конец текста (значимое различие между начальным и конечным фрагментами), что соответствует общей тенденции, рассматриваемой выше для всех словоупотреблений и для компонентов темы и ремы (рис. 7). Для КС минимальной распознаваемостью характеризуется срединный фрагмент текста (значимые различия); распознаваемость КС увеличивается в направлении середина → начало → конец (значимо на уровне тенденции различие между начальным и конечным фрагментом по ФС). Таким образом, наилучшая распознаваемость конечного фрагмента является общей характеристикой и для КС, и для неКС.

Из чего складывается лучшая распознаваемость КС по сравнению с неКС? На начальном и конечном фрагментах (значимо по всем параметрам) КС распознаются луч-

Таблица 2

Распределение КС (словоупотреблений) по фрагментам текста

Фрагмент	Деловой	Художественный	Худож. диалог	Худож. нарратив
Начальный	30%	18%	2%	16%
Срединный	36%	37%	16%	20%
Конечный	34%	45%	4%	41%

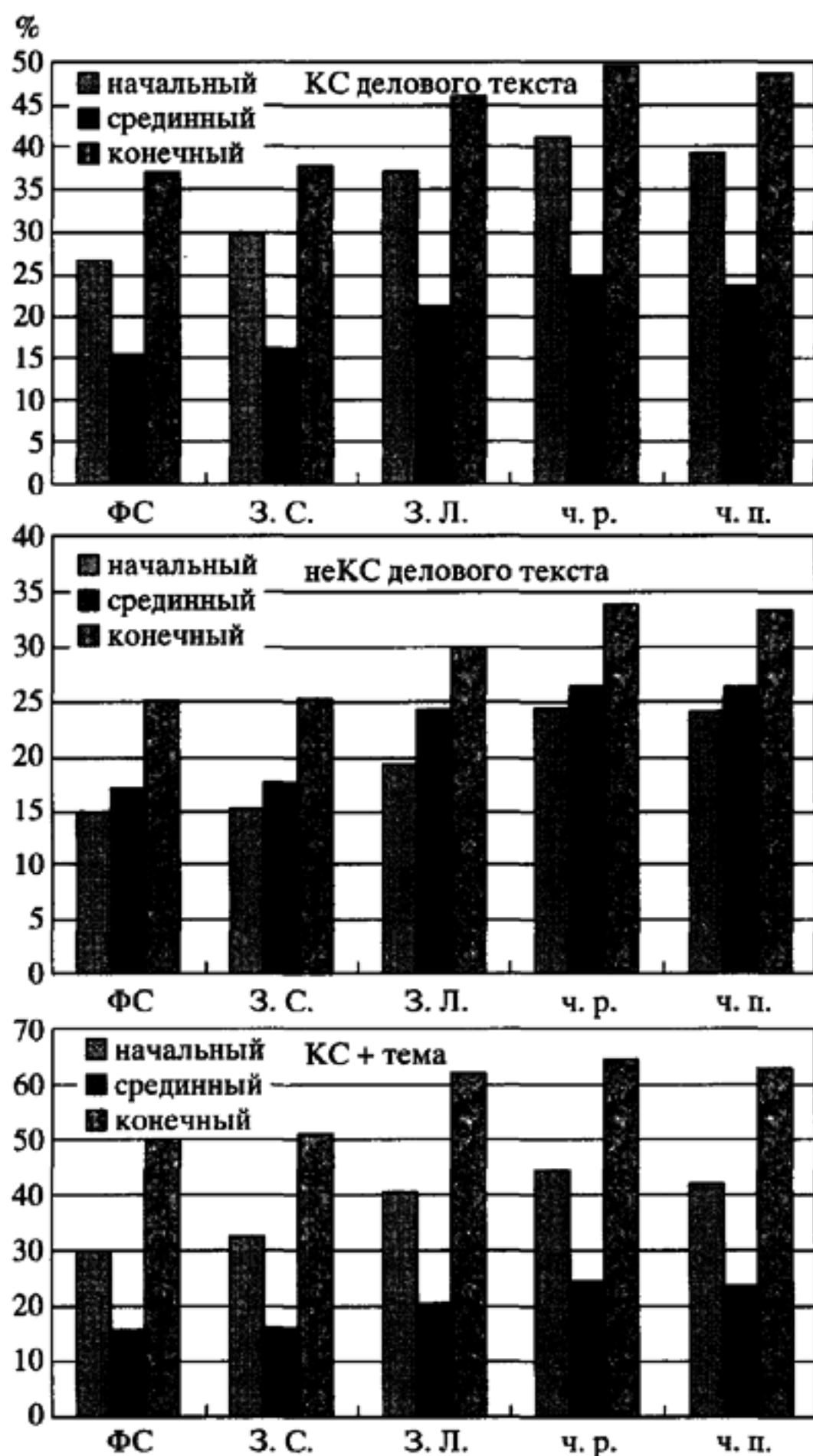


Рис. 7. Распознаваемость КС, неКС и КС, являющихся темой – (слов и грамматических классов) – на начальном, срединном и конечном фрагментах делового текста

ше, чем неКС, на срединном же фрагменте делового текста различия в распознавании КС и неКС несущественны. Полагаем, что нейтрализация противопоставления «КС vs. неКС» (и наихудшая распознаваемость КС) на срединном фрагменте проявляется в результате (1) особенностей смыслового и коммуникативного структурирования, присущих только данному функциональному стилю (см. ниже); (2) непривычностью текстов данного функционального стиля для испытуемых (что являлось необходимым условием эксперимента). На начальном фрагменте, по-видимому, происходит «подстройка» слушающего под структурные особенности текста, на конечном фрагменте распознавание текста осуществляется на основании уже известной слушающему структуры текста. В случае рассмотрения «пересечения» коммуникативной и смысловой структуры текста – КС, одновременно являющихся темой, – направление улучшения распознаваемости

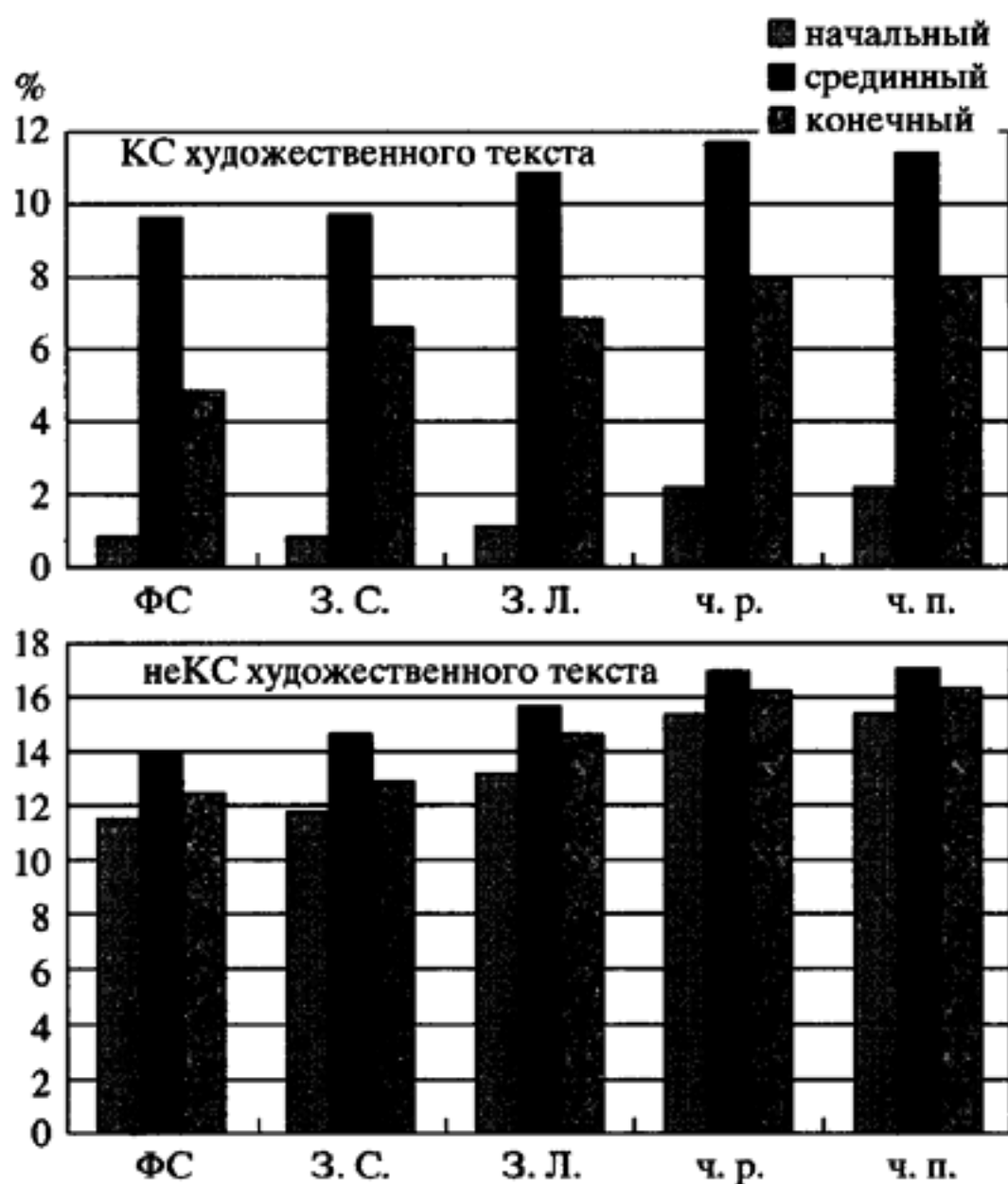


Рис. 8. Распознаваемость КС и неКС (слов и грамматических классов) на начальном, срединном и конечном фрагментах художественного текста

«середина → начало → конец» проявляется в еще большей степени, чем для всех КС (значимые различия между всеми фрагментами по всем параметрам) (ср. рис. 7а и в).

Художественный текст

В случае художественного текста распознаваемость КС существенно ниже, чем распознаваемость неКС (в отличие от противоположной зависимости для делового текста) (см. рис. 6). Распознаваемость КС (по сравнению с неКС) текста в целом складывается из распознавания его фрагментов: на начальном (см. рис. 8, значимо на уровне тенденции по всем параметрам) и конечном фрагментах (значимо по ФС) КС распознаются хуже, чем неКС, на срединном же фрагменте художественного текста различия в распознавании КС и неКС несущественны.

Для КС, как и для неКС несколько лучшей распознаваемостью обладает середина текста (впрочем, различия статистически незначимы). Напомним, что деление художественного текста на три фрагмента соотносимо с его глобальной смысловой структурой: (1) преамбула (и завязка сюжета), (2) развитие сюжета и (3) развязка. Таким образом, срединная позиция обладает особой смысловой значимостью: развитие сюжета, вероятно, оказывается предсказуемым и содержит большое число диалоговых реплик. Именно эта смысловая значимость срединного фрагмента и проявляется в несколько лучшей распознаваемости всех компонентов смысловой структуры (КС и неКС, составляющей 14% и 13%), и значимо наилучшей распознаваемости слов ремы (как элемента коммуникативной структуры). В том случае, если мы рассмотрим пересечение множеств неКС и не-темы, распознаваемость составляет 15% для срединного и конечного фрагментов.

Таким образом, полностью подтверждаются наши гипотезы – (1) смысловая структура текста оказывает существенное влияние на распознаваемость и (2) смысловая струк-

© 2007 г. В. В. БАЙДА

К ВОПРОСУ О ВЫРАЖЕНИИ КАТЕГОРИИ ТАКСИСА В ИРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье обсуждается работа А. О'Корраня [О'Коррань 2007], посвященная развитию форм перфектного типа в кельтских языках. Данные, представленные в этой работе, обсуждаются на фоне других типологических исследований. Предлагается более дробная классификация соответствующих форм в кельтских языках. Основной целью, однако, является показать отсутствие необходимости выделения стадии развития перфектных форм, на которой их значением можно было бы считать выражение предшествования, как это предлагается в обсуждаемой статье.

Статья «Перфектные конструкции в островных кельтских языках» профессора Ольстерского университета Альве О'Корраня представляет собой расширенный вариант текста доклада, представленного им на конференции «Celts-Slavica II», которая проходила осенью 2006 г. в Москве. Статья посвящена анализу развития системы перфектных показателей в кельтских языках.

Система видовых показателей в кельтских языках рассматривалась во многих работах, авторы которых в первую очередь концентрировали внимание на отдельных элементах аспектуальной системы, причем следует заметить, что подавляющее большинство исследований посвящено гойдельским языкам, и прежде всего – ирландскому. Здесь наиболее важными являются статьи [Dillon 1941; Greene 1979; 1979–1980; Schmidt 1990; Ó Sé 1992; 2004], а также отдельные разделы в [Thurneysen 1946: 339–348; McCone 1997: 89–126]. По другому гойдельскому языку – шотландскому – можно привести две сравнительно недавние статьи [Cox 1996; MacAulay 1996] (см., однако, рецензию на эти статьи в [Ó Maolalaigh 2003: 318–320]). В то же время статья О'Корраня примечательна именно тем, что в ней делается попытка обобщения данных по разным кельтским языкам (несмотря на то, что больше внимания уделяется все же ирландскому материалу), а также тем, что кельтский материал впервые использован для иллюстрации общетипологических явлений, таких как цикличное диахроническое развитие «перфект > претерит», или шире – «аспект > время».

Эволюция перфектных форм в направлении выражения претеритальных значений как процесс, характеризующийся цикличностью, была подробно рассмотрена Ю.С. Масловым на материале германских, романских и славянских языков [Маслов 1983; 1984а; 1984b]. В сжатой форме Ю.С. Маслов описывал это явление следующим образом: «Общее направление эволюции перфектных образований... можно выразить формулой: от обозначения состояния к обозначению действия, вызвавшего это состояние, и далее к обозначению просто действия, т.е. к перерождению перфектной специфики и в ряде случаев к ее полной утрате» [Маслов 1983: 46].

Ю.С. Маслов выделял в таком развитии три последовательных цикла, или «раунда». П е р в ы й «р а у н д» – эволюция древнего индоевропейского перфекта: предполагаемая для индоевропейского языка особая часть речи, обозначающая состояние, т.е. своего рода статив, вследствие актуализации мысли о предшествующем действии, вызвавшем данное состояние, превращается в результатив, который позже засвидетельствован в древних индоевропейских языках уже с собственно перфектным значением (обозначение прошедшего действия, связанного с настоящим моментом актуальностью своих пря-

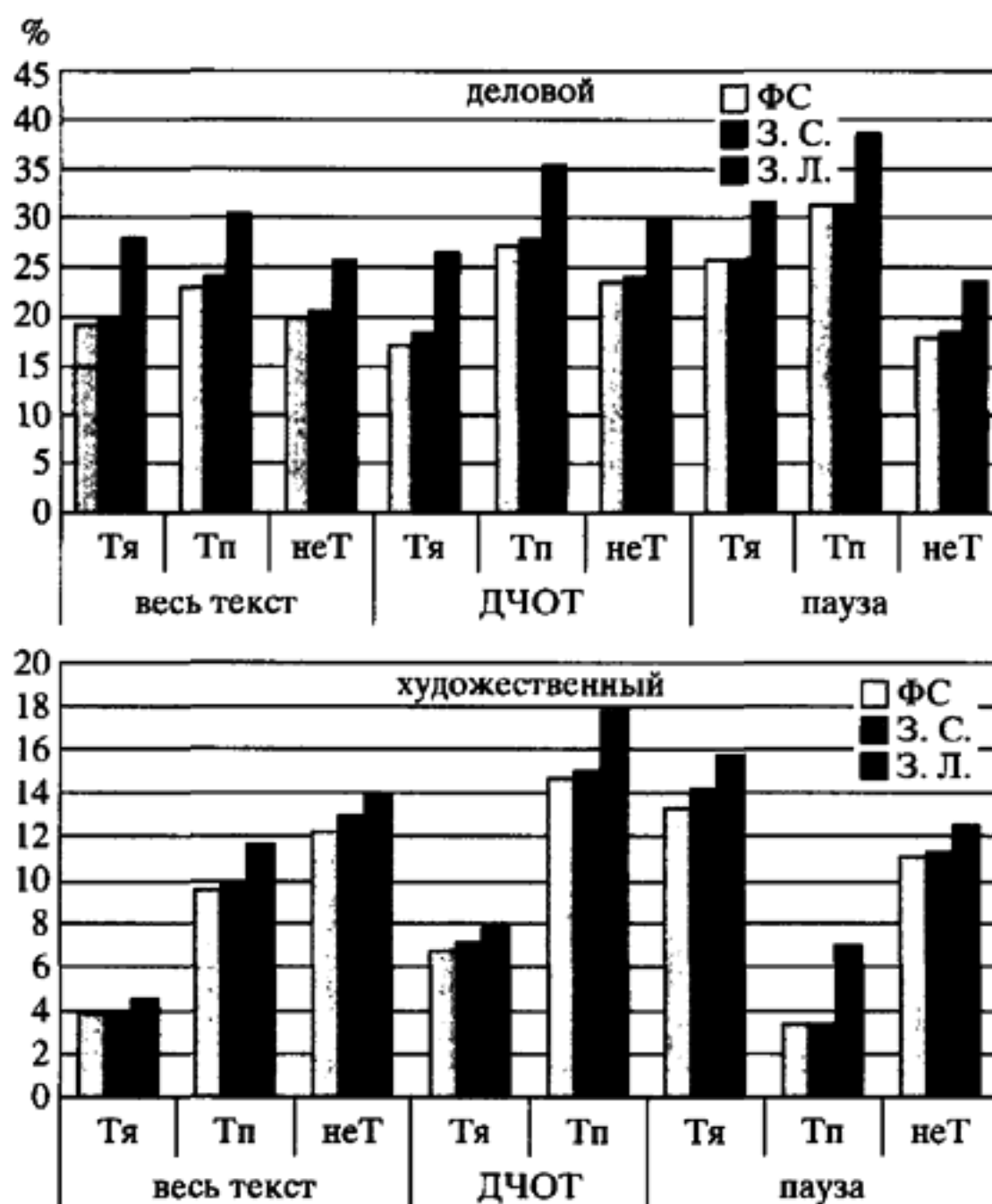


Рис. 9. Распознаваемость элементов коммуникативного членения – (1) всех, (2) выделенных ДЧОТ или (3) паузой после слова в тексте

тура текста и ее функционирование в процедурах распознавания определяются функциональным стилем. Общим на материале текстов двух разных функциональных стилей является то, что (1) распознавание КС и неКС значительно различаются (на тексте в целом, на начальном и конечном его фрагментах); (2) на срединном фрагменте различие в опознании КС и неКС незначимо; разным – то, какой из компонентов смысловой структуры распознается лучше (КС или неКС).

По-видимому, художественный текст можно рассматривать как неоднородный с точки зрения функционального стиля, а именно трактовать фрагменты диалога и нарратива как различающиеся по функциональному стилю. Максимальная распознаваемость в рамках художественного текста характеризует диалог на срединном фрагменте (20% и 21% – КС и неКС, соответственно). Для диалога неКС срединного фрагмента обладают уже существенно лучшей распознаваемостью, чем на конечном фрагменте (значимо по З.С. и на уровне тенденции по всем другим параметрам). В рамках нарратива наилучшей распознаваемостью обладают неКС в конечной позиции (13%).

3.4. Фонетическая выделенность элементов коммуникативного членения и их распознаваемость

Предполагалось, что особенности фонетического маркирования компонентов коммуникативных структур, определяемые функциональным стилем текста, существенным образом влияют на распознавание этих компонентов.

Деловой текст

Для (1) делового текста в целом и для (2) элементов, маркированных ДЧОТ, все различия в распознаваемости компонентов коммуникативного членения незначимы. В случае (3) элементов перед паузой наблюдается значимое ухудшение распознаваемости элементов не-темы: по сравнению с темой значимо для ФС, З.С., З.Л., грамматический класс ч.р. (ч.п. – на уровне тенденции); при сравнении с периферией темы улучшение значимо по всем рассматриваемым параметрам¹². Таким образом, нахождение в позиции перед паузой повышает распознаваемость элементов темы (по сравнению со всеми элементами для ФС значимо на уровне тенденции), но понижает (незначимо) распознаваемость элементов не-темы.

Мелодическое выделение, по-видимому, не играет существенной роли в коммуникативном членении делового текста¹³.

Художественный текст

Для элементов периферии темы и ремы прослеживается улучшение распознаваемости при маркировании ДЧОТ и ухудшение – перед паузой (см. рис. 4); в результате распознаваемость элементов периферии темы значимо лучше (для ФС и З.С.) в случае мелодического выделения по сравнению с паузационным (на уровне тенденции – для З.Л. и грамматических классов ч.р. и ч.п.). Более того, ядро темы лучше распознается при повышении, а не при понижении частоты основного тона (ЧОТ); а элементы периферии темы и ремы при понижении (а не повышении) ЧОТ. Однако названные различия статистически незначимы.

Кроме того, для элементов с понижением ЧОТ существует зависимость распознаваемости от начала текста к его концу: (1) распознаваемость элементов ремы значительно повышается от начала текста к концу¹⁴, (2) для элементов периферии темы присутствует уменьшение разборчивости по мере ознакомления со смыслом текста (от 28% до 5%)¹⁵. Эти данные можно рассматривать как перцептивное подтверждение того, что мелодические признаки (прежде всего, понижение ЧОТ) характеризуют новое, т.е. не столько структуру «тема vs. рема», сколько «данное vs. новое».

3.5. Фонетическая выделенность КС и их распознаваемость

Предполагалось, что особенности фонетического маркирования КС (как и компонентов коммуникативных структур), определяемые функциональным стилем текста, существенным образом влияют на распознавание этих компонентов.

Как и в случае коммуникативных структур, значимо улучшает распознавание КС делового текста последующая пауза (см. рис. 10; значимые различия между КС, маркированными и немаркированными последующей паузой, по ФС и З.С. и на уровне тенденции по З.Л. и ч.р., ч.п.). Мелодическое маркирование незначительно улучшает

¹² Во всех рассматриваемых наборах ядро темы распознается несколько хуже, чем периферия; наибольшее различие характеризует элементы, маркированные ДЧОТ, однако даже в этом случае оно статистически незначимо.

¹³ Элементы темы несколько чаще маркируются повышением (а не понижением) ЧОТ, однако доля такого типа ДЧОТ уменьшается от начала к концу текста. Элементы ремы в начальном фрагменте текста чаще маркируются понижением ЧОТ, однако в срединном и конечном фрагментах они несколько чаще маркируются повышением ЧОТ. Элементы ядра темы лучше распознаются при понижении (а не повышении) ЧОТ; элементы периферии темы и ремы при понижении (а не повышении) ЧОТ (статистически незначимые различия). Кроме того, для всех подклассов (с ДЧОТ, с повышением ЧОТ, с понижением ЧОТ) для этих элементов в большинстве случаев наблюдается улучшение разборчивости от начала текста к его концу. Таким образом, данная тенденция является общей для делового текста по всем рассматриваемым параметрам.

¹⁴ Их распознаваемость на конечном фрагменте существенно лучше, чем на начальном фрагменте текста (значимые различия для З.Л. и грамматических классов «часть речи» и «член предложения», значимые на уровне тенденции для ФС, З.С.).

¹⁵ Этих элементов сравнительно мало, и различия статистически незначимы.

мых или косвенных последствий). Далее происходит утрата связи прошедшего действия с настоящим моментом – достигнута конечная точка эволюции – претеритальное значение.

Второй «раунд» представлен аналитическими формами посессивного (глагол обладания + причастие) и бытийного (глагол «быть» + причастие) типов. Результативное латинское (1) завершило цикл во французском (2), которое в современном разговорном языке имеет значение простого прошедшего времени:

(1) лат. *habeo epistulam scriptam*

(2) франц. *j'ai écrit une lettre*

Цикл можно считать пройденным и в случае перфектных форм в южных немецких диалектах и языке африкаанс, где они практически полностью вытеснили старый синтетический претерит. Это еще более справедливо в отношении славянского перфекта (глагол «быть» + причастие на *-l-*), который в большинстве славянских языков превратился в форму прошедшего времени, вытеснив аорист и имперфект.

Наконец, третий «раунд» перфектных преобразований представлен, опять же, в славянских языках посессивными оборотами типа (3), (4) с одной стороны, и, с другой стороны, непосессивными диалектными оборотами типа (5) или (6) [Маслов 1983: 46–54]:

(3) чешск. *Mám úlohu napsanou* 'Имею задание написанным' [Маслов 1983: 52]

(4) русск. *У меня посуда уже вымыта и обед приготовлен*

(5) болг. диал. *Сига сме дойдени* 'Сейчас мы пришли' [Маслов 1983: 53]

(6) русск. диал. *Он деньги получивши* [Трубинский 1983: 216]

Таким образом, в ходе каждого из вышеперечисленных циклов соответствующие формы проходили путь «результатив > перфект > претерит». Этот путь развития, наряду с другими сходными явлениями (как, например, развитие «выражение желанья, движения к цели или долженствования + нефинитная форма глагола > будущее время»), был подробно рассмотрен в монографиях [Bybee 1985; Dahl 1985]. Результаты этих работ компактно изложены в совместной статье [Bybee, Dahl 1989].

В работах по данной проблематике нельзя не отметить некоторую вариативность в терминологии. Так, например, в [Bybee 1985] в значении «перфект» используется термин «*anterior*», а в [Dahl 1985] – «*perfect*». Однако в [Bybee, Dahl 1989] делается выбор в пользу последнего. Ю.С. Маслов противопоставляет «перфект состояния» или «статальный перфект» «акциональному перфекту». На данный момент, по-видимому, можно считать более или менее устоявшейся терминологию (по крайней мере в русскоязычной литературе), принятую в коллективной монографии [Недялков 1983]: форма, обозначающая состояние, которое предполагает предшествующее действие, называется «результативом» (термин был независимо предложен в [Недялков и др. 1974] и [Coseriu 1976]), а форма, обозначающая действие в прошлом, последствия которого сохраняются в настоящем, – «перфектом». Вообще говоря, перфект можно считать не полноценной видовой категорией, а скорее «ослабленным результативом» (см. [Плунгян 2000: 299]), в котором компонент «состояние» ослаблен до значения «след», «прямое или косвенное следствие» или, по выражению В.А. Плунгяна, «эхо» ранее имевшей место ситуации.

Обращаясь теперь собственно к статье А. О'Корраня, следует отметить, что автор не различает последовательно «результатив» и «перфект», а использует последний термин для обозначения, по-видимому, всего континуума значений, обладающих временной двуплановостью, описанной выше. Однако с другой стороны, при схематизации эволюционирования рассматриваемых аспектуальных форм О'Коррань последовательно выделяет стадию, на которой они выражают (исключительно?) таксисное значение предшествования, так что в итоге получается последовательность «состояние > предшествование > действие» (см., например, «Заключение» [О'Коррань 2007]). Так как материалом для этого наблюдения стали кельтские языки и, в первую очередь, ирланд-

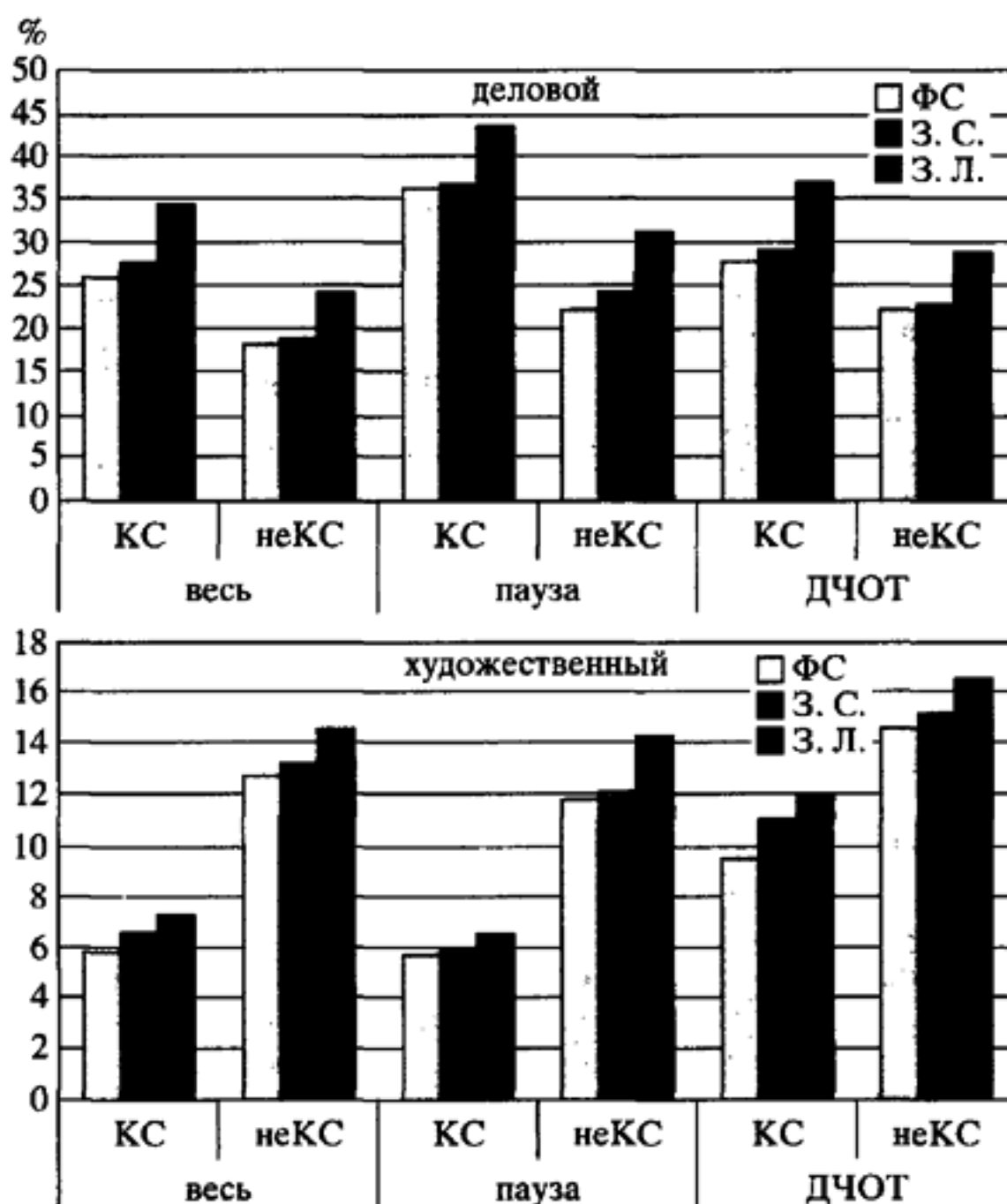


Рис. 10. Распознаваемость элементов смыслового членения (КС и неКС) – (1) всех, (2) выделенных ДЧОТ или (3) паузой после слова в тексте

распознавание КС (а также неКС) (см. рис. 10). Для художественного текста существенно улучшает распознаваемость КС ДЧОТ – как и для коммуникативных структур (см. рис. 10; значимые различия между КС, маркированными и немаркированными ДЧОТ, по всем параметрам).

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Следовательно, на нашем материале полностью подтверждается гипотеза о существенном влиянии функционального стиля на коммуникативное и смысловое структурирование текста, который определяет функционирование структур (и их компонентов) в процедурах восприятия текста.

Коммуникативная структура

- Для делового текста (1) элементы темы распознаются лучше, чем элементы ремы (особенно на конечном фрагменте); (2) от начального к конечному фрагменту текста происходит улучшение распознаваемости каждого из элементов; (3) перцептивно значимой является позиция перед паузой.
- Для художественного текста элементы ремы распознаются лучше, чем элементы темы (особенно на конечном фрагменте); (2) от начального к конечному фрагменту текста происходит ухудшение распознаваемости элементов темы и улучшение элементов ремы; (3) мелодика (прежде всего, понижение ЧОТ) – перцептивно наиболее значимый фонетический признак для коммуникативного членения художественного текста; этот признак маркирует н о в о е.

Смысловая структура

- Для делового текста (1) КС распознаются лучше, чем неКС (особенно на конечном фрагменте); (2) от начального к конечному фрагменту текста происходит у л у ч -

ше и е распознаваемости каждого из элементов; (3) перцептивно значимой является позиция перед паузой.

- Для художественного текста (1) неКС распознаются лучше, чем КС (на начальном и конечном фрагментах); (2) наилучшей распознаваемостью обладает середина текста (здесь происходит нейтрализация противопоставления КС vs. неКС); (3) мелодика (прежде всего, понижение ЧОТ) – перцептивно наиболее значимый фонетический признак маркирования КС.

Подойдем к интерпретации результатов с другой стороны. Естественно, при восприятии текста основная цель слушающего – извлечение смысла; разборчивость текста невозможна без словесной разборчивости, а слушающий, как правило, в состоянии распознать лишь некоторые слова (особенно в сложных условиях коммуникации – в помехах, не владея тематической областью), предположительно опорные при восприятии этого текста. Если оценить полученные результаты с точки зрения того, какие компоненты коммуникативных и смысловых структур оказываются опорными (обладают наилучшей распознаваемостью), получим следующую картину:

- для делового текста (при средней распознаваемости 21%) наилучшей распознаваемостью обладают тема перед паузой в конце текста (57%) (КС перед паузой в конце текста (47%) и КС + тема в конце текста (50%));
- для художественного текста в целом распознаваемость составляет 11%, лучше же всего распознаются тема в начале текста (26%) (неКС, выделенные ДЧОТ, в середине текста (17%));
- слова диалога распознаются в среднем в 17% случаев, неКС диалога, выделенные ДЧОТ, в середине текста (22%) или рема, выделенные ДЧОТ, в середине текста (22%).

Таким образом, при распознавании слов делового текста наиболее существенным является фактор знакомства с текстом (его темой, структурой и наиболее частотными словами), наиболее распознаваемые компоненты находятся в конечной его части. Для художественного текста большая «опорность» приходится на начальный и срединный фрагменты и по-разному соотносится с компонентами коммуникативного и смыслового членения: темой для начального фрагмента и диалога (особенно неКС или рема) для срединного фрагмента.

В заключение еще раз отметим, что в работе полностью подтвердилась исходная гипотеза. Из принятия этой гипотезы следует, что учет функционального стиля текста при моделировании его восприятия является **обязательным**.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Касевич 2006 – В.Б. Касевич. Семантика. Синтаксис. Морфология // Касевич В.Б. Труды по языкознанию. Т. 1. СПб., 2006.
- Мурзин, Штерн 1991 – Л.Н. Мурзин, А.С. Штерн. Текст и его восприятие. Свердловск, 1991.
- Сиротко-Сибирский 2006 – С.А. Сиротко-Сибирский. О проблеме понимания текста в лингвистике и психолингвистике // ...Слово отзовется: памяти А.С. Штерн и Л.В. Сахарного. Пермь, 2006.
- Шабельникова 1980 – Е.М. Шабельникова. Восприятие тонов и сегментных единиц китайской речи: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1980.
- Ягунова 2004 – Е.В. Ягунова. Роль ключевых слов при восприятии звучащего и письменного текста (на материале русского языка) // Человек пишущий и читающий: проблемы и наблюдения. Мат-лы междунар. конф. 14–16 марта 2002 г. Санкт-Петербург. СПб., 2004.
- Янко 2001 – Т.Е. Янко. Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001.
- Brown 1983 – G. Brown. Prosodic structure and the given/new distinction // A. Cutler, D. R. Ladd (eds.). Prosody: models and measurements. Berlin e. a., 1983.
- Halliday 1970 – М.А.К. Halliday. A Course in spoken English: Intonation. Oxford, 1970.
- Terken 1980 – J.M.B. Terken. The Distribution of pitch accent in descriptive language as a function of informational variables // IPO annual progress report. 1980. № 15.

ский, то рассмотрим еще раз некоторые факты этих языков, чтобы проверить необходимость подобной дискретизации.

Имеет смысл начать с того, что, вслед за Ю.С. Масловым, можно назвать вторым «раундом» в эволюции перфектных показателей в кельтских языках, поскольку он оказался, по меньшей мере – частично, засвидетельствован в письменных источниках. В центре этого цикла преобразований находится так называемый *го*-претерит. О'Коррань указывает, что «основополагающая дихотомия в древнеирландском между *го*-претеритом... и простым претеритом – это противопоставление “предшествование : не-предшествование”» [О'Коррань 2007:76]. Однако, например, в «Грамматике древнеирландского языка» Р. Турнайзена это противопоставление видится по-другому: «В индикативе... имеется возможность различать перфект (с *го*) и повествовательное время» [Thurneysen 1946: 341].

Но обратимся к статье [Schmidt 1990], к которой апеллирует О'Коррань. К.Х. Шмидт выделяет два «сдвига». Первый – от «*aspect flexionnel*» (старый, индоевропейский аспект) к «*aspect syntagmatique*» (скорее словообразовательный на основе противопоставления лексем по предельности/непредельности) (Шмидт здесь использует терминологию Й. Хольта [Holt 1943]): «Переход от “*aspect flexionnel*” к “*aspect syntagmatique*” подразумевает функциональный сдвиг в аспектуальной системе; противопоставление точки и линии [“*point vs. ligne*”] (в “*aspect flexionnel*”) заменяется противопоставлением завершеного/предельного и незавершеного/непредельного [“*accomplished/telic vs. non-accomplished/atelic*”] действия (в “*aspect syntagmatique*”)» [Schmidt 1990: 599].

Второй сдвиг – от «*aspect syntagmatique*» к перфекту, который оказался ограниченным вследствие неоднозначных последствий грамматикализации *го*- (< **pro*) [Schmidt 1990: 601], а именно: комбинация *го*- с прошедшими временами дает значение перфекта (в терминологии Шмидта и О'Корраня), в то время как *го*- с другими глагольными формами передает значения возможности, желательности и некоторые другие. Шмидт не объясняет, что именно он понимает под перфектом. Однако отсылки на «Грамматику» Турнайзена заставляют предположить, что он согласен с тем, как тот понимает эту форму: «Он [*го*] указывает на то, что действие или состояние завершено [perfect, completed]. Он придает перфектное [perfective] значение претериту индикатива и конъюнктиву прошедшего времени, оба из которых без него имеют значение простого прошедшего времени. В индикативе благодаря этому есть возможность различать перфект (с *го*) и повествовательное время» [Thurneysen 1946: 341].

В соответствии с «печальной», по выражению К. МакКоуна, тенденцией в англоязычной ирландистике, здесь слово «perfective» используется как прилагательное от *perfect*. Сам МакКоун считает, что наиболее удачным обозначением семантики формы на *го*- был неологизм Х. Педерсена ‘perfektisch’ [Pedersen 1913: 261–289], что сам он понимает как «свойственный перфекту» («(pertaining to) perfect»). Невозможность использования подобного неологизма в английском (наиболее близкое по значению ‘perfectic’ кажется ему «эстетически непривлекательным» и не вмещающим, кроме того, значения возможности и желательности) приводит МакКоуна к отказу от названия, связанного со значением формы. Вместо этого он предпочитает называть ее скорее по формальному признаку: *го*- он называет «аугментом», а любую временную форму с *го*- – «аугментированной» [McCone 1997: 121–126]. Одна только вышеприведенная борьба с терминологическими противоречиями показывает, насколько неоднозначно оценивается значение «аугментированного претерита». Этим противоречиям способствует и письменный материал, который представляет собой древнеирландские тексты в более поздних списках, изобилующие поэтому изменениями, сделанными переписчиками, язык которых был уже средне- или даже ранненовоирландский. Однако главное, что хотелось бы заметить, это то, что значение предшествования не фигурирует в попытках описания семантики этой формы. Более того, нужно принять во внимание, что форма, обозначающая предшествование, по структуре должна быть двуплановой, чтобы связывать два временных пласта, а «аугментированная» форма такой характеристикой не обладает. Более того, в той же самой «Грамматике» Турнайзена сразу после приведенного выше

объяснения следует: «С другой стороны, плюсквамперфект, отличный от перфекта, не выделяется» [Thurneysen 1946: 341]. Здесь же следует привести слова МакКоуна: «Древнеирландский аугментированный претерит соответствует английскому перфекту, когда выражает предшествование настоящему времени, и плюсквамперфекту, когда выражает предшествование другому (неаугментированному или аугментированному) претериту. Время определяется по отношению к ситуативному моменту [point of reference] (в настоящем или прошедшем времени), и аугмента, обозначающего предшествующее завершение, достаточно, чтобы локализовать действие во времени без дополнительного формального разграничения между перфектом и плюсквамперфектом» [McCone 1997: 99–100].

Это описание базируется на привязке к английской видо-временной системе, для которой таксис является в некотором смысле доминантой, из него следует, например, что одна и та же форма выступает и в функции перфекта и плюсквамперфекта. Но судя по всему, эта форма имеет комплетивное или перфективное значение, и поэтому совершенно естественно может использоваться для обозначения завершенности действия, предшествующего другому.

Ввиду вышеизложенных соображений можно не согласиться с утверждением, что «основопологающая дихотомия в древнеирландском между *го*-претеритом... и простым претеритом – это противопоставление «предшествование : не-предшествование» [О'Коррань 2007]. Действительно, *го*-претерит вытесняет претерит неаугментированный, но кажется, что здесь нет причины усматривать «предшествование» в качестве основного компонента значения этой формы.

Выделение срединной фазы (обозначения предшествования) в развитии перфектной формы в сторону претеритального значения вызывает сомнение и в отношении двух других форм, с той лишь разницей, что глагольно-номинативная и глагольно-адъективная конструкции имели изначально не перфективное значение, как *го*-претерит, а результативное.

Глагольно-номинативные конструкции (или, как их часто называют, *после*-перфекты) развились в большинстве кельтских языков и, по всей видимости, независимо. В кельтских языках есть несколько видовых конструкций, образованных по единой модели ['быть' + предлог + глагольное имя]. Так в ирландском языке в перфектной конструкции используется предлог *tar éis* (или *i ndiaidh*) 'после', в прогрессивной – *ag* 'у, при', в проспективной – *le* 'с'. Продуктивность этой модели обеспечивается высоким статусом глагольного имени в кельтских языках, не имеющих особых форм инфинитива и причастий (причастие II, ограниченное, по сути, предикативным употреблением, развилось уже позже, по-видимому, начиная с ранненовоирландского периода из отглагольного прилагательного только в ирландском и мэнском языках). Поэтому, как отмечала, например, В.Н. Ярцева, «принципиально... любой предлог, существующий в древнеирландском, может употребляться с инфинитивом (т.е. глагольным именем. – В.Б.) как с именем и выражать какое-либо отношение» [Ярцева 1940: 242].

Для ирландского языка следует выделить три вида *после*-перфектов. Старый активный *после*-перфект (с предлогом *iar* 'после') впервые встречается в текстах XII в. и в Ирландии перестает использоваться к XVIII столетию, однако в Шотландии эта форма имела более счастливую судьбу, грамматикализовавшись как основной маркер перфекта в современном языке. Второй вид *после*-перфектов – пассивный (перед глагольным именем ставится притяжательное местоимение, конгруэнтное подлежащему). Временные рамки бытования этой конструкции в Ирландии, насколько это можно установить, такие же как и у активного *после*-перфекта, но все же пассивная конструкция отличается от активной в некоторых аспектах. Во-первых, уже в тексте «Похищение быка из Куальнге» XII в., но списанного с оригинала VIII в., встречается использование сочетания ['после' + притяжательное местоимение + глагольное имя] в атрибутивной позиции,

которое станет обычным, например, в современном шотландском языке, восполняя отсутствие причастия II.

Древнеирландский пример:

(7) *Ní=aca-tár ní and acht slicht*
 ОТП=видеть:ПРЕТ-3МН что-либо:ВИН:ЕД там только след:ВИН:ЕД
ind=óen-charpait & in=gabul
 АРТ:РОД:ЕД:М=один-колесница:РОД:ЕД и АРТ:ВИН:ЕД:Ж=кол:ВИН:ЕД
cos-na=cethr-i cinn-u, & ainm
 с-АРТ:ВИН=четыре-ВИН голова-ВИН:МН и надпись:ВИН:ЕД
ogaim iar-na=scribend i-na=tóeb.
 огам:РОД:ЕД после-его=писать:ДАТ в-ее=бок:ВИН:ЕД
 'Они увидели только след от одной колесницы и заостренный кол с четырьмя головами и надпись огамом, написанная (букв. после ее написания) на его боку'
 [ТВС 1]

Такое употребление сочетания ['после' + притяжательное местоимение + глагольное имя] показывает довольно высокую степень ее грамматикализованности в качестве своеобразного «партиципиода», который мог бы быть свободно использован и в предикативной функции, следовательно, можно было бы предположить, что пассивный *после*-перфект (а точнее – результатив) мог существовать уже в VIII в. При этом несомненно, не стоит забывать, что это могло быть более поздней чертой языка переписчика, и в таком случае мы вновь возвращаемся к XII в.

С другой стороны, в современном шотландском языке кроме чисто результативного значения эта конструкция используется и в значении пассива настоящего времени, например:

(8) *Cha=robh eadardhealachadh ann de='n=t-seòrsa*
 ОТП=быть:ПРОШ различие:ИМ:ЕД там от, из=АРТ:ИМ:ЕД=род:ИМ:ЕД
a=tha air=a=chleachdadh an=diugh
 ОТН=быть:НАСТ на (<после)=его=использование:НОМ сегодня
eadar fear-éisdeachd agus breithniche
 между слушатель:ИМ:ЕД и критик:ИМ:ЕД
 'Не было такого различия, как то, что имеет место (букв. используется) сегодня, между читателем и критиком...' [MacAmhlaigh 1995: 19]

Возможно такое употребление вызвано отсутствием обычного показателя пассива настоящего времени: в презенсе есть только форма прогрессивного пассива, старый флективный пассив, который выступает в нужной функции в ирландском языке, в шотландском практически утерян.

Сравнивая активную и пассивную конструкции хочется отметить, что активная форма *после*-перфекта выступает в функциях, более типичных для акционального перфекта, в то время как пассивная – в более результативных.

Третий вид *после*-перфектов – более позднее образование. Конструкция остается та же, однако начинают использоваться новые предлоги со значением «после». Эта конструкция типична, в первую очередь, для ирландского языка, где она имеет значение перфекта недавнего прошлого (хотя см. [Ó Sé 2004: 225–238]). О'Коррань считает ее продолжением старой конструкции с предлогом *iar*, а значение недавнего прошлого – результатом сужения функциональной сферы этой конструкции, вытесняемой глагольно-адъективной конструкцией. Однако можно предположить, что значение перфекта недавнего прошлого является скорее базовым, исходным значением этой формы. Предлог «после» представляет одно действие как непосредственно следующее за другим вне

зависимости от возможной временной дистанции в реальности. Из такого представления возникает соответствующее значение недавнего прошлого. Такое значение присутствует и в схожей структуре в русском языке (здесь, в отличие от ирландского языка, после предлога обычно выступает косвенная номинализация):

(9) Она говорит: «*Пошли погуляем*». А я после работы, идти никуда не хочется.

Ср. также польск.

(10) *Jestem po obejrzeniu filmu*
‘Я только что просмотрел фильм’

Такие обороты встречаются и в некоторых других славянских языках.

Интересна в этой связи также французская форма прогрессива, которая широко использовалась в XV–XVII веках, но в современном языке стала диалектной: *être après* (букв. быть после) + инфинитив.

(11) *Je vous dirai que je suis maintenant après à demesler le chaos pour en faire sortir de la lumière* (Декарт, цит. по [Gougenheim 1971: 57])

(12) *Y était après chanter quand j'ai ouvert la porte* (Канада, Квебек [Léard 1995: 206])

Эта конструкция построена на базе оборота *être après quelque chose* ‘заниматься чем-либо’ (букв. быть после чего-либо). В этом выражении также проявляется значение следования вплотную за чем-либо, характерного для предлога «после».

Возвращаясь же к перфектной конструкции с «после», следует заметить, что для такого значения, по-видимому, важно, чтобы внутренняя форма была прозрачной. Не то мы имеем в старых *после*-перфектах с предлогом *iar*, который очень быстро редуцировался в *air* (фонетически [eɣ']) и слился, таким образом, формально с другим предлогом со значением «на». С другой стороны, такое понимание современного ирландского *после*-перфекта дает нам возможность взглянуть на возможный ход развития и старой активной конструкции: вполне вероятно, что и для нее значение перфекта недавнего прошлого было исходным.

И еще одна интересная деталь в отношении нового *после*-перфекта: эта конструкция существует только в активном «варианте», примеров пассивного употребления с притяжательным местоимением практически нет. Этому может быть причиной наличие глагольно-адъективной конструкции, по форме пассивной, но, с другой стороны, опять же, кажется, что для перфекта недавнего прошлого важнее именно активный «угол зрения» на ситуацию, нежели пассивный.

Итак, выходит, что вместо одной глагольно-номинативной конструкции следует рассматривать сразу три или, если считать старые перфекты вариантами одной конструкции, – по меньшей мере две.

По поводу эволюции значения старых конструкций в сторону обозначения предшествования и действия, опять же, возникают вопросы. Вот несколько из наиболее поздних по времени примеров активной конструкции:

(13) *a-tá an=saoghal uile iar=nad=sheachna*
ОТН-быть:НАСТ АРТ:ИМ:ЕД=мир:ИМ весь после=твой=сторониться:ГИ
7 *iar=dteitheamh ó-d=chaidreamh chaoimhilis*
и после=избегать:ГИ от-твой=общество:ИМ сладчайший
‘весь мир отстранился от тебя и убежал от твоего сладчайшего общества’
[Ó Maolchonaire 1941] (1616)

(14) *athair* ... *atá* *iar=gcríochnughadh* *a=sdíuideir*
отец:ИМ:ЕД ОТН-быть:НАСТ после=оканчиваться:ГИ его=учеба
san=Róimh
в:АРТ:ИМ:ЕД=Рим
‘отец, который завершил свою учебу в Риме’ [O’Rahilly 1932: 271] (1642)

(15) *go=bhfuil* *an=toil* *shaor*
что=быть:НАСТ АРТ:ИМ:ЕД:Ж=воля:ИМ:ЕД свободный
air-na=truailleadh 7 *air-na = milleadh*
после-ее=разрушать:ГИ и после-ее = уничтожать:ГИ
‘так как свободная воля разрушила и уничтожила их’ (нач.-сер. XVIII в.) [Ó Sé 2004: 191]

И примеры пассивной конструкции:

(16) *an=saoghal* *a=tá* *ar=n-a=dhéanamh* *ó=Dhia*
АРТ=мир:ИМ ОТН=быть:НАСТ после=его=делать:ГИ от=Бог:ИМ
‘мир, созданный Богом’ [Ó Maolchonaire 1941] (1616)

(17) *mar=a=bhfuil* *suim* *seanchusa* *Éireann*
как=ОТН=быть:НАСТ собрание:ИМ:ЕД история:РОД:ЕД Ирландия:
РОД:ЕД
go=cumair: *a=tá* *ar=n-a=thiomsughadh* *agus*
НАР=краткий ОТН-быть:НАСТ после=его=копить:ГИ и
ar=n-a=thionól ... *le=Seathrún Céitinn*
после=его=собирать:ГИ с=Шахрун Кетинь:ИМ
‘являющимся компендиумом истории Ирландии вкратце: который был накоплен и собран воедино... Шахруном Кетинем’ [Céitinn 1901–1914] (1634)

(18) *agus tug* *do=Laegrus* *Laegria* *a=tá*
и дать:ПРОШ к=Лаэгр:НОМ Лаэгр:ИМ ОТН-быть:НАСТ
ar=n-a=sloinneadh *uidh* *féin, agus is* *di*
после=его=называть:ГИ от:ЗЕД:М сам и КОП к:ЗЕД:Ж
ghairm-thear *aniú* *Anglia*
звать- НАСТ:ПАСС сегодня Англия
‘и дал он Лаэгру Лаэгрию, которая названа по его имени, и это та страна, которая называется теперь Англией’ [Céitinn 1901–1914] (1634)

Обратим внимание на то, что во всех приведенных примерах конструкции стоят в настоящем времени. Это сделано неслучайно. А. О’Коррань пытается показать, что расширение акциональной составляющей значения перфектных форм приходит в первую очередь через футуральные и ирреальные формы (и чаще – пассивные) и распространяется позже на другие члены парадигмы. Как представляется, против такого объяснения прагматическая сторона вопроса, так как (чисто интуитивно) перфектные формы (в спонтанной речи) должны встречаться в подавляющем большинстве случаев в презентных контекстах, именно настоящее время, по-видимому, должно являться дискурсивным локусом результата.

Однако применение той же структуры в будущем и прошедшем временных планах может приводить к потере собственно результативной (перфектной) семантики, выводя на первый план особенность семантической структуры этой формы – ее временную двуплановость, которая и используется в этих случаях для соотношения двух соответствующих временных планов. И более того, можно предположить, что чистая акцио-

© 2007 г.
Н. А. ГАНИНА

**«АЛКУИНОВА РУКОПИСЬ»:
К ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЙ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ТРАКТОВКЕ**

«Алкуинова рукопись» – уникальный памятник эпохи Карла Великого, систематизирующий сведения об основных письменных традициях средневековья. Наибольшую ценность представляет готский материал – алфавит с названиями букв, упражнения в письме и чтении. Статья посвящена характеристике рукописи, этимологическому анализу готских названий букв и определению ареальной принадлежности рукописи с ориентацией на персоналии эпохи.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОПИСИ

«Алкуиновой рукописью» традиционно называется кодекс № 795 Венской Реальной библиотеки, происходящий на Зальцбурга¹. В этом кодексе наряду с другими текстами содержится собрание посланий Алкуина, составленное по поручению его друга Арна, архиепископа Зальцбургского. Самое позднее из посланий было написано в январе 799 г. Несмотря на то, что позже в переплет были добавлены 20 листов, предполагается, что кодекс уже в 799 г. имел тот вид, в котором дошел до нас. Листы 5–20 составляют две тетради. Л. 5r–18v содержат орфографическую сводку, приписываемую Алкуину. Оставшиеся листы второй тетради также были использованы для записи сведений по орфографии разных языков. На л. 19r–v находится греческий алфавит с названиями букв, их числовыми значениями и указаниями по произношению, выполненными латинским минускулом. Но наибольший интерес исследователей вызвал л. 20r–v, где представлены сведения об англосаксонском руническом алфавите и готской письменности.

На л. 20r записан англосаксонский рунический ряд из 28 знаков. Рядом со знаками даны названия рун, записанные латинским минускулом, а также некоторые пояснения по произношению. В нижней части листа также находятся 5 латинских букв (*a, e, i, o, u*) с точками от 1 до 5 (род тайнописи, известной у англосаксов) и 2 готские буквы (*j* и *u*). На нижнем поле л. 20r находится тайнопись римскими цифрами, имеющая расшифровку «*ualeas uigeas graesul amate*» ‘прощай, будь здоров, первейший друг’, что считается прощальным приветствием Алкуина другу Арну, ставшему епископом Зальцбургским в 785 г.

Л. 20v содержит готский алфавит из 25 букв, записанный унциалом дважды (двумя различными пошибами) и в принципе ориентированный на порядок букв латиницы. Две буквы, не имеющие звукового значения (обозначения чисел 90 и 900), не включены в общий ряд, но появляются в другой части. л. 20v.

Над условным первым столбцом размещается строка, выполненная готским письмом, в латинской транслитерации дающая *fa þo xaus | xaus*, причем над первой, третьей и четвертой группой знаков проставлены знаки сокращения (титла). Под вторым *xaus* находится выполненное латинским минускулом сокращение *xpi*, также с титлом. Таким образом, готское *xaus* является сокращением готского *Xristus* ‘Христос’, в родительном падеже *Xristaus* = лат. *Christi*. Вслед за столбцами алфавита с упражнениями в письме на л. 20v вверху справа располагается отдельный блок текста, содержащий примеры из

¹ Описание рукописи дается по [Alkuin-Briefe 1969; Wagner 1994].

нальность перфектных форм в будущем времени еще выше, так как, во-первых, выделение разных временных пластов в «еще не состоявшемся» будущем должно представлять определенные сложности, а во-вторых, прагматика употребления форм будущего времени в большой степени связана с вероятностью, а потому двуплановость может использоваться здесь как средство повышения этой вероятности, подтверждения желания, намерения, обязательства, возможности и т.д. что-то сделать. Таким образом, более высокая акциональность перфектных форм будущего времени и ирреалиса может объясняться не эволюцией семантики этих форм, а синхронными различиями в значениях членов перфектной парадигмы (собственно перфект, плюсквамперфект, предбудущее).

Возвращаясь теперь к нашим примерам, легко заметить, что в настоящем времени обе конструкции до конца сохраняют результативное значение. В подтверждение этому можно привести часто цитируемый отрывок из грамматики Бонавентуры О'хОгаса начала XVII в., в которой глагольно-адъективная конструкция называется «просторечным» эквивалентом пассивной *после*-конструкции. Из этого следует, что последняя во времена О'хОгаса все еще имела результативное значение, так как глагольно-адъективная конструкция (без агентивного дополнения, а именно в таком виде она дается у О'хОгаса) даже в современном языке имеет исключительно результативное значение, о чем и пойдет речь ниже.

Глагольно-адъективная конструкция в современном языке имеет два вида: 1) без агентивного дополнения (19) и 2) с агентивным дополнением (20):

- | | | | | |
|--|--------------|----------------|-----------|----------------|
| (19) <i>tá</i> | <i>litir</i> | <i>scríofa</i> | | |
| быть:НАСТ | письмо | писать:ПРИЧ | | |
| 'письмо написано' | | | | |
| (20) <i>tá</i> | <i>litir</i> | <i>scríofa</i> | <i>ag</i> | <i>Siobhán</i> |
| быть:НАСТ | письмо | писать:ПРИЧ | у | Шивон |
| 'у Шивон написано письмо', 'Шивон написала письмо' | | | | |

Эти две конструкции несколько отличаются в значении: первая имеет чисто результативное значение, в то время как вторая – ближе к (агентивному) перфекту.

Глагольно-адъективная конструкция без агентивного дополнения встречается еще в древнеирландском языке, так как представляет собой просто предикацию отглагольного прилагательного (> причастие):

- | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|--|
| (21) <i>amal</i> | <i>no-mbe-mmis</i> | <i>érchoil-t-i</i> | |
| словно | ЧАСТ-быть-КОНЪ:ПРОШ | предопределять-ПРИЧ-МН | |
| 'словно нам было предопределено' (Wb. 9a3) [Dillon 1941: 49] | | | |
| (22) <i>ó</i> | <i>ro-ba-tar</i> | <i>ind=liss</i> | |
| от | ПРФВ-быть:ПРЕТ-3МН | АРТ:ИМ:МН=огороженный двор:НОМ:МН | |
| <i>dún-t-ai</i> | | | |
| закрывать-ПРИЧ-МН | | | |
| 'так как двор был закрыт' (Imram Brain 1) [Dillon 1941: 49] | | | |

Происхождение конструкции с агентивным дополнением обсуждалось довольно детально в нескольких работах [Dillon 1941; Greene 1979; 1979–1980; Ó Sé 1992; 2004], и, ввиду большого количества мнений, мы опустим обсуждение исторического развития этой формы.

По поводу значения этой формы в современном ирландском языке имеет смысл привести данные из статьи Ó Sé 1992]. О'Ше сравнивает ирландскую форму с английским перфектом, для которого Б. Комри выделяет четыре основных значения:

- 1) результативное: John has arrived; Bill has gone to America;
- 2) экспервиенциальное: Bill has been to America;
- 3) континуативное: We've lived here for ten years;
- 4) недавнего прошлого: Bill has just arrived [Comrie 1976: 56–61].

В ирландском языке значение недавнего прошлого передается специальной конструкцией – так называемым *после-перфектом*. Континуативное значение – формой настоящего времени, а эксперенциальное – простым прошедшим временем. И лишь в значении результативного перфекта используется конструкция типа (20) [Ó Sé 1992: 55–57].

Стоит, однако, отметить, что все чаще можно наблюдать использование ирландской перфектной конструкции и в других значениях, особенно в тех областях функционирования ирландского языка, в которых он используется сравнительно недавно: средства массовой информации, научная литература, официальная документация. Ср. пример из газетной статьи:

- (23) *Tá gearáin déan-ta ag foilsitheoir-í*
 быть:НАСТ жалоба:ИМ:МН делать-ПРИЧ у издатель-ИМ:МН
leabhair Ghaeilge le tamall anuas
 книга:ИМ:МН ирландский язык:РОД с период времени:ИМ:ЕД вверх сюда
 ‘Издатели и авторы книг на ирландском языке уже некоторое время высказывают жалобы...’

Единственный формальный сдвиг в сторону более широкого перфекта – это появление причастий от непереходных глаголов (при этом субъект выражен подлежащим, а не агентивным дополнением, как в типичных случаях с переходными глаголами), однако количество непереходных глаголов, от которых возможно образование причастий, еще слишком незначительно, чтобы говорить о продуктивности этой модели.

Альве О’Коррань демонстрирует линию развития различных перфектных образований от обозначения состояния к обозначению предшествования и затем – простого действия. Эволюция от обозначения состояния (результатив) к выражению действия (претерит) является хорошо известной тенденцией в глагольной системе. В статье О’Корраня впервые делается попытка проследить все циклы такой эволюции в кельтских языках. Однако кажется отнюдь не необходимым выделять в этой эволюции стадию, на которой перфектные формы имели бы семантической доминантой (а может быть и в качестве единственной функции) выражение предшествования. Для всех (кроме *го-перфекта*) рассмотренных форм предшествование в большей или меньшей степени является частью их значения постольку, поскольку они являются семантически двуплановыми, где один временной пласт предшествует другому. Но ни одна из этих форм не использовалась, насколько это можно проследить по письменным данным, исключительно для выражения таксисных значений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Трубинский 1983 – В.И. Трубинский. Результатив, пассив и перфект в некоторых русских говорах // Недялков (ред.). Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
- Маслов 1983 – Ю.С. Маслов. Результатив, перфект и глагольный вид // Недялков (ред.). Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
- Маслов 1984а – Ю.С. Маслов. К вопросу о происхождении посессивного перфекта // Очерки по аспектологии. Л., 1984 (1949).
- Маслов 1984б – Ю.С. Маслов. К утрате простых форм претерита в германских, романских и славянских языках // Очерки по аспектологии. Л., 1984.
- Недялков 1983 – В.П. Недялков (ред.). Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
- Недялков и др. 1974 – В.П. Недялков, Г.А. Отаина, А.А. Холодович. Диатезы и залогов в нивхском языке // А.А. Холодович (ред.). Типология пассивных конструкций: Диатезы и залогов. Л., 1974.
- О’Коррань 2007 – А. О’Коррань. Перфектные конструкции в островных кельтских языках // ВЯ. 2007. № 5.
- Плунгян 2000 – В.А. Плунгян. Общая морфология: Введение в проблематику. М., 2000.

готского перевода Св. Писания с пояснениями латинским минускулом и латинские указания по готским правилам чтения.

Первые 4 строки на готском языке, выполненные унциалом, связаны с контекстом Евангелия от Луки [Лк. 9, 28]. Каждую из них предваряет латинская транскрипция (минускул). Последующие шесть строк представляют собой латинские указания на произношение отдельных звуков готского языка с готскими примерами (унциал). Последние две строки содержат 11 числовых указаний – дат жизни библейских праотцев, начиная от Адама, что связано с готским переводом Быт. 5 (текст не сохранился). Латинские соответствия в данном случае строго ориентированы на готские данные и иногда отклоняются от Вульгаты. Здесь же записаны две буквы готского алфавита, служащие обозначениями чисел 90 и 900. Далее следует пробел, размер которого почти в полтора раза превышает размер указанного текста [Wagner 1994: 264].

Материал рукописи свидетельствует о продолжительном бытовании и ученой рецепции готского перевода Св. Писания. Очевидно, готский перевод Св. Писания включал в себя и книгу Бытия. Кроме того, можно видеть, что текст перевода Евангелия имел различные редакции [Wagner 1994: 277].

Примечательны и фонетические факты. Так, в одном из латинских замечаний сказано, что диграф (по Алкуиновой рукописи, «дифтонг») *ai* обозначает [ē]. Это свидетельствует о стяжении готского дифтонга *ai* и согласуется с выводами Ф. Вреде о проведении этого процесса в остготском. Кроме того, форма *Lokan* = классич. *Lukan* указывает на повышение [ō] в позднем готском (ср. ниже *utal* < **ōfal*).

Однако наибольшую ценность представляют содержащиеся в рукописи названия букв готского алфавита.

2. ЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ НАЗВАНИЙ БУКВ

1. **aza**. Название буквы *a*². Имя руны – обще-герм. **ans(u/i)z* ‘ас’. По С. Бугге, продолжение обще-герм. **ans(u/i)z* ‘ас’ [Bugge 1905–1913: 69]. Др.-исл. *áss* ‘ас’, ‘имя руны’, *ásir* ‘асы’ *ás-* как компонент сложных слов и имен собственных, др.-англ. *ōs* (название руны, компонент имен собственных), др.-сакс. *ōs* (*ōsum* в крещальном обете). Сопоставляется с др.-инд. *ásuras* ‘господин’, авест. *ahurō* ‘господин’, *Ahurō Mazdā* ‘Господь Мудрый’, ‘Ахурамазда’. Дальнейшие параллели – др.-инд. *asuḥ* ‘жизненная сила’, др.-инд. *aniti* ‘дышать’ (ср. гот. *iz-anan* ‘испускать дух’) или хет. *haššu* ‘царь’ при *haš-* ‘рождать’, *haššatar-* ‘род’, *hašša hanzašša* ‘дети и внуки’; соответственно, и.-е. **an-* ‘дышать’ или (по Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванову) и.-е. **Hons/Hnš* ‘рождать’ [Lehmann 1986: 39; Гамкрелидзе, Иванов 1984: 750].

Напротив, Т. фон Гринбергер возводил фору к обще-герм. **ahsa* ‘ось’ – ср. др.-англ. *eax*, др.-в-нем. *ahsa* при др.-инд. *ákṣas*, греч. ἄξων, лит. *ašis*, ст.-слав. *ось* [Grienberger 1896: 200]. Однако, по мнению В. Лемана, возведение *aza* к обще-герм. **ahsa* менее перспективно, поскольку руна, обозначавшая звук *a*, именовалась производным от обще-герм. **ans(u/i)z* ‘ас’ [Lehmann 1986: 53].

Если *aza* является продолжением общегерманского названия руны – **ans(u/i)z*, то налицо искажение исконной готской формы, поскольку *anses* у Иордана ясно указывает на сохранение носового перед спирантом. В таком случае нельзя исключить ингвеонское влияние. Однако предпочтительнее интерпретация Н. Вагнера: рассматриваемая форма происходит из гот. **ans-* по аналогии с народной латынью или под ее влиянием: ср. лат. *trans* ‘через’ – нар.-лат. *trās*. При этом исходное готское **ansas* было осмыслено составителем как **azaz* и оформлено по образцу других названий букв: *bercna*, *geiua* и др. [Wagner 1994: 270] (о передаче готского этимологического *s* посредством *z* см. ниже, 4.3). В целом следует учитывать наблюдение Н. Вагнера о том, что написание *s* встреча-

² Здесь и далее готские буквы даются в латинской транслитерации и в порядке, соответствующем рукописи; готский алфавит (см. [Гухман 1958: 33]).

- Ярцева 1940 – В.Н. Ярцева. Синтаксис инфинитива в древнеирландском языке // Учен. зап. ЛГУ. № 58. Л., 1940.
- Bybee 1985 – J.L. Bybee. Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam, 1985.
- Bybee, Dahl 1989 – J.L. Bybee, Ö. Dahl. The creation of tense and aspect systems in the languages of the world // Studies in language. 13.1. Amsterdam, 1989.
- Céitinn – D. Comyn, P.S. Dinneen (eds.). Foras Feasa ar Éirinn le Seathrún Céitinn, D.D. The History of Ireland by Geoffrey Keating, D.D. / Cumann na Sgríbhneann nGaedhilge (Irish Texts Society). V. 4 – 1901, V. 8 – 1905, V. 9 – 1906, V. 15 – 1914. www.ucc.ie/celt/published/G100054/index.html
- Comrie 1976 – B. Comrie. Aspect: an introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge, 1976.
- Coseriu 1976 – E. Coseriu. Das romanische Verbalsystem. Tübingen, 1976.
- Cox 1996 – R.A.V. Cox. Tense and aspect in the Scottish Gaelic verbal system: a working paper on definitions and presentation // Scottish Gaelic Studies. XVII, 1996.
- Dahl 1985 – Ö. Dahl. Tense and aspect systems. Oxford, 1985.
- Dillon 1941 – M. Dillon. Modern Irish *atá sé déanta* agam «I have done it» // Language. V. 17. 1941.
- Gougenheim 1971 – G. Gougenheim. Étude sur les périphrases verbales de la langue française. Paris, 1971.
- Greene 1979 – D. Greene. Perfects and perfectives in modern Irish // Ériu. 30.1979.
- Greene 1979–1980 – D. Greene. Perfect and passive in Eastern and Western Gaelic // Studia Celtica. 14–15. 1979–1980.
- Holt 1943 – J. Holt. Études d'aspect // Acta Jutlandica. IX,2. København, 1943.
- Léard 1995 – J.-M. Léard. Grammaire québécois d'aujourd'hui. Comprendre les québécoismes. Montréal, 1995.
- MacAmhlaigh 1995 – D. MacAmhlaigh. Roimh-ràdh // Nua-bhàrdachd Ghàidhlig. Dùn Eideann, 1995.
- MacAulay 1996 – D. MacAulay. Some thoughts on time, tense and mode, and on aspect in Scottish Gaelic // Scottish Gaelic studies. XVII. 1996.
- McCone 1997 – K. McCone. The early Irish verb. Maigh Nuad, 1997 (1987).
- Ó Maolalaigh 2003 – R. Ó Maolalaigh. Festschrift for Professor D.S. Thompson (MacAulay, Gleasure, Ó Baoill) // Celtica. 24. 2003.
- Ó Maolchonaire 1941 – T.F. O'Rahilly (ed.). Desiderius, otherwise called Sgáthán an Chrábhaidh, by Flaithrí Ó Maolchonaire / Medieval and modern Irish series. Dublin, 1941. www.ucc.ie/celt/published/G208020/index.html
- Ó Sé 1992 – D. Ó Sé. The perfect in modern Irish // Ériu. 43. 1992.
- Ó Sé 2004 – D. Ó Sé. The 'after' perfect and related constructions in Gaelic dialects // Ériu. 54. 2004.
- O'Rahilly 1932 – T.F. O'Rahilly. Irish dialects past and present. Dublin, 1932.
- Pedersen 1913 – H. Pedersen. Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. Göttingen, 1913.
- Schmidt 1990 – K.H. Schmidt. On the prehistory of aspect and tense in Old Irish // Celtica. 21. 1990.
- TBC 1 – C. O'Rahilly (ed.). Táin Bó Cualnge Recention 1. Dublin, 1976. www.ucc.ie/celt/published/G301012/index.html
- Thurneysen 1946 – R. Thurneysen. A grammar of Old Irish. Dublin, 1946.

ется только в форме *sugil*, где оно обусловлено корреляцией с самой графемой [Wagner 1994: 274, 283].

Если *aza* – обозначение прежде всего буквы готского алфавита (каковы бы ни были соотношения его с руническим рядом), есть основания постулировать параллель с названием первой буквы кириллицы – азъ ‘я’. Хронология показывает, что влияние могло быть направлено лишь таким образом: готский алфавит > кириллица (ср. данные о пребывании св. Константина в Крыму). Не является ли обозначение азъ примером заимствования – переосмысления германской лексемы?

2. *bercna*. Название буквы *b*. Соответствует имени руны: обще-герм. **berkanan-* ‘березовая’. К. Марстрандер реконструировал обще-герм. **berkanō* ‘березовая’ (возможно, богиня) > гот. **bairkana* > **berkna* [Marstrand 1928: 157–158]. Др.-исл. *björk* ‘береза’, *bjarkan* ‘имя руны’, др.-англ. *be(o)rc* ‘береза’, ‘имя руны’, др.-в.-нем. *birihha* ‘береза’; др.-инд. *bhūrjās*, лит. *bėržas*, осет. *bærz*, русск. береза < и.-е. **bher(-g-)* ‘береза’ < **bher-* ‘светлый’.

Н. Вагнер трактует синкопу **berkana* > *bercna* как романское явление («в устах романца») [Wagner 1994: 276]; возможно, подобный процесс мог иметь место и в позднем готском.

3. *geiua*. Название буквы *g*. Соответствует имени руны: обще-герм. **g^é/ǥō-* ‘дар’. Гот. *giba* (ж. р. -o) ‘дар’. Др.-исл. *gjǫf*, др.-англ. *giefu* ‘дар’, ‘имя руны’, др.-фриз. *geve*, др.-сакс. *geba*, др.-в.-нем. *geba* ‘дар’ при гот. *giban*, рун. *gibu*, др.-исл. *gefa*, др.-англ. *giefan*, др.-фриз. *geva*, др.-сакс. *geban*, др.-в.-нем. *geban* ‘давать’. Др.-инд. *gābhastis* ‘брат, хватать’, лат. *habēō* ‘иметь, держать’, др.-ирл. *gaibid* ‘берет, хватает’, лит. *gābana* ‘пучок сена’, *gabėni*, *gabėnti* ‘забирать’ < **ghabh-* ‘брат, хватать’ [Lehmann 1986: 155].

Специфическое оформление слова, очевидно, отвечает особенностям произношения информанта или песца. Готский спирант [ǥ] передается латинским *ui*. Расширение *ī* > *ě* здесь и в других случаях (ср. *enguz*) интерпретируется Н. Вагнером как романское явление, не имеющее отношения к диалектным различиям внутри готского [Wagner 1994: 271].

4. *daaz*. Название буквы *d*. Соответствует имени руны: обще-герм. **dagaz* ‘день’. Гот. *dags* (м.р. -a) ‘день’. Гот. *dags* ‘день’, др.-исл. *dagr* ‘день’, ‘имя руны’, др.-англ. *dæg* ‘день’, ‘имя руны’, др.-фриз. *dei*, *dai*, др.-сакс. *dag*, др.-в.-нем. *tag* ‘день’. Др.-инд. *ni-dāghās* ‘жара, лето’, лит. *dāgas*, *dagà* ‘жара, время жатвы’, др.-прусс. *dagis* ‘лето’ < и.-е. **dheg^h-* ‘гореть, жечь’ [Lehmann 1986: 86].

Очевидно, в этом и подобных случаях (ср. *haal*, *laaz*) отражено спирантное произношение готского *g*, имеющего глухой коррелят [x].

5. *euiz*. Название буквы *e*. Соответствует имени руны: обще-герм. **ehwaz* ‘лошадь, конь’. Т. фон Гринбергер возводил форму к гот. **eis* < **ehwiz* (гот. *aihvis*) или **aiwis* < *egwiz* [Grienberger 1896: 204–205]. С. Бугге предполагал гот. **aihvs* [Bugge 1905–1913: 61–62; 147].

Гот. *aihva-tundi** (ж.р. -i/-o-) к греч. βῆτος ‘терновник’, ‘терние’ (Лк. 6, 44, 10; Мк. 12, 26), др.-исл. *jǫr*, др.-англ. *eoh* ‘лошадь’, ‘имя руны’, др.-сакс. *ehu-* (в *ehu-scalc*) ‘лошадь’; др.-инд. *áçvas*, авест. *aspō*, греч. ἵπλος, диал. ἰκκος, лат. *equus* ‘лошадь’, галльск. *epo-* (в именах собственных: ср. *Epo-redo-rix* букв. ‘владыка колесницы’, теоним *Erona* ‘конская’), др.-ирл. *ech-* ‘лошадь’, валл. *ybol* ‘жеребенок’ < и.-е. **ekw-* ‘лошадь’ (с дальнейшими возможностями соотношения основы) [Lehmann 1986: 15].

6. *fe*. Название буквы *f*. Соответствует имени руны: обще-герм. **f^é/f^u* ‘имущество’. Гот. *faihu* (ср. р. -u) соотносится в греческом оригинале с ἀρούριον, κτήματα, χρήματα ‘деньги’, ‘(движимое) имущество’ [Лк. 18, 24], *faihu-friks* (прил. -a) ‘жадный, алчный’, *faihu-frikei* (ж. р. -n) ‘жадность, алчность’ [Еф. 5, 3], *faihu-gairns* ‘жадный до денег, стяжа-

тель' [2 Тим. 3, 2], *faihu-gairnei* 'стяжательство' [Тит. 1, 11], др.-исл. *fé*, др.-англ. *feoh* 'скот', 'имущество', 'имя руны' (также *fe*, *fech*), др.-фриз. *fiā*, др.-сакс. *fehu*, др.-в.-нем. *fi-hu* 'скот', 'имущество'. Др.-инд. *páśu*, *paśú* (ср. р.), *paśuṣ* (м. р.), авест. *pasu-* 'скот', оскск. *fus*, *fys* 'овца', лат. *pecu*, *pecus* 'скот', *pecūnia* 'имущество', 'деньги', умбр. *pequo*, лит. *pėkus*, *pėkas*, др.-прусс. *pecki* 'скот' < и.-е. **péku-* 'скот' [Pokorny 1959: 797; Lehmann 1986: 102–103].

Гот. *faihu* трансформируется в *fe* при условии отпадения конечного *-i* и вокализации (или выпадения) *h*. Последний процесс оценивается Н. Вагнером как «типично романский»; предполагая поздний восточногерманский переход *u* > *a*, исследователь реконструирует форму **fea*, которая, по его мнению, показалась составителю слишком экзотичной и была записана как *fe* [Wagner 1994: 270]. Примечательно, что англосаксонское имя руны выглядит в Алкуиновой рукописи как *fech*; следовательно, составитель не ориентировался в данном случае на англосаксонскую форму.

7. **gaag**. Название буквы *j*. Соответствует имени руны: обще-герм. **jēran* 'год'. Гот. *jer* (ср. р. *-a*) к греч. ἔτος 'год' [Лк. 4, 19], др.-исл. *ár*, др.-англ. *gēar* 'год', 'имя руны', др.-фриз. *jēr*, др.-сакс. *gēr* (Mon), *jār* (Cott), др.-в.-нем. *jâr* 'год'. Авест. *yārə* 'год', греч. ὄρος 'год', ὄρα 'время; время года', ст.-слав. ѡрь 'весна', русск. *ярь*, *яровые* 'весенние посевы'; др.-инд. *pari-yārīṇī* 'корова, приносящая теленка через год', лит. *jėras*, лтш. *jers* 'ягненок'³ < и.-е. **yēlōro* 'время; время года' [Lehmann 1986: 210–211].

Особенности рассматриваемой формы: 1) *g* никак не соотносится к готским материалам и, очевидно, возникло по аналогии с древнеанглийской или древнесаксонской (Mon) формой в результате гиперкорректного написания; 2) *aa* = [ā] коррелирует только с др.-сакс. *jār* (Cott), др.-в.-нем. *jâr*. Ни для одного из готских диалектов неизвестно развитие *ē* > *ā*. Для обозначения гласного в закрытом слоге посредством диграфа М.-Л. Ротсаерт обнаружила орфографическую аналогию с группой древневерхненемецкого Исидора [Rotsaert 1983a: 369–378; Rotsaert 1983b: 138–140] (ср. *iiz*).

8. **haal**. Название буквы *h*. Соответствует имени руны: обще-герм. **haglaz* 'град'. Др.-исл. *hagall*, др.-англ. *hæg(i)l* 'имя руны' при др.-исл. *hagl*, др.-англ. *hagol*, *hægel*, др.-сакс., др.-в.-нем. *hagal* 'град'. Ср. греч. κάκληξ 'галька' [Skeat 1995: 192]; в таком случае < и.-е. **kaklós* (?). Сомнения: [Pokorny 1959: 518; Lehmann 1986: 166]. П. Шантрэн предполагает ономотопозитическое происхождение [Chantraine 1968–1980: 507, 1243].

Т. фон Гринбергер реконструировал гот. **hagl* [Grienberger 1896: 203]. Интервокальное *g* в готской форме имело спирантный характер.

9. **iiz**. Название буквы *i*. Соответствует имени руны: обще-герм. **isaz* 'лед'. Др.-исл. *íss*, др.-англ. *ís* 'лед', 'имя руны'⁴, др.-в.-нем. *is* 'лед', *iis* 'имя руны'. Авест. *isu-* 'холодный', *aēxa* 'мороз, лед', памирск. *iš*, осет. *uex*, *ix* 'лед', ст.-слав., русск. *иней* < и.-е. **ey-s* 'лед, холод' [Pokorny 1959: 301; Lehmann 1986: 204].

I – одна из «вредоносных» рун [Arntz 1944: 205–206, Lehmann 1986: 204].

Диграф *ii* в рассматриваемой форме интерпретируется исследователями как указание на [i]. М.-Л. Ротсаерт проводит аналогию с орфографией древневерхненемецкого Исидора [Rotsaert 1983a: 369–378, Rotsaert 1983b: 138–140]. По поводу *z* Н. Вагнер указывает, что готский **s* передается в рукописи преимущественно посредством графемы *z* (кроме формы *sugil*) [Wagner 1994: 274].

³ Ср. русск. *ярка* 'молодая овца до случки'.

⁴ В англосаксонском руническом ряду листа 20г Алкуиновой рукописи – отчетливое начертание *ir* при соответствующей руне.

10. **chozma**. Название буквы *k*. Имя руны – обще-герм. (или прасканд.) **kaunan* ‘язва, нарыв’. Имя руны имеет различную семантику в древнеисландском и древнеанглийском при единстве источника: др.-исл. *kaun* ‘язва, нарыв’, др.-англ. – *cēn* ‘факел’ < **cēan* < обще-герм. **kaunan*.

С. Бугге полагал, что готское соответствие др.-исл. *kaun* могло выглядеть как **kauns* > **chonz* > **choz*. Объясняя конечное *-ma*, Бугге приписывал появление этого элемента влиянию записанного ниже обозначения *manna* [Bugge 1905–1913: 74]. Тем не менее, *chozma* и *manna* разделены формой *laaz*.

В. Леман, обращая внимание на положение *chozma* в алфавите, приравнивает форму к *kozma* [Lehmann 1986: 85]. С учетом готского повышения *o* > *u* название должно реконструироваться в виде **kuzma* (или **kuzma*; ср. [Grienberger 1896: 206]), тогда как *chozma* имеет южногерманский фонетический облик – проведено второе передвижение согласных, наблюдается *a*-умлаут.

Т. фон Гринбергер сопоставил рассматриваемую форму с нидерл. *kossem* ‘подгрудок (рогатого скота)’ и норв. *kusma* ‘свинка (болезнь)’, с чем согласился К. Марстрандер [Grienberger 1896: 206; Marstrander 1928: 151–152]. Примечательно фин. *kusma*, *kuisma* ‘кровавый нарыв’, интерпретируемое как заимствование из германского [Lehmann 1986: 85]. Т. фон Гринбергер при этимологизации *chozma* указал на латышск. *guzma* ‘выпуклость, опухоль’, *guzims* ‘выпуклость груди’ [Grienberger 1900: 302]. В. Леман возводит указанное этимологическое гнездо к и.-е. **gew-* ‘сгиб’, ‘изгиб’, ‘дуга’ [Lehmann 1986: 85; Pokorny 1959: 393–398].

Таким образом, название *chozma* имеет убедительную балтийскую параллель в виде латышск. *guzma* ‘выпуклость, опухоль’. На основании этого готская форма должна восстанавливаться как **kuzma* ‘опухоль’. Расхождение скандинавского и англосаксонского значения **руны** < свидетельствует о возможности ареального переосмысления имени руны, и тем самым гот. **kuzma* находится в русле общей тенденции. Важно отметить, что при формальных различиях в имени руны сохраняется единый концепт: ‘язва, нарыв’, ‘нарыв, опухоль’, ‘то, что жжет’. При учете вредоносной символики руны (‘болезнь’ и/или ‘лишение мужской силы’; ср. русск. *кила* ‘грыжа’, лишаящая мужской силы и, по поверьям, вызываемая колдовством) можно предполагать, что варьирование названия было обусловлено табу (нежеланием называть опасную болезнь).

Необходимо также подчеркнуть, что при любой из предложенных этимологий гот. *chozma* / **kuzma* (*kusma*) согласно своему значению является прежде всего именем руны, и лишь затем – названием буквы вольфилианского алфавита. Тем самым известный вопрос: «Les Gots, ont-ils vraiment connu l'écriture runique?» [Marchand 1958] и здесь решается положительно.

Понижение готского *ū* > *ō* интерпретируется Н. Вагнером как романское явление, не имеющее отношения к диалектным различиям внутри готского [Wagner 1994: 271] (ср. аналогичную интерпретацию распределения *ě/ī* – *geiua*, *enguz*).

11. **laaz**. Название буквы *l*. Соответствует имени руны в англосаксонском руническом ряду: др.-англ. *lagu* ‘озеро’, поэт. ‘море’⁵.

Имя руны в древнеисландском – *laukr* ‘лук-порей’ (< обще-герм. **laukaz*). Трансформация гипотетического готского **lauks* > *laaz* невероятна прежде всего потому, что в готском языке VI в. дифтонг *ai* переходит в *o*.

Др.-англ. *lagu* соответствует др.-исл. *lǫgr* ‘море’, др.-сакс. *lagu-strom* ‘моря стремь’. Континуанты обще-герм. **laguz* выступают в древнегерманских языках как поэтические синонимы основных обозначений моря. Лат. *lacus* ‘озеро’, ср.-ирл. *loch* ‘озеро’, ст.-слав. *локы* ‘озеро’, ‘водоем’ < и.-е. **laku-* ‘озеро’, ‘водоем’ [Pokorny 1959: 653; Lehmann 1986: 225].

⁵ «Abscedarium Nordmannicum» (IX в., англосаксонско-нижненемецкие / древнесаксонские корреляции) также указывает имя соответствующей руны в виде *lagu*.

В готском переводе Св. Писания продолжение обще-герм. *laguz не представлено, что может быть обусловлено стремлением переводчика к единообразию готско-греческих корреляций (основные готские обозначения – *marei* (ж. р. -n) ‘море’, *saiws* (м. р.), *marisaiws* ‘озеро, море’).

Форма *laaz* отражает гот. *lagus (м. р. -u) или *lags (м. р. -a) [Marstrander 1928: 150–151; Arntz 1944: 221–226; Lehmann 1986: 224].

12. **manpa**. Название буквы *m*. Соответствует имени руны: обще-герм. *maneniz ‘человек, мужчина, муж’⁶.

Гот. *manpa* (м. р. корневого склонения или, по В. Леману, неправ. основа м. р. -n) к греч. ἄνθρωπος ‘человек’, ἄνῆρ ‘мужчина, муж’ [Мф. 7, 26 и др.], ср. также *mana-seþs* (ж. р.) к греч. κόσμος ‘мир’ [Ин. 7, 7] и другие производные [Lehmann 1986: 244]. Др.-исл. *maðr*, *mannr*, др.-англ. *mon* ‘человек, мужчина, муж’, др.-исл. *maðr*, др.-англ. *mon* ‘имя руны’, др.-фриз., др.-сакс. *manp*, др.-в.-нем. *man(n)* ‘человек, мужчина, муж’. Др.-инд. *mānuṣ*, *manuṣ* ‘человек’, лит. *žmogùs* ‘человек’, ст.-слав. мжжь, русск. муж < и.-е. *manu-s, moni-s ‘мужчина, муж’, ‘человек’ [Рокоту 1959: 700, Lehmann 1986: 244].

13. **noicz**. Название буквы *n*. Соответствует имени руны: обще-герм. *naudiz ‘нужда’. Гот. *nauþs* (ж. р. -i) к греч. ἀνάγκη ‘рок’, ‘необходимость’, ‘принуждение, нужда’ [2 Кор. 9, 7], ср. также *naudi-bandi* (ж. р. *ilo*) к греч. ἄλυσίς ‘оковы’ [Мк. 5, 2–5] и другие производные [Lehmann 1986: 264]. Др.-исл. *naud(r)*, др.-англ. *nēad*, *nīed* (*nēd*) ‘нужда’, ‘имя руны’, др.-фриз. *nēd*, др.-сакс. *nōd*, др.-в.-нем. *nōt* ‘нужда’. Др.-ирл. *nauna* ‘голод’, корн. *pown* ‘голодный’, лит. *põvė* ‘принуждение, нужда’, латышск. *nawe* ‘смерть’, др.-русск. *навь* ‘мертвый/мертвые’ (ср. здесь гот. *naus* ‘мертвец, труп’, рун. *na-* в композите *na-sei* ‘трупов море = кровь’, др.-исл. *nár*, др.-англ. *nē(o)* ‘мертвец, труп’), ст.-слав. нжда русск. *нужда*, тох. А *nut-*, тох. В *naut-* ‘исчезать’; с нулевой ступенью аблаута – тох. А *pwat* ‘больной’, ст.-слав. *у-ныти*, русск. *унывать*. И.-е. *nāw-, *naw-ti* ‘смерть’, ‘нужда’ [Lehmann 1986: 264–265].

Форма *noicz* могла развиваться только при условии монофтонгизации *ai* в гот. *nauþs* > **noiuþs* > *nōþs*. Обозначение *o* посредством *oi* соотносит орфографию формы с галло-романским ареалом [Wagner 1994: 272–274]. Диаграф *cz* служит для передачи звукосочетаний *þ(-s)* или *ð(-z)*. Н. Вагнер говорил в связи с этим об исходном межзубном спиранте, который был воспринят составителем как аффриката [ts] [Wagner 1994: 274–275]. Об ареальном соотношении орфографического варианта *-cz* см. [Rotsaert 1983b] и ниже.

14. **ugaz**. Название буквы *u*. Соответствует имени руны: обще-герм. *ūruz ‘зубр’. Др.-исл. *úrr* ‘зубр’, др.-англ. *ūr* ‘зубр’, ‘имя руны’, ср.-нижне-нем. *ūr*, др.-в.-нем. *ūro*, ср.-в.-нем. *ūr(e)* ‘зубр’. Др.-исл. *úr* как имя руны имеет значение ‘мелкий дождь, изморось’. По мнению Х. Арнтца, изменение значения связано с вымиранием зубров в Скандинавии [Arntz 1944: 188–189]. Название этого знака футарка связано с концептом мужской силы.

Наиболее перспективно сопоставление обще-герм. *ūruz с др.-инд. *var*, *vari* ‘вода’, *vṛṣan-* ‘мужчина; жеребец’, авест. *var* ‘дождь’ < и.-е. *au/w- ‘быть влажным’, ‘увлажнять’ (ср. гот. *aurahjons* ‘могилы’, др.-исл. *aurr* ‘глина, сырая земля’ и др.). Линия развития семантики, представленная в др.-исл. *úr* ‘мелкий дождь, изморось’ – *úrr* ‘зубр’, аналогична корреляции др.-инд. *ukṣāti* ‘увлажняет’ – *ukṣā* ‘бык’ (ср. гот. *auhsa*) [Grienberger 1896: 209; Lehmann 1986: 379–380]. Связь зубра с влагой отмечается также в балтийской традиции: в областях Литвы, имеющих в своем гербе зубра, наиболее высок уровень атмосферных осадков (сообщение М.Г. Нецецкой).

⁶ Реконструкция формы по [Lehmann 1986: 244].

Рассматриваемая форма интерпретируется либо как ошибочно переданное **uruz* [Lehmann 1986: 379], либо, что предпочтительнее, как свидетельство перехода вульфилианского *u > a* в позднем остготском [Wagner 1994: 269–270].

15. **pertra**. Название буквы *p*. Соответствует имени англосаксонской руны: др.-англ. *peorþ* < обще-герм. **perþō* ‘плодовое дерево’ (?); ‘vulva’ (?).

Др.-англ. *peorþ*, *peord* ‘имя руны’, *peord* ‘vulva’, нортумбр. *pert* ‘имя руны’. Как отмечают Р. Клисби и Гудбранд Вигфуссон, в старшем футарке руна В служила для обозначения [b] и [p]; при этом начальный [p] в исконных германских словах представлен крайне редко и часто свидетельствует о древнем заимствовании [Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957: 474]. Этимология спорна. С. Бутте привлекал в качестве сравнения груз. *par* – название буквы, передающей звук [p], и арм. *parel* ‘танцевать’ [Bugge 1905–1913: 60, 143], что сомнительно (ср. [Lehmann 1986: 272]). Ввиду отсутствия индоевропейского этимона и видимых источников заимствования М. Хаммарстрём предполагал, что название возникло по аналогии с *quertra* (др.-англ. *sweorþ*) [Hammarström 1930: 23–24], с чем не согласился Х. Арнтц [Arntz 1944: 208–209]. К. Марстрандер предположил заимствование из кельтского (галльского), указывая на имя богини растительности *Perta* в votивной надписи и валл. *perth* ‘куст’. При этом исследователь отметил др.-англ. *qweorþ* ‘имя руны’ (см. ниже *quertra*), имеющее параллель в виде др.-ирл. *qert* – названия *q* в огаме и др.-ирл. *ceirt* (*queirt*) ‘яблоня’ [Marstrander 1928: 139]; *ceirt* < и.-е. **kwerkwo-* ‘дуб’ [Vendryès 1927: 313]. Таким образом, согласно этой версии др.-англ. *peorþ* и *sweorþ* оказываются этимологическими дублетами, в германской традиции обретающими особую ценность благодаря рифме (ср. наблюдение М. Хаммарстрёма). Х. Арнтц указывал, что *p*-кельты (кельты, в языке которых индоевропейский лабиовеллярный *k^w* давал *p*) не знали огама и что галльская культура была дописьменной [Arntz 1944: 209]. Тем не менее, «внеписьменной» она не была, поскольку имеются галльские votивные надписи на латинице.

Х. Биркхан вернулся к давней гипотезе (см. [Feist 1939: 383]) о параллелизме между др.-англ. *peorþ* ‘имя руны’ и др.-англ. *peord* ‘vulva’ [Birkhan 1970: 175–177]. Если древнеанглийское имя руны исконно означает ‘vulva’, то приходится учитывать сходство др.-англ. *peord* и соответствующего обценного обозначения в русском языке (*eo* < **ē*/₁ по древнеанглийскому преломлению и *r* < **z* по ротацизму). Германское и славянское обозначения не могут восходить к единому индоевропейскому источнику, поскольку германскому *p*- соответствует и.-е. **b-*. Остается предполагать либо заимствование из германского в славянский (что маловероятно, поскольку начальный **p-* для германского вообще нехарактерен), либо ранее (до ротацизма) заимствование из славянского в германский. Однако это может касаться лишь древнеанглийского *peord* ‘vulva’, но не формы *pertra*, поскольку в готском языке ротацизма не было. Таким образом, если *pertra* – исконное готское название знака, а не заимствование древнеанглийского имени руны, то предпочтительно сопоставление с галльск. *Perta* ‘богиня растительности’, валл. *perth* ‘куст’.

16. **quertra**. Название буквы *q*. Соответствует англосаксонскому имени руны: др.-англ. *sweorþ* ‘плодовое дерево’. Др.-англ. *sweorþ* имеет убедительную параллель в виде др.-ирл. *ceirt* (*queirt*) ‘яблоня’ (сопоставление было предложено Т. фон Гринбергером [Grienberger 1896: 200, 222] и принято в рунологии). Ж. Вандриес возводит др.-ирл. *ceirt* к и.-е. **kwerkwo-* ‘дуб’ [Vendryès 1927: 313; Lehmann 1986: 276].

17. **geda**. Название буквы *g*. Соответствует имени руны: обще-герм. **raiðō* ‘поездка’, ‘повозка’. Др.-исл. *reið* ‘повозка’, ‘имя руны’, др.-англ. *rād* ‘скачка’, ‘путешествие’, ‘имя руны’, др.-фриз. *rēd*, др.-сакс. *rēda*, др.-в.-нем. *reita* ‘повозка’, ‘боевая повозка’ < обще-герм. **raiðō* ‘поездка, скачка’, ‘повозка’. Латышск. *reidu*, *rist* ‘приводить в порядок’ – ср. гот. *raidjan* к греч. ὀρθοτομεῖν ‘основывать’ [2 Тим. 2, 15], ‘упорядочивать’, гот. *garaidjan* к греч. διατάσσειν ‘приводить в порядок’ [1 Кор. 16, 1; Тит. 1, 5]. И.-е. **rēydh-* < **(a)re-*, *rēy-* ‘подгонять, упорядочивать’ [Lehmann 1986: 280–281, 283].

Для рассматриваемой формы восстанавливается готский прототип **raida* [Bugge 1905–1913: 46; Arntz 1944: 195–196].

18. *sugil*. Название буквы *s*. Соответствует имени руны: обще-герм. **sōwil* ‘солнце’. Рун. *solu* ‘солнце’, др.-исл. *sól*, др.-англ. *sygil* (ср. л. 20г), *sigel*, *segl*, *sægl*, ‘солнце’, ‘имя руны’. Гот. *sauil* (ср. р. -а) – единичное обозначение солнца в контексте [Мк. 1, 32] при регулярном *sunno*.

Др.-инд. *sūrya-*, греч. ἥλιος, лат. *sōl*, валл. *haul* ‘солнце’, ст.-слав., др.-русск. *сьлнце*, русск. *солнце*. И.-е. **sāwel-/swel-* ‘солнце’ [Pokorny 1959: 881–882; Lehmann 1986: 328].

Гот. *sunno* (ж. р. -n; в контекстах [Мк. 4, 6, 16, 2] – ср. р. -n, возможно, под влиянием *sauil*), крым.-гот. *sune* ‘солнце’. Др.-исл. *sunna* (поэт.), др.-англ., др.-фриз. *sunne*, др.-сакс., др.-в.-нем. *sunna* (ж. р.), др.-сакс. *sunno* (м. р.) ‘солнце’. Авест. *hvarə* (им. п.), *χпəйг* (р. п.) ‘солнце’, *χvan-vant* ‘солнечный’. И.-е. **sāwel-/swel-/swen-* ‘солнце’; // -n-гетероклитика, в гот. *sunno* и др. отражены формы косвенных падежей [Pokorny 1959: 881–882; Lehmann 1986: 330].

Гот. *sauil*, по всей очевидности, произносилось, как [soil], что подтверждается рассматриваемой формой: *sugil* = [suil] < **soil*. Дистрибуция *sunno/sauil* может быть связана с диалектными различиями внутри готского. В форме [suil] наблюдается характерное остготское повышение $\bar{o} > \bar{u}$: ср. ниже *utal* при гот. *(haim-)oþli* и *Lokan* в готских примерах рукописи при вульфилианском *Lukan*.

19. *tyz*. Название буквы *t*. Соответствует имени руны: обще-герм. **tīwaz* ‘божество’, ‘бог Тиу (Тюр)’. Др.-исл. *týr* ‘имя руны’, *Týr* ‘Тюр’, ‘бог победы’, *tívar* ‘боги’, *sig-tívar* ‘боги победы’, др.-англ. *tī* ‘имя руны’, др.-англ. *Tiig*, р. п. *Tiwes* ‘Mars’ = ‘Тиу’, *Tiwes-dæg* ‘вторник’, др.-в.-нем. **Ziu* (< *Zios-tag* ‘вторник’) [Lehmann 1986: 352].

Др.-исл. *týr* и др. возводится к и.-е. **deywos-* ‘бог’, ср. др.-инд. *dévas* ‘бог’, авест. *dævō* ‘дэв, демон’, лат. *deus*, др.-ирл. *dīa*, лит. *diēvas*, др.-прусс. *deiwas* ‘бог’, возможно, также хет. *šiu-* ‘бог’ [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 475]. И.-е. **deywos-* < **deyw-* ‘небо’ (< **dey-* ‘сиять’), ср. др.-инд. *dyáus* ‘небо, небеса’, *divyá-* ‘небесный’, лат. *dīus* ‘небесный’, лит. *diēvo sunēliai* ‘сыновья неба’, а также греч. Ζεύς ‘Зевс’ и др. [Pokorny 1959: 183–187; Гамкрелидзе, Иванов 1984: 791–799].

Предполагается, что у в гот. *tyz* является результатом стяжения дифтонга *iu* (< **tius*) [Bugge 1905–1913: 49], хотя Т. фон Гринбергер восстанавливает готскую форму в виде **teiwz* [Grienberger 1896: 217], предполагая синкопу *w*. Учитывая вариативность гот. *u/w*, следует отметить, что разница между двумя реконструируемыми формами состоит в долготе гласного (*i – ei*). Н. Вагнер усматривал в употреблении графемы *y* (ср. *euz*, *thyth*) вариативность, характерную для верхненемецкой орфографии; однако для *tyz* и *thyth*, в отличие от *euz*, исследователь реконструировал произношение [ü] [Wagner 1994: 276].

Так как др.-исл. *Týr* – имя одного из асов, считается, что название руны **tyz* свидетельствует о культе божества Тиу у готов [Bugge 1905–1913: 49]; однако в данном случае слово могло уже не осознаваться как языческое.

20. *uwinne*. Название буквы *w*. В старшем футарке *u/w* (*v*) передавались одной руной (Λ). Имя англосаксонской руны – др.-англ. *wun* < обще-герм. **wunjō* ‘радость’ или др.-англ. *wep* < **w^hep-* ‘надежда’. Др.-англ. *wep* ‘надежда’, ‘имя руны’, *wun* ‘радость’, ‘блаженство’, ср. *uun* (л. 20г). Гот. *un-wunands* (прич. 1) к греч. ἄδημονῶν ‘скорбящий, расстроенный’ [Фил. 2, 26]; гот. *wens* (ж. р. -i) к греч. ἐλπίς ‘надежда’ [2 Кор. 1, 6], гот. *us-wena* к греч. ἀπληλκός ‘безнадежный’ [Еф. 4, 19], *unweniggo* к αἰφνίδιος ‘неожиданно, нежданно’ [1 Фес. 5, 3], *wenjan* (слабый глагол первого класса) к греч. ἐνπιζειν ‘надеяться’ [Ин. 5, 45] и другие производные от основы **wēn-* [Lehmann 1986: 401]; гот. *winja* (ж. р. -jō) к греч. νομή ‘пастбище, луг’ [Lehmann 1986: 404]. Крупное этимологическое гнездо в древнегерманских языках, восходящее к и.-е. **wen-* (с разными огласовками) ‘радость, приязнь, желание’ – ср. др.-инд. *vánati*, *vanóti*, *vāñchati* ‘добиваться, любить’, авест. *vanaiti*, *vanaoitī* ‘добиваться, завоевывать’, лат. *venus* ‘любовь, приязнь’, *Venus* ‘Венера’, др.-ирл. *fine* ‘родство’, *fini* ‘знакомый’ [Pokorny 1959: 1146–1147; Lehmann 1986: 379].

М.-Л. Ротсаерт установила, что употребление двойных гласных для обозначения долготы в закрытом слоге (ср. *iiz*, *gaar*) согласуется с орфографией группы Исидора⁸, что указывает на западный ареал [Rotsaert 1983a: 369–378; Rotsaert 1983b: 138–140]. С этим согласился Н. Вагнер [Wagner 1994: 266]. Действительно, орфография Исидора представляет такие наглядные орфографические параллели, как *iaar*, *miin* – *gaar*, *iiz* Алкуиновой рукописи. Однако другие принципы орфографии древневерхненемецкого Исидора в Алкуиновой рукописи не прослеживаются – ср., например, *dh* для обозначения спиранта *þ*, *gh* вместо *g* перед гласными переднего ряда и др. Впрочем, М.-Л. Ротсаерт и не считает, что готский материал в Алкуиновой рукописи оформлен исключительно по правилам группы Исидора. Исследовательница указывает на примечательные особенности, роднящие запись с галло-романским ареалом. К ним относятся: диграф *oi* в форме *noicz* для передачи позднеготского *ō* < вульфилианского *au* (**nauþs*); написание *g* для передачи звука [j] перед *a*. И наконец, еще более точную локализацию в этом отношении позволяет провести диграф *cz* (в *noicz*), имеющий параллель в одной из рукописей древневерхненемецкой «Песни о Людвиге», выполненной в аббатстве Сент-Аманд (в указанной рукописи *cz* служит для передачи аффрикаты [ts])⁹. При этом М. Ротсаерт усматривает в начертании первого *b* на листе 20v влияние вестготской письменной традиции и считает, что в оформлении рукописи участвовал писец из Септимании, которому следовал переписчик Зальцбургского кодекса. Таким образом, исследовательница постулирует связи готского материала Алкуиновой рукописи с романским Севером (Сент-Аманд) и вестготским Западом.

На основании выводов М.-Л. Ротсаерт и новых наблюдений Н. Вагнер заключил, что классические готские названия букв представлены в Алкуиновой рукописи в форме именительного падежа и в позднеготском произношении, а письменное оформление указывает на северный галло-романский ареал [Wagner 1994: 277]. Исследователи указывали, что готский материал включает сопоставление двух готских алфавитов или письменных традиций, на что указывают различные пошибы в начертании двух алфавитов и разные принципы сокращения *kaus* = *Xristaus*. Н. Вагнер определил этот факт как одну из основных особенностей рукописи [Wagner 1994: 280]. При этом слово *diptongon* в латинских фонетических пояснениях восходит к греческой форме и согласуется с оборотом *per diptongon* в предшествующей Алкуиновой орфографии, что характеризует составителя «*Gotica Vindobonensia*» как высокообразованного человека, принадлежавшего к научному кругу Алкуина.

По мнению Н. Вагнера, готский материал предполагает участие двух человек – собственно составителя, самостоятельно записавшего и, возможно, частично продиктовавшего готские формы, и писца из галло-романского ареала, скопировавшего эту запись с протографа. Первоначальное копирование не было механическим: предполагаемый писец имел какое-то представление о готском языке и владел древневерхненемецким, норма которого определяется как франкский диалект и ориентация на орфографию Исидора, близкую придворным кругам Карла Великого [Wagner 1994: 280]. Важно учитывать здесь указание М.-Л. Ротсаерт на орфографические параллели с традицией аббатства Сент-Аманд [Rotsaert 1983a: 138–140]. Однако внесение готских и англосаксонских данных в Зальцбургский кодекс стало новым списком с первой копии, поскольку в англосаксонском ряду содержатся очевидные искажения форм: *æz* вместо *æsc*, *lug* вместо *Ing*. Это дает основания полагать, что имеющийся список был выполнен баварским писцом [Wagner 1994: 283]. В связи с этим следует учитывать и гипотезу Т. фон Гринбергера о том, что корреляция *ia chuedant ia chuatum* – гот. *jah qe þun* указывает на пропуск готского *jah qi þun* (3 л. настоящего времени = др.-в.-нем. *chuatum*) при переписке [Grienberger 1896: 197; Wagner 1994: 283].

⁸ Так называемый «древневерхненемецкий Исидор» – перевод на рейнско-франкский диалект части трактата св. епископа Исидора Севильского «Об истинной вере по Ветхому и Новому Завету против иудеев», выполненный во второй половине VIII в. Древневерхненемецкий Исидор отличается строго продуманной системой орфографии.

⁹ Ср. здесь *zs* передает [ts] в орфографии Исидора.

По мнению К. Марстрандера [Marstrander 1928: 154], готскую и древневерхненемецкую форму следует восстанавливать как **winja* 'радость'. Т. фон Гринбергер и другие исследователи [Grienberger 1896: 217–218; Bugge 1905–1913: 59–60; Lehmann 1986: 385] возводили форму *winne* к гот. *winja* 'луг', 'пастбище'. Впрочем, все этимологии предполагают и.-е. этимон **wen-* 'радость, приязнь, желание', и потому в принципе непротиворечивы.

Готские формы, записанные как *winne* и *gaar*, испытали наибольшее влияние древневерхненемецкого языка: в первом случае можно видеть либо западногерманскую геминацию, либо запись по аналогии с древневерхненемецкой геминированной формой, во втором – переход гот. $\bar{e} > \bar{a}$ (ср. [Wagner 1994: 271–272]).

21. **utal**. Название буквы *o*. Соответствует имени руны: обще-герм. $\bar{o}þalan-$ 'наследственное владение'. Др.-исл. $\acute{o}ðal$ (ср. р.), 'наследственное владение', 'имя руны', др.-англ. $\bar{e}þel$, $\bar{o}þil$ (м. / ср. р.) 'наследственное владение, достояние', 'имя руны', др.-сакс. $\acute{o}thil$ (м. р.), др.-в.-нем. *uodil* (м. р.) 'наследственное владение', 'собственность' [Lehmann 1986: 385]. Гот. *haim-oþli* (ср. р. -*ja*; вин. п. мн. ч.; [Мк. 10, 29–30]), др.-в.-нем. *heimōdil* (м. р. при *heimōte* ср. р.) 'дом'; ср. также др.-англ. *fæder-ēþel*, др.-сакс. *fader-ōdil*, др.-в.-нем. *fater-uodil* 'отчий дом' [Lehmann 1986: 170].

С нормальной ступенью аблаута – др.-исл. *aðal* (ср. р.), *eðli*, $\phiðli$ (ср. р.) 'происхождение' («урожденность»), др.-англ. *æelo* (ж. р.), $\alphaþelu$ (ср. р. мн. ч.) (ср. дат. п. мн. ч. *fæder-æþelum* [Beo. 911]), др.-сакс. *athal(i)* (ср. р.) 'собственность', 'благородное происхождение', др.-в.-нем. *adal* 'происхождение' и соответствующее прилагательное – др.-англ. $\alphaþele$, др.-сакс. *athali*, др.-в.-нем. *edili* 'благородный'. Общегерманская основа **aþala-* 'право на наследование' отражена в целом ряде германских двучленных имен собственных, в том числе готских – ср. гот. *Athala-ricus*, *Atha-ulfus*, *Athana-gildus* и др.

Этимология дискуссионна. Наиболее логичное отнесение к и.-е. **at-* 'отец' (ср. гот. *atta*, русск. *отецъ*) нередко оспаривается (ср. [Lehmann 1986: 170]) без предложения новой этимологии. Однако эта версия подкрепляется наличием варианта **aþana-* сравнимого с др.-руск. *отнь* 'отчий'. Развитие семантики 'отчий', 'принадлежащий к отцовской линии' > 'наследный' вполне приемлемо.

В рассматриваемой форме можно видеть характерное остготское повышение $\bar{o} > \bar{y}$: ср. *sugil* при гот. *sauil* и *Lokan* в готских примерах рукописи при вульфилианском *Lukan*; см. [Wagner 1994: 271].

22. **enguz**. Название буквы $\dot{+}$ ⁷. Соответствует имени руны: обще-герм. **ingwaz* 'Ингве / Ингви'. Обще-герм. **Ingwaz* 'Ингве'; этноним *Ingaevones* (*Inguaeones*) у Плиния и Тацита [Hist. nat. IV, 96, 99; Germ. 2], многочисленные древнегерманские имена собственные с первым компонентом *Ing^f/i-*.

Культ Ингве (Ингви) был актуален прежде всего для племен, считавших себя его потомками и живших, по Тациту, «близ Океана» (у берегов Северного и Балтийского морей, а также Северного Ледовитого океана). Я. Де Фрис считает, что культ Ингве был распространен среди северных и южных германцев [de Vries 1957: 166], а у готов мог сохраниться еще со времен их переселения из Скандинавии или благодаря влиянию переселившихся из Швеции вандалов [de Vries 1957: 168]. Вследствие маргинального положения Ингви в письменно зафиксированной скандинавской мифологии предикаты и функции этого мифологического персонажа фактически неизвестны.

Этимология обще-герм. **Ingwaz* неясна. Т. фон Гринбергер привлекает в качестве сравнения греч. $\epsilon\upsilon\chi\omicron\varsigma$ 'копье' [Grienberger 1896: 219], что выглядит крайне сомнительно, а кроме того, греч. $\epsilon\upsilon\chi\omicron\varsigma$ по происхождению может являться заимствованием [Chantraine 1968–1980: 311]. Другие версии еще менее убедительны (см. [Lehmann 1986: 100] с критикой). Определенные перспективы имеет лишь предположение В. Краузе, поддержанное Я. де Фрисом (не отмечено у В. Лемана): обще-герм. **Ingwaz*: тох. А *ōnk*, В *enkwe* 'чело-

⁷ Без транслитерации, поскольку в вульфилианском алфавите не было знака для передачи сочетания [ŋ].

век, муж' [de Vries 1957: 168]. Такой принцип номинации вполне согласовался бы с др.-исл. *Baldr* 'господин', *Freyr* 'господин'. Форма *enguz* < **ingws/ingus* может свидетельствовать о бытовании у готов представления о божестве **Ingws*.

Расширение *i* > *ě* здесь, как и в форме *geiwa*, интерпретируется Н. Вагнером как романское явление, не имеющее отношения к диалектным различиям внутри готского [Wagner 1994: 271].

23. *ezec*. Название буквы *z*. Имя руны обозначало обще-герм. **z* (> *R* по ротацизму) **algiz* 'лось'; ср. др.-исл. *elgr* 'лось', др.-англ. *ilcr* 'имя руны' (л. 20г). Этимология дискуссионна. Ю. Цахер предполагал исходное **aizik* < гот. *aiz* 'медь' [Zacher 1855: 10–11], с чем согласился Т. фон Гринбергер [Grienberger 1896: 219]. К. Марстрандер выдвинул гипотезу об отражении в этом названии гот. **Aiza*, **Aizīpa*, реконструируемого на основании др.-исл. *Eir* 'Эйр' (имя богини) при сравнении с др.-исл. *eirð* 'милость', др.-англ. *ár*, др.-в.-нем. *êra* 'честь' [Marstrand 1928: 157]. Эту версию принял Х. Арнтц [Arntz 1994: 230]. Однако ввиду неясности конечного знака в рукописи, похожего как на *c*, так и на *t* каролингского минускула, Л. Виммер предложил чтение **ezet* (ср. гот. *azets* 'легкий'; [Wimmer 1887: 272]). Идею о конечном *-t* развил Ф. Хольтхаузен, принявший чтение *ezet* и выдвинувший примечательную гипотезу о заимствовании греч. ζῆτα – ср. др.-фриз. *ezed* из этого источника [Holthausen 1929: 330]. Поскольку старший рунический ряд не содержит соответствия рассматриваемой форме и речь в данном случае идет не о руне, а о букве готского алфавита, наиболее обоснованной представляется именно точка зрения Ф. Хольтхаузена.

24. *uuaer*. Название буквы *hv*. В. Леман указывает: «name of the *hw*-rune» [Lehmann 1986: 384]. Однако ввиду отсутствия параллелей в наименованиях рун футарка и англосаксонского рунического ряда корректнее говорить о названии буквы вульфилианского алфавита (при любом генезисе самого знака).

Этимология неясна. А. Кирххоф сравнил *uuaer* с др.-исл. *hverr*, др.-англ., др.-в.-нем. *hwer* (м. р.) 'котел', предполагая гот. **hvair* [Kirchhoff 1854: 46–47], что было принято исследователями [Zacher 1855: 137; Grienberger 1896: 220]. Гипотеза С. Бугге о гот. *hva her* (ср. готский текст Мф. 20, 6; [Bugge 1905–1913: 87–88]) не может быть признана удачной (принцип номинации нетипичен для рун). К. Марстрандер привлек для сравнения др.-исл. *hverir* 'горячие ключи', *hvergelmir* 'горячие ключи, пробившиеся в Нифльхейме' [Marstrand 1928: 151].

25. *thyth*. Название буквы *þ*. Имя руны футарка – *þurs* 'великан', 'турс', англосаксонской руны – *þorn* 'шип' (ср. л. 20г рукописи).

Этимология дискуссионна. А. Кирххоф сопоставил форму с гот. *þiup* (ср. р. *-a*) 'добро, благо' [Kirchhoff 1854: 32–33], что было принято С. Бугге [Bugge 1905–1913: 89] и отражено у Х. Арнтца [Arntz 1944: 189–190]. Т. фон Гринбергер восстанавливал гот. **þeiþ* – ср. др.-исл. *þíðr*, *þítu* 'талый' [Grienberger 1896: 221–222], что представляется В. Леману сомнительным [Lehmann 1986: 344].

Следует учесть мнение Ф. Хольтхаузена о возможном греческом источнике *ezec* (*ezet*). Обозначение глухого межзубного спиранта в вульфилианском алфавите может восходить к греч. θῆτα 'тэта, фита'. Впрочем, ввиду того, что *th* в рассматриваемой форме должен обозначать глухой межзубный спирант [θ] и в начальной, и в конечной позиции, предпочтительнее возведение к гот. *þiup* 'добро, благо'.

3. АРЕАЛЬНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ СООТНЕСЕНИЕ РУКОПИСИ

Пути проникновения готского материала в Зальцбургский кодекс дискуссионны. Т. фон Гринбергер, исходя из графических и языковых особенностей рукописи, считал, что вестгот из Южной Франции, знавший готский язык из живой традиции, около 800 г. поделился своими познаниями с франком из окружения Алкуина [Grienberger 1896: 195–199, 222]. Г. Безеке предполагал, что Арн (с 798 г. – архиепископ Зальцбургский) привез готские названия букв из Италии, где он бывал в 787 и 799 гг. [Baesecke 1930: 156].

В качестве основного источника готского алфавита Н. Вагнер предполагает Италию, где Арн Зальцбургский мог ознакомиться с готскими рукописями, а также сам двор Карла Великого, где нашли пристанище готские древности, вывезенные из Италии [Wagner 1994: 282].

Можно видеть, что в качестве единственной персоналии «*Gotica Vindobonensia*» традиционно выступает Арн, архиепископ Зальцбургский. Однако первичный импульс к изучению различных языков и алфавитов в ту эпоху исходил от Алкуина. В отношении информантов, от которых Алкуин и Арн могли почерпнуть познания в готском, также можно предложить определенные личные соотнесения. При дворе Карла Великого присутствовал уроженец вестготской Испании Теодульф (впоследствии архиепископ Орлеанский). Теодульф известен своими латинскими стихотворными сочинениями и живым интересом к науке и культуре (однако он, очевидно, не участвовал в работе дворцовой школы и не был членом Академии). В 800 г. он сопровождал Карла Великого в Рим и заседал в суде, созванном для оправдания папы Льва, после чего получил от папы сан архиепископа. Став епископом Орлеанским, Теодульф жил как меценат, построив в Жерминьи церковь, которая считалась самой великолепной по всей Нейстрии, и заведя у себя книжную мастерскую [ПСЛЛ 2006: 147]. По своей языковой и культурной компетенции Теодульф идеально вписывается в контур, реконструированный на основе лингвистических данных: носитель готского языка (согласно М.-Л. Ротсарт, вестгот), причастный к письменной традиции и книжной культуре, владеющий латынью, древневерхненемецким в «придворном» франкском варианте, а также связанный с северным галло-романским ареалом.

Принадлежа к придворному кругу Карла Великого, Алкуин и Арн хорошо знали Теодульфа. Кроме того, Арн находился с Теодульфом в Риме в составе одного посольства. Но, может быть, это знакомство было чисто формальным? И здесь необходимо обозначить еще одно лицо – связующее звено между Алкуином, Арном и Теодульфом: это Лейдрад, архиепископ Лионский.

Арн и Лейдрад – баварцы, отпрыски местных знатных родов. Арн (род. вскоре после 740 г.) был воспитан в монастыре св. Зенона в Изене, в 765 г. отмечается по записям как диакон во Фрайзинге, а в 776 г. – как священник того же собора [LM 1980: 993]. Лейдрад – диакон во Фрайзинге в 779 г. Ко двору Лейдрад прибывает самое позднее в 790 г.; известно, что около 790 г. он состоял в клире Зальцбургского собора. Арн в это время уже был епископом Зальцбургским, и можно полагать, что Лейдрад попал ко двору при его непосредственном содействии (ср. старшинство Арна во Фрайзинге). Лейдрад был назначен придворным библиотекарем [ПСЛЛ 2006: 146].

Как и Арн, Лейдрад был хорошо знаком с Алкуином. В собрании писем Алкуина есть письмо: «Алкуин приветствует избранного предстоятеля, брата, друга Лейдрада» [ПСЛЛ 2006: 143–144].

В 798 или 799 г. (время поездки Арна и Теодульфа в Рим). Лейдрад становится епископом Лионским, развивает в Лионе обширную деятельность по созданию скриптория и библиотеки. Епископскую кафедру он занимал с 798–799 по 816 или 817 г., был предшественником и учителем Агобарда Лионского [ВК XVI: 951–953].

Незадолго до посвящения во епископы Лейдрад по рекомендации Алкуина в качестве «*missus dominicus*» (королевского ревизора) вместе с Теодульфом путешествует по нарбоннской провинции, населенной вестготами. В своей латинской поэме «Против судей», написанной под впечатлением от этой поездки, Теодульф особо упоминает Лейдрада, хваля его усердие, дипломатические способности и порядочность [ПСЛЛ 2006: 148].

Епископы Арн, Лейдрад и Теодульф упоминаются Эйнхардом в числе епископов, аббатов и графов, в присутствии которых Карл Великий в 811 г. утвердил свое завещание [ПСЛЛ 2006: 202].

Таким образом, круг лиц, причастных к внесению готского материала в Зальцбургский кодекс, определяется следующим образом: Алкуин как глава научной школы – Арн как близкий друг Алкуина и аббат Сент-Аманда, где сочеталась культура северной Галлии и Франкии – Лейдрад, друг Алкуина, земляк Арна и добрый знакомый Теодульфа – ученый вестгот Теодульф.

Ответ на вопрос о том, почему этот ученый круг так живо участвовал в собирании материала и изучении письменности разных языков, сформулирован самим Алкуином: «*Пипин. Что такое буква? – Алкуин. Страж истории*»¹⁰.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гамкрелидзе, Иванов 1984 – *Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. К реконструкции праязыка и протокультуры. Т. I–II. Тбилиси, 1984.*
- Гухман 1958 – *М.М. Гухман. Готский язык. М., 1958.*
- ПСЛЛ 2006 – Памятники средневековой латинской литературы. VIII–IX века / Отв. ред. М.Л. Гаспаров, М.Р. Ненарокова. М., 2006.
- Alkuin–Briefe 1969 – *Alkuin-Briefe und andere Traktate. Im Auftrage des Salzburger Erzbischofs Arn um 799 zu einem Sammelband vereinigt. Codex Vindobonensis 795 der Österreichischen Nationalbibliothek. Faksimileausgabe / Einführung F. Unterkircher. Graz, 1969.*
- Arntz 1944 – *H. Arntz. Handbuch der Runenkunde. Halle-am-Saale, 1944.*
- Baesecke 1930 – *G. Baesecke. Der Deutsche Abrogans un die Herkunft des deutschen Schrifttums. Halle-am-Saale, 1930.*
- BK XVI – Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon // <http://www.bautz.de>.
- Birkhan 1970 – *H. Birkhan. Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit. Der Aussagewert der Wörter und Sachen für die frühesten keltisch-germanischen Kulturbeziehungen. Wien, 1970.*
- Bugge 1905–1913 – *S. Bugge. Norges inskrifter med de ældre runer. Christiania [Oslo], 1905–1913.*
- Chantraine 1968–1980 – *P. Chantraine. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. V. I–II. Paris, 1968–1980.*
- Cleasby, Vigfusson 1957 – *R. Cleasby, Gudbrand Vigfusson. An Icelandic-English dictionary // Initiated by R. Cleasby; revised, enlarged and completed by Gudbrand Vigfusson. Oxford, 1957.*
- Feist 1939 – *S. Feist. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. 3. Aufl. Leiden, 1939.*
- Grienberger 1896 – *Th. von Grienberger. Die germanischen Runennamen. I. Die gotischen Buchstaben-namen. I // PBB. 1896. Bd. 21.*
- Grienberger 1900 – *Th. von Grienberger. Neue Beiträge zur Runenlehre // Zeitschrift für deutsche Philologie. 1900. Bd. 32.*
- Hammarström 1930 – *M. Hammarström. Om runskriftens härkomst. Studier i nordisk filologi. Bd. 20. 1930.*
- Holthausen 1929 – *F. Holthausen. Gotica // IF. 1929. Bd. 47.*
- Kirchhof 1854 – *A. [J.W.]Kirchhoff. Das gotische Runenalphabet. Berlin, 1854.*
- Lehmann 1986 – *W.P. Lehmann. A Gothic etymological dictionary. Based on the 3rd ed. of Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache by Sigmund Feist. Leiden, 1986.*
- LM 1980 – *Lexikon des Mittelalters. Bd. I. Stuttgart; Weimar, 1980.*
- Marchand 1958 – *J. Marchand. Les Gots, ont-ils vraiment connu l'écriture runique? // Mélanges du linguistique et de philologie. Fernand Mossé in memoriam. Paris, 1958.*
- Marstrander 1928 – *C.J.S. Marstrander. Om runene og runenavnenes oprindelse // Norsk tidsskrift för sprogvidenskap. Bd. 1. 1928.*
- Polomy 1959 – *J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I–II. Bern; München, 1959.*
- Rotsaert 1983a – *M.-L. Rotsaert. Per una definizione delle fonte gotiche del Codex Vindobonensis 795. Appunti metodologici // Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo. Studi i ricerche. 3: Feor ond neah. Scritti di filologia germanica in memoria di A. Scaffidi Abbate. Palermo, 1983.*
- Rotsaert 1983b – *M.-L. Rotsaert. Gotica 'Vindobonensia'. Localisation, sources, scripta Theodisca. // Codices manuscripti. V. 9. 1983.*
- Skeat 1995 – *W.W. Skeat. The concise dictionary of English Etymology. Ware (Hertfordschire), 1995.*
- Vendryès 1927 – *J. Vendryès. Sur un nom ancien de l' 'arbre' // Revue celtique. 1927. V. 44.*
- de Vries 1957 – *J. de Vries. Altgermanische Religionsgeschichte. 2. Aufl. Berlin, 1957. Bd. II.*
- Wagner 1994 – *N. Wagner. Zu den Gotica der Salzburg-Wiener Alcuin-Handschrift // Historische Sprachforschung. 1994. Bd. 107.*
- Wimmer 1887 – *L.F.A. Wimmer. Die Runenschrift. Berlin, 1887.*
- Zacher 1855 – *J. Zacher. Das gotische Alphabet Vulfilas und das Runenalphabet. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung. Leipzig, 1855.*

¹⁰ Первая строка «Словопрения высокороднейшего юноши Пипина с Альбином Схоластиком» [ПСЛЛ 2006: 127].

© 2007 г. Г. ГЛАДКОВА, И. ЛИКОМАНОВА

НЕКОТОРЫЕ РАЗДУМЬЯ НАД ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИЕЙ

В № 6 ВЯ за 2005 год вышла статья Г. Нецименко «Некоторые раздумья над книгой "Языковая ситуация: истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели)"». Настоящий текст реагирует на нее с целью не столько скорректировать некоторые фактические неточности и положения, которые, на наш взгляд, представлены в статье в необъективном освещении, сколько сосредоточиться на обсуждении вопросов по теоретическим проблемам языковой ситуации и так называемой «культуре языка».

Поскольку статья Г. Нецименко отличается острой полемичностью, мы сосредоточимся только на тех частях нашего текста, которые вызвали отрицательную реакцию с ее стороны (автором статьи анализируются введение и теоретическая первая глава книги, прикладные же, т.е. фактографические, вторая и третья главы затронуты лишь вскользь). Слова Г. Нецименко, венчающие книгу «Эт н и ч е с к и й я з ы к»: «Выносимая на суд читателя концепция отнюдь не является истиной в конечной инстанции. Высказывая свои соображения, мы хотели лишь принять посильное участие в поиске оптимального решения этой чрезвычайно актуальной и сложной проблемы» [Нецименко 1999: 220], оказались голословной декларацией, поскольку предпринятая нами попытка продолжить поиски оптимального моделирования проблематики языковой ситуации совсем не встретила у автора понимания. Несмотря на это, мы постарались поставить во главу угла дискуссию о теоретическом осмыслении актуальных процессов, прослеживающихся в развитии и функционировании славянских языков, которая может заинтересовать научную общественность. Для этой цели, злоупотребляя терпением читателя, прибегнем к более развернутой цитации своей книги, выбирая при этом те фрагменты, которые могут в наиболее сжатой форме представить нашу концепцию, которая в статье Г. Нецименко так и осталась неосвещенной. Оговоренный характер цитации обусловлен еще и тем, что выводы Г. Нецименко базируются на слишком коротких отрезках текста, которые из-за отсутствия необходимого контекста не позволяют читателю понять смысл и цель наших высказываний.

1. Осознавая необязательность и даже обременительность для читателя сопроводительной информации, полагаем целесообразным с самого начала упомянуть о нескольких обстоятельствах и фактах, могущих пролить свет на оригинальность текста нашего исследования.

1.1. Над нашей книгой мы начали работать в рамках научного проекта *Contemporary language situation and its historical perspective (on Bulgarian and Czech)*, выполненного по программе *Research Support Scheme Open Society Fund*, номер 1778/1083/1997, длящегося с октября 1997 г. по октябрь 1999 г.¹ Результатом проекта, концепция и заглавие

¹ Прочитываем аннотацию проекта из заявки на проект, поданной на обсуждение в 1996 г., и фрагмент из отчетной документации за 1998 г., из которых видно, что решением основных теоретических проблем мы занимались задолго до знакомства с книгой Г. Нецименко «Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации» [Нецименко 1999] (с ранними статьями этого автора по данной проблематике мы не работали, впрочем и в книге 1999 г. она на них не ссылается, а по ходу работы мы нигде с рецепцией ее теории до 1999 г. не встретились):

которого оставались неизменными, стал текст, который в своей теоретической части был практически готов уже в октябре 1999 г. Совместная работа над текстом книги продолжалась еще до половины 2000 г., причем за этот период существенно расширилась диахронная прикладная глава, которая вышла за рамки проекта.

1.2. Упомянутый труд Г. Нецименко [Нецименко 1999], представляющий собой ценный синтез многолетней сосредоточенной работы и отражающий ее новейшие заключения, в нашей книге цитируется 24 раза, причем 22 раза в теоретической главе, а 2 раза в прикладной диахронной главе². С нашей стороны отношение к ее работе более чем

(1996) Main objectives to be achieved «The contemporary dynamic language situation in Bulgaria» necessitates changes in the theoretical conceptions about literary language, its norm and practice. This calls for a respective analysis of the situation, especially of the status of colloquial language. To make the analysis objective, and theoretically contributive, we shall need a thorough review of the existing publications on the problem and of archive material, as well as the collection of more recent material showing the current processes taking place in the language.

A topical aim will be the to sum up observations made so far on the history of the Bulgarian language, by also applying the most recent theoretical finding of the Prague Linguistic Circle. The comparative approach (juxtaposition with the Czech language) could substantially contribute to the objectivization and theoretical substantiation of the concluding theses.

Methodology to be used: The study will proceed from the Prague Linguistic Circle formulations about standard language, the linguistic situation and language planning, with an accent on the latest methodological discussions. The sociolinguistic approach to the language situation will be innovative, especially in the contrasting plan. The comparative approach, especially with a well described subject matter as the Czech one, will contribute to the objectivization and theoretical substantiation of conclusions. The Bulgarian analysis material will be excerpted on the move.

(1998) During the Bulgarian Renaissance the literary language is exposed to changes in its means (their selection and standardization) as well as the definition of its sphere of use (standardization of specific spheres of communication). This second similar type of standardization hasn't been paid attention to till moment. The study considers the principle consequences to which the definition (confinement) of the sphere of use of the literary language of today leads: The Renaissance dichotomy Written = Literary vs. Spoken = Non-literary (dialect) communication transforms into the dichotomy Standard (written, but a constantly expanding spoken also) = Literary vs. Non-standard (spoken, but with constantly expanding written, especially now) = Non-literary communication. This scheme is reflected by the understanding of the term Norm and its coding. Everything that is not in concord with the coded norm, written or spoken, is left outside the literary sphere. ... The interpretation of these phenomena requires precise definition of the two dichotomies: Standard / Non-standard and Literary / Colloquial by using the set of instruments of the communicative situations, cross points and the possibility to define and describe convincingly the development processes. ... It has to be defined by several facts: 1. The change in the traditional hierarchy in the language situation (the literary language is at the top of a pyramid, everything else is below) in which the literary language is acknowledged as the centre and the other language forms – as the periphery... 2. The adoption of a non-marked nature by Colloquial speech in situations, traditionally inherent to the sphere of Literary language (public spoken communication, press). 3. Loss of prestige by written sphere of communication thus ceasing to be a source for changes in the spoken sphere of communication. ...

² [Гладкова, Ликоманова 2002: 14, 15, 15, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 32, 33, 34, 63, 113, 120, 126, 133, 133, 150, 151, 151, 164, 181, 370].

Раз уже спор идет вокруг филиации текстов, то нельзя не отметить, что со стороны Г. Нецименко мы были бы вправе ожидать более выверенный подход, а именно – цитирование по изданию ее книги 1999 года, поскольку издание 2003 г. автором характеризуется как «расширенное с внесением в текст некоторых коррективов и дополнений и с учетом новейшей литературы» [Нецименко 2003: 7]. В свете сказанного способ аргументации Г. Нецименко [Нецименко 2005: 76] представляется неубедительным.

Если же внесенные «некоторые» изменения, по ее собственным словам, кардинально не изменили существа теоретической концепции (рассмотрение теоретической главы действительно показало, что изменения реально не внесены), то закономерен вопрос, правомерна ли смена заглавия (без указания в выходных данных книги информации о первом издании 1999 г.). В этом плане показательно, как изменяется предмет изучения в первом абзаце «Введения».

уважительное, что не значит, однако, что наши взгляды обязательно совпадают. Следует подчеркнуть, что если, с другой стороны, наши взгляды местами и совпадают, то это объясняется тем, что в своих исследованиях мы описываем реальные процессы на основе современного освещения проблематики в славянском языкознании.

Кроме общих ссылок, в которых подчеркивается сходство или близость концепций, труд Г. Нецименко цитируется нами в частях, посвященных проекции коммуникативного пространства на языковую деятельность, бицентричности строения коммуникативного и языкового пространства (континуума по терминологии Нецименко), коммуникативной сфере (ареалом по терминологии Г. Нецименко), сущности регламента в стандартной сфере, носителю языка, норме, идее универсальности стандартного языка, соотношению функции (статуса) и субстанции (корпуса) стандартного языка. Как видим, эти места затрагивают **ключевые параллели** между нашей концепцией и концепцией Г. Нецименко (ср. [Нецименко 2005: 78]) и все нами сделанные ссылки отдают должное ее публикации³. Соотношение с концепцией Г. Нецименко мы, таким образом, никак не скрывали, а упоминали о нем везде, где исходили из конкретных положений ее книги, которые считали новаторскими.

На труд Г. Нецименко в своей работе мы ссылались при решении ряда терминологических вопросов (вкрапление, островные языки, регулируемое и нерегулируемое речевое поведение, коммуникативная сфера/ареал, речевые манифестации, этнический язык). Различия в терминологии свидетельствуют об отличии понятийного аппарата, а также отражают различия в концепции. Основные из них будут рассмотрены отдельно. Во всех случаях, однако, мы аргументировали наше согласие или несогласие с терминами Г. Нецименко, или же причины использования иного термина.

1.3. В трех случаях ссылки на труд Г. Нецименко затрагивают оценки языкознания социалистического периода. Контекст первой и второй ссылки связан с принципиально спорной идеей универсальности стандартного языка [Гладкова, Ликоманова 2002: 133, 164], вытекающей из стратификационного подхода к анализу внутреннего членения языка [Нецименко 2005: 75]. Контекст третьей касается описания современной русской языковой ситуации, включая взгляд на стандартный язык как первый код части носителей [Нецименко 1999: 129–152], причем анализ членения русского языка в книге Нецименко мы оцениваем как самый удачный. Наш анализ этих идей приводит к заключению о необходимости пересмотра теоретической базы при определении устной формы

Сравним. Так, в первом издании «Этнический язык» 1999 мы читаем: «В монографии рассматривается широкий спектр актуальных социолингвистических вопросов. **Центральное место** в их ряду занимает **фундаментальная проблема функциональной дифференциации этнического языка, входящая в состав комплексной проблемы языковой ситуации**» [Нецименко 1999: 3]; (выделение наше. – Г.Г., И.К.). В издании 2003 года «Языковая ситуация» иерархия названных проблем уже изменена: «В монографии рассматривается широкий спектр актуальных социолингвистических вопросов. **Центральное место** в их ряду занимает **комплексная проблема языковой ситуации, включающая в себя другую немаловажную проблему – функциональной дифференциации этнического языка**» [Нецименко 2003: 9]; (выделение наше. – Г.Г., И.К.). Далее текст следует без изменений. Необходимо подчеркнуть, что различия в нашей концепции и концепции Г. Нецименко исходят в значительной степени именно из того, что мы последовательно ставили себе целью описать языковую ситуацию, а функциональная дифференциация языка, представленная у Г. Нецименко в книге «Этнический язык» как коммуникативная модель членения этнического языка, рассматривается нами лишь как частная проблема.

³ Ср. такие формулировки, как: «следуя предложению Г. Нецименко» [Гладкова, Ликоманова 2002: 15], «сходимся с взглядами Г. Нецименко» [Там же]; «подтверждает уместность тезиса Г. Нецименко» [Там же: 25]; «впервые в теоретическом плане обратила на это внимание опять же Г. Нецименко» [Там же: 113]; «в целом подход Нецименко к славянской ЯСит наиболее близок к нашим взглядам» [Там же: 151].

СЯ и сферы его функционирования [Гладкова, Ликоманова 2002: 370]⁴. Как раз эти ссылки Г. Нецименко не считает, по-видимому, уместными, коннотируя их с формулировками, находящимися во Введении нашей книги [Нецименко 2005: 68–69]⁵.

Полагаем, что нет нужды оспаривать далекоидущие выводы Г. Нецименко, сделанные на основе наших оценок (например, насчет «призыва к введению цензуры» [Нецименко 2005: 69]). Одних заметок Г. Нецименко по поводу перипетий вокруг дискуссий о пражском структурализме [Нецименко 2005: 93] достаточно, чтобы лишний раз убедиться в том, что политические условия социализма в случаях идеологически важных для политического строя областей не позволяли свободному (т.е. также и альтернативного, ср. [Нецименко 2005: 67, 75] или, скорее, плюралистического) развитию теоретического аспекта научного мышления⁶.

⁴ Ср. также критические заметки по этому поводу в рецензии на книгу [Нецименко 1999; Sgall 2001].

⁵ Трём с половиной страницам нашего Введения [Гладкова, Ликоманова 2002: 10–12] в статье Г. Нецименко отведены почти три страницы текста, суть нашего подхода, однако, остается для читателя сокрыта. Основной упрек, повторенный и в заключительных абзацах статьи, делается на якобы излишнюю политизацию темы, которая проявляется в неизбежном (на наш взгляд) учете общеполитического и социального контекста трудов социалистического периода, что приводит (по мнению Г. Нецименко) к необоснованной критике языкознания как научной дисциплины. Однако ничего, о чем говорит Г. Нецименко применительно к нашей работе – «глобальной негативной оценки» современного состояния славистики, славянской социолингвистики, русского или же болгарского языкознания, «оскорбительного отношения к славистике», причем с «воинственной тональностью», с подменой профессионального анализа политическими констатациями (факт, опровергнутый самой Г. Нецименко тут же цитацией в следующем абзаце [Нецименко 2005: 69], «политико-идеологических обвинений» [Там же: 92] – в нашей книге нет. В этом можно легко убедиться на основании цитат, приведенных в статье Г. Нецименко [Нецименко 2005: 68–69], необходимо их, однако, читать в соответствии с контекстом книги.

Любопытно отметить, что, согласно Г. Нецименко, наша мнимая негативная оценка касается то современного состояния славистики, то славистики вообще [Там же: 92], то славянской социолингвистики [Нецименко 2005: 68], то русской лингвистики, то предшественников, повинных во всех грехах [Там же: 69], то российской науки, то советской социолингвистики, огромных заслуг и бесспорного международного авторитета которой мы, по-видимому, не признаем [Там же: 93].

Оставляя без комментариев тезис о «творном сотрудничестве чешских и русских ученых, прежде всего славистов, несмотря на политические перипетии» [Нецименко 2005: 93], сошлемся на новейшие анализы отношения к России и ее роли в чешской научной литературе [Šterný 1995] (изданный почти полвека после написания) [Vlček 2002; 2004]. Насчет мнения Г. Нецименко, что для Й. Добровского «...был русский язык языком великого народа, ...бывшего опорой для всех славян, народом освободителем» [Нецименко 2005: 88] – хочется только припомнить, что Добровский умер в 1829 г., ср. также [Vlček 2002]. Новейшие мнения насчет русофильства Добровского ср. [Vlček 2004].

⁶ Трудно представить себе, что языковая политика (а то, что в классической терминологии Пражской лингвистической школы (ПЛШ) называется языковой культурой, включает и элементы языковой политики, что отражено в дискуссиях об этих и других терминах) могла не быть предметом политики тоталитарного строя, а ее реализация подвластной идеологическому давлению. Замечания, изложенные в статье Нецименко по этому поводу, являются сами по себе симптомом того, что рефлексия социалистического периода в языкознании отчетливо присутствует как важная тема прежде всего в чешской лингвистике. Симптоматично, что она сосредотачивается на пражском структурализме, поскольку именно он был предметом идеологических споров практически весь послевоенный период. Права Г. Нецименко в том, что самые разгоряченные дискуссии шли и идут вокруг идиомов *horovová čeština* и *obecná čeština*. Именно они, как правило, сопровождались анализом, апробацией и поиском теоретических постановлений Пражской лингвистической школы и их философских корней и идеологических истоков. Рефлексия отпечатков идеологических ограничений социалистического периода появилась в чешском языкознании сразу же после 1990 г., ср. [Novák 1990; 1991; Leška 1993; Starý 1995] и последующие дискуссии на заседаниях Пражского лингвистического кружка [Novák 1996] и др. Комплексный анализ развития теории языковой культуры в общем политическом контексте в чешском языкознании с позиции убежденного прескриптивиста, ср. в [Svrtček 2006].

1.4. Список литературы в нашей книге содержит все заглавия, на которые ссылаемся в самом тексте (их 320). Список никак не претендует на роль «полного» [Нещименко 2005: 67]. Это публикации, с которыми мы реально и конкретно работали по ходу написания текста и которые цитируются на всех соответствующих местах, где использованы концепции, идеи, оценки, терминология, конкретный материал или где мы сочли необходимым для хода изложения обратить внимание на то, как понимаем данную концепцию или понятие мы и с какой дефиницией работают, в чем сходятся и разнятся позиции иных исследователей.

Сам список используемой литературы хорошо иллюстрирует тот факт, что наша концепция исходит из теории литературных языков, разработанной в рамках так называемой языковой культуры методами пражского структурализма, и из трудов программно исходящих из этой концепции ПЛШ (труды В. Барнета, Й. Вахека, Ф. Водички, Б. Гавранека, Е. Гаичовой, К. Гаузенбласа, С. Гержмана, Я. Гофмановой, Й. Гронека, Ф. Данеша, А. Едлички, Й. Корженского, Й. Крауса, К. Крейчи, В. Мареша, О. Мартинцовой, В. Матезиуса, В. Мацуры, О. Мюлеровой, И. Небеской, П. Сгалла, З. Старого, А. Стиха, О. Уличного, Й. Хлоупека, М. Чеховой, С. Чмейрковой, Р. Якобсона и др.).

Нашей целью было в рамках теории литературных языков сочетать социолингвистические принципы ПЛШ (структурный и функциональный подход) с современными методами социолингвистики (коммуникативный подход, ср. дальше нашу позицию относительно материала в нашей книге)⁷. Современная социолингвистика является основным источником нашей терминологической системы, которую подвергает критике Г. Нещименко. При подготовке отдельных глав мы сделали подбор источников неизбежно субъективный, который, по нашему мнению, охватывает все ключевые тексты для рассмотрения отдельных вопросов, ссылаясь на них и приводя также и соответствующую аргументацию. Упрек в наш адрес в том, что что-либо важное из научной литературы осталось за пределами нашего рассмотрения, принимаем⁸, но не можем, однако, согласиться с тем, что цитируемая литература не охватывает все затронутые в книге проблемы.

Теория ПЛШ занимает прочное, незыблемое место в славистике. Ее принципы настолько хорошо известны, что мы не сочли необходимым во всех местах, где приводим отдельные концепции или термины, поднимать всю историю того или иного частного вопроса. Истории взглядов ПЛШ посвящена солидная литература, ср. работы Вахека [Vachek 2005], для нас же самой важной публикацией стала книга И. Небеской [Nebeská

О воздействии политической обстановки на российскую славистику межвоенного периода (даже далеко еще не на уровне научных подходов, а на уровне человеческих жизней) см. из новейшей литературы [Робинсон 2004]. Неблагоприятные судьбы славистики в советской России (включительно и в послевоенный период) комментирует вкратце в своей информации о книге Л.П. Лаптевой «История славяноведения в России в XIX веке» (М., 2005) Иржи Мудра [Mudra 2006].

⁷ Ср., к примеру, из чешской литературы монотематические номера журнала *Sociologický časopis / Czech sociological Review* 38 (2002), 4 и особенно 42 (2006), 2 [Neustupný 2002], но тут можно привести также и длинный перечень хрестоматийных и энциклопедических источников. Из чешской литературы, например, и Г. Нещименко цитируемый [Slovník 2002: 432–433, 485–486, 237; Salzmann 1996: 109–123; Černý 1998: 69–70] (ср. также уже упомянутую монографию В. Цврка [Cvrček 2006]).

⁸ Книги «Проблемы славянской диахронической социолингвистики» (М., 1999) в пражских библиотеках до сих пор так и нет. Необходимо, однако, констатировать, что ее концепция коренным образом отличается от нашего подхода – это конкретные анализы определенных черт субстанциальной (корпусной) стороны нормы литературного языка, наш же труд представляет, как было сказано, опыт синтетического функционального (статусного) анализа. Именно это обстоятельство, на наш взгляд, полностью оправдывает использование результатов аналитических материалов корпусных работ. Если бы мы знали о книге, разрабатывая свой текст, статья Г.К. Венедиктова непременно вошла бы в число использованных трудов, ср. зам. 9.

1996]. В ней со всеми подробностями рассмотрено, как развивались понятия норма и литературность. Характерным для этого описания, как и для других работ, включая и Лингвистический словарь Пражской школы, составленный Й. Вахеком [Vachek 2005], является то, что в трудах ПЛШ, особенно раннего периода, редко находим однозначные и исчерпывающие дефиниции отдельных понятий. В этом плане, полагаем, правомерно отметить, что раз уж и Г. Нецименко свои идеи базирует также на основе теории Пражской школы, то не должен удивлять тот факт, что, двигаясь в том же самом направлении исследовательского поиска и находясь на правильном пути, мы неминуемо приходим к параллельным, тождественным или близким суждениям и выводам о сущности описываемых явлений.

1.5. Еще одно обстоятельство, затрудняющее научную дискуссию, состоит в том, что статья Г. Нецименко не является рецензией на нашу книгу. Г. Нецименко таким образом может позволить себе **не обсуждать наш труд как единое целое**, а фактически останавливается (кроме Введения) лишь на теоретической главе нашего труда (с. 13–172). Она может **ни слова не упомянуть о научном вкладе** теоретической части (ср. 2). Таким образом, Г. Нецименко **вовсе не обращается к ядру нашего исследования – описанию болгарской языковой ситуации**. Практически полностью пренебрегая прикладными главами [Нецименко 2005: 68], которые представляют как исходную точку, так и цель нашего исследования, Г. Нецименко «не находит» иллюстративного материала для теоретической модели, предлагаемой в нашей книге. В теоретической главе **трудно представить иллюстративный материал корпусного** (по терминологии Г. Нецименко – «языкового») **характера**, которого ей не достает⁹. Материал у нас представлен в прикладных главах, синхронной и диахронной, которые составляют примерно 60% всего текста (с. 173–425). **Характер этого материала подчинен концепции** всей книги, т.е. **социолингвистическому анализу языковой ситуации**. Целью описания является структурный и функциональный (т.е. статусный, по терминологии современной социолингвистики), а не субстанциальный (соответственно – корпусный) анализ языковой ситуации.

В этом заключается еще одна причина того, почему описание языкового пространства в нашем труде структурировано по типу коммуникации, так как именно функциональный подход предостерегает от априорных заключений по поводу конкретных языковых идиомов [Гладкова, Ликоманова 2002: 73–113].

⁹ В связи с этим нельзя не удивляться упрекам в том, что диахронный и синхронный материал не основывается на сходном корпусе языковых фактов [Нецименко 2005: 90]. Такая оценка выявляет некоторую неориентированность в возможностях диахронной социолингвистики. Источники диахронной информации могут собираться только на основе в письменном виде дошедшей до нас информации. Они носят двойкий характер, это статистические данные о сохранных до наших дней текстах и связанная с ними историческая информация, и метаязыковые высказывания по поводу языка, языковой практики и теории и пр., ср. по этому поводу нашу оценку болгарского языкознания [Гладкова, Ликоманова 2002: 176]. Основным же методом сбора материала синхронной социолингвистики являются опросы и анкеты.

Несостоятельно также мнение, что диахронная глава основывается не на прямых, а на косвенных источниках [Нецименко 2005: 86] – для социолингвистики прямыми источниками являются именно метаязыковые высказывания. Необоснованным представляется и упрек, что в книге будто отсутствуют данные лингвистических исследований, а используются лишь труды историков и литературоведов [Там же: 87]. Из языковедческих трудов, использованных в данной главе, хотелось бы упомянуть, хотя бы, труды А. Теодорова-Балана, К. Босилкова, К. Вачковой, Г.К. Венедиктова, М. Виденова, Е. Георгиевой, П. Гиля, Р. Гиляна, К. Гутшмидта, Е. Деминой, Ст. Жерева, Д. Ивановой, Н. Ивановой, Ц. Ивановой, В. Константиновой, Д. Лекова, А. Минчевой, В. Мурдарова, Х. Първева, Р. Русинова, Е. Солак, В. Станкова, Р. Цойнской и другие, среди которых немало выдающихся русских ученых.

2.1. Необходимо отметить, что концепция бинарности структуры (этнического) языка и проекции коммуникативного пространства на языковое применяется в теоретических рассуждениях не только Г. Нецименко или нами. Ограничимся двумя примерами научных трудов, где оба принципа вполне отчетливо прослеживаются и в случае которых преемственность относительно концепции Г. Нецименко исключена.

Бицентричность строения коммуникативного и языкового пространства отчетливее видна в плане диахронии, не удивительно поэтому, что в приводимых примерах мы имеем дело с историей языка. Итак, воспроизведем бицентричную схему, опубликованную одаренным историком болгарского языка К. Босилковым [Босилков 1979], которая представляет болгарскую языковую ситуацию эпохи национального возрождения¹²:



Работа Босилкова цитируется в нашем труде [Гладкова, Ликоманова 2002: 39]. Полагаем, что дальнейшие комментарии излишни, просим обратить внимание на характеристику смежной периферии у Босилкова.

Раскроем еще раз использованную в книге систему аббревиатур, подвергнутую Г. Нецименко критике. Их, аббревиатур, всего лишь 9, что не так уж и много [Нецименко 2005: 67]. Для удобства читателей они приводятся в таблице в начале каждой главы. Так как эти термины целенаправленно составлены как система, мы надеялись, что их использование не затруднит особо понимание текста, а наоборот, подчеркнет системный характер модели.

КП	коммуникативное пространство	ЯП	языковое пространство	НЯ	национальный язык
КСф	коммуникативная сфера	ЯСф	языковая сфера	СЯ	стандартный язык
Ксит	коммуникативная ситуация	ЯСит	языковая ситуация	РР	разговорная речь

Одних только заметок Г. Нецименко, связанных с нашим выбором термина **стандартный язык**, достаточно, чтобы продолжить славистическую дискуссию о нем (ср. также [Gladkova 2002]). В нашей книге, в диахронной главе, подробно аргументируется и использование термина **коллоквиальный язык** [Гладкова, Ликоманова 2002: 180–181].

¹² В схеме не воспроизведена внутренняя штриховка отдельных полей, не удалось также при помощи пунктира передать внутренние контуры в верхней части схемы (между вариантами).

Наконец, именно поэтому суть нашего изложения, касающегося принципов корпусного описания языка, сосредоточена в описании языкового пространства, конкретно в частях книги, в которых говорим о норме и вариантности [Там же: 126–146], разновидности и стиле [Там же: 147–172]. Сюда же относится и проблематика носителя языка [Там же: 113–125], ср. структуру описания языкового пространства [Там же: 73–74].

Нельзя согласиться с тем, что собственно языковая проблематика, в том числе и главная тема работы – языковая ситуация (poimen est omen) – занимает подчиненное положение, отступая на второй план [Нещименко 2005: 74]. Такое впечатление может возникнуть только тогда, когда теоретическое описание языковой ситуации редуцируется лишь на описание языкового пространства (функциональную дифференциацию этнического языка по терминологии Нещименко) и не уделяется должного внимания процессам на уровне коммуникативного пространства. Если же прикладные главы при оценке труда вообще не принимаются во внимание, о чем Г. Нещименко открыто говорит, то тогда, полагаем, не совсем уместно делать подобные обобщающие заключения.

2. Основной целью данной статьи является изложение нашей позиции в сопоставлении с теоретической моделью Г. Нещименко. Мы учитываем не только ее идеи (бинарность структуры этнического языка, взаимосвязь коммуникативного и языкового континуума), но **выстраиваем свою оригинальную интерпретацию языковой ситуации:** (1) в ней разграничивается коммуникативное и языковое пространство; анализируется воздействие коммуникативного пространства на языковое по принципу классического противопоставления *langue et parole*; (2) вводятся четкие принципы структуризации обеих плоскостей (коммуникативные параметры и факторы, соотношение структурной и стилевой вариантности); (3) при анализе применяется структуралистическая теория признаковости (привативные и эквиполентные оппозиции); (4) объясняется процесс структурирования языкового пространства и функционирование этой структуры (соотношение языковых идиомов и типов коммуникации); (5) определяется принципиальное отличие нормы стандартного языка и нормы разговорных идиомов (селекция и комбинация); (6) как признак, свойственный сфере стандартного языка, выделяются символические функции; (7) во внимание принимается динамика развития языковой ситуации, т.е. учитывается и диахронный аспект (тип коммуникации для объяснения структуры языкового пространства в конкретном историческом моменте); (8) концепция исходит из анализа болгарской ситуации в сопоставлении с чешской; (9) итогом исследования, ведомого с учетом выше перечисленных принципов, являются оригинальные заключения, дефиниции, интерпретации отдельных элементов языковой ситуации (поверхностно, быть может, и схожие с концепцией Нещименко, но по сути отличные)¹⁰.

Позволим себе обратить внимание также и на принципы, введенные нами в описание языковой ситуации. При изложении будем использовать свою терминологию¹¹.

¹⁰ Это выражено в следующей оценке Г. Нещименко: «Впрочем, если бы они сохранили в своих схемах исконные надписи, имеющиеся в моей монографии, то тогда можно было бы говорить не просто о научной преемственности, а уже о чем-то совсем другом!» [Нещименко 2005: 80]. Дело вовсе не в других надписях, а в другом предмете и цели описания, в других понятиях, в других принципах описания модели и другой интерпретации схемы, которая сама по себе различается даже в основных чертах, ср. дальше. Что же делать, коллеги, с научной преемственностью?

¹¹ Таким образом мы поступали в своей книге. Замечания Г. Нещименко в этом смысле оправданы, эта заметка, даже на фоне приведенных ею примеров терминологических дискуссий и несомненного права автора на собственный аргументированный выбор терминологии [Нещименко 2005: 71–74], заслуживает внимания. При введении каждого нового термина мы, однако, стремились сопоставить наши понятия и термины с теми, которые находились нами в использованной литературе.

Второй пример, на котором мы остановимся, – структуризация языковой и культурной картины в истории русского языка выдающимся чешским русистом и членом Пражского лингвистического кружка О. Лешкой [Leška 2003]¹³. Воспроизводим его схемы максимально близко к оригиналу, не переводя на русский язык:

Fig. 1. Schéma ruské kultury do 16. stol. [Leška 2003: 333, 356]

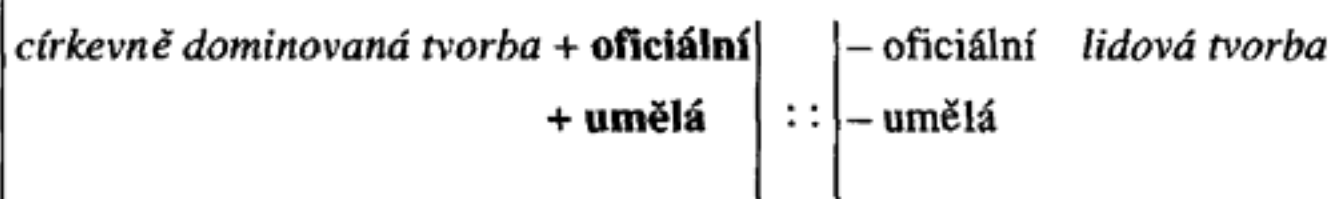


Fig. 2. Schéma jazykové situace na Rusi (na prahu historické doby do 16. stol.) [Leška 2003: 333]

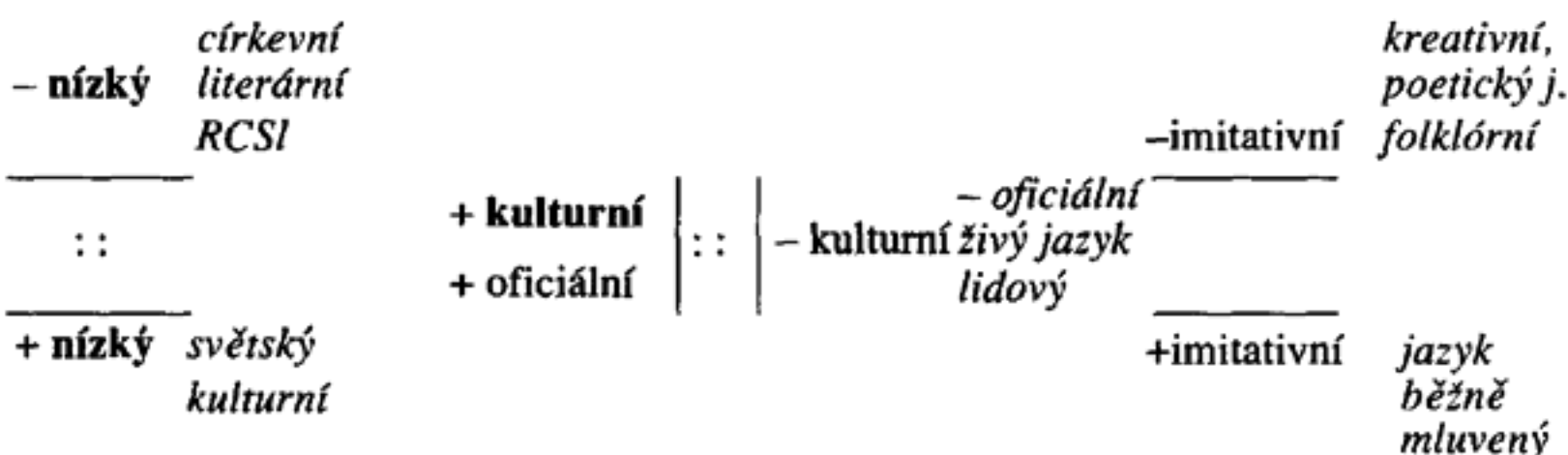


Fig. 3. Schéma ruské kultury od konce 16. století [Leška 2003: 356]

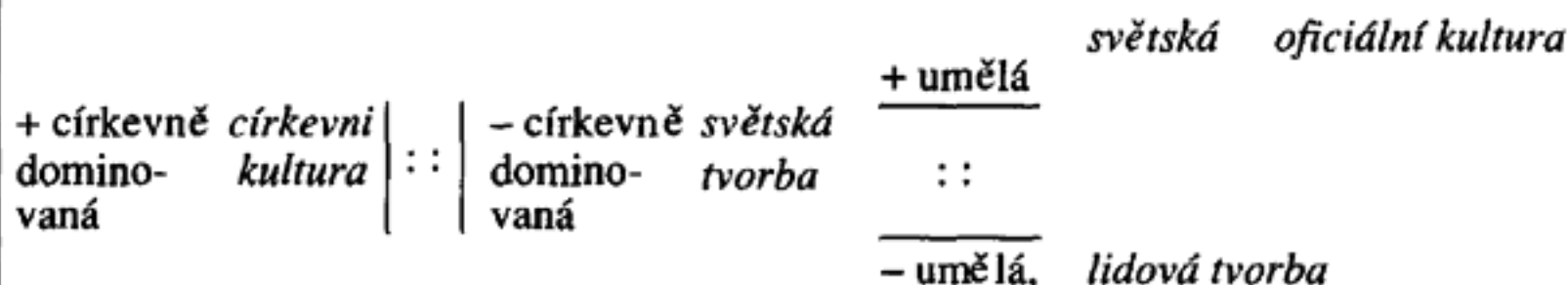
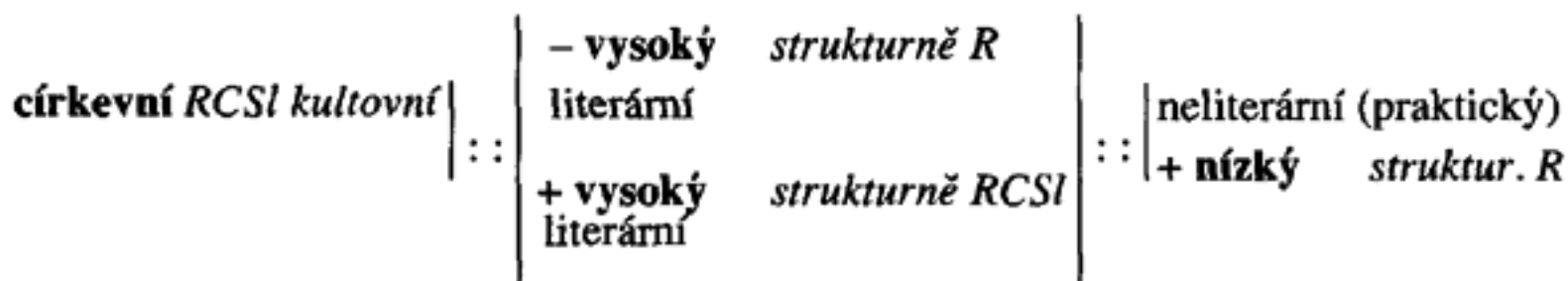


Fig. 4. Schéma jazykové situace na konci 17. stol. Jazyk v projevu psaném [Leška 2003: 360]



¹³ Монография О. Лешки является первым систематическим исследованием русского языка во всей его широте (по словам автора [Leška 2003: XXV]), результатом продолжительного, кропотливого исследования. Книга, к сожалению, вышла с двадцатилетним опозданием, как отмечает издатель [Там же: XIX], уже после смерти автора в 1997 г. Текст, посвященный социолингвистическому анализу истории русского языка, находится в главе *Historické pozadí spisovné ruštiny a základní etapy jejího vývoje* [Leška 2003: 327–394]. Вызывает сожаление, что в России этот поистине эпохальный труд О. Лешки пока что остался незамеченным.

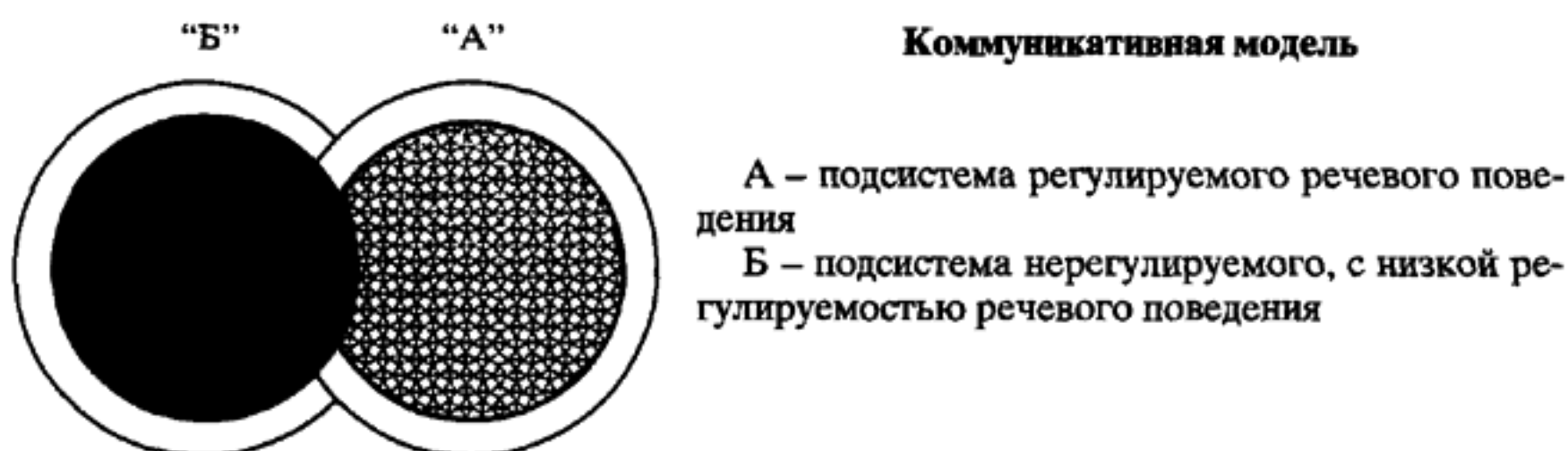


Схема коммуникативного и языкового пространства по [Гладкова, Ликоманова 2002: 16]



необходимым попытаться ввести единую терминологию в целях создания предпосылок для дальнейшего сопоставительного анализа функционирующих в славянских странах стандартных языков» [Гладкова, Ликоманова 2002: 14].

КСф – элемент частного деления КП по классической дефиниции ПЛШ (ср. [Барнет 1988б: 174–175, Едличка 1988а: 44]) для специализированных типов коммуникации, определенными общими параметрами функционально-коммуникативной деятельности (ср. функционально-коммуникативную сферу у [Едличка 1988б: 104] или же ситуативно-функционально-коммуникативную сферу [Там же: 141–142]). КСф здесь используется нами только как родовое понятие, т.е. абстрактно-теоретический конструкт. Этот термин, по словам Г. Нещименко [Нещименко 1999: 34], уже занят, но мы хотим подчеркнуть, что это понятие, судя по публикациям [Аврорин 1975; Никольский 1976; Вагнет 1977], осталось до сих пор неразработанным и довольно нечетким. Мнения упомянутых авторов, хотя и схожи, но не только не совпадают, но и во многом расходятся, учитывая разницу в терминологии, например, в принципах выделения КСф или в перечне окончательного числа КСф (см. об этом [Едличка 1988б: 141–142]). С расхождением трактовок связано перекрещивание и смешение социально-коммуникативных и лингво-коммуникативных критериев выделения КСф. Это лишний раз убеждает нас в правоте новой дискуссии на эту тему.

Принципиальный постулат о выделении КСф на основе общих функциональных признаков¹⁴ коммуникативной деятельности остается в силе, более того, мы считаем, что

¹⁴ О понятии ср. ниже.

КСф является ключевым социолингвистическим понятием, и соотносим его непосредственно и только с коммуникативными параметрами¹⁵ в соответствии с представлениями ПЛШ.

В научной литературе обыкновенно принимаются во внимание лишь крайние полюсы действия коммуникативных признаков (например, равнопоставленность/неравнопоставленность коммуникантов). Мы, однако, считаем, как уже было упомянуто выше, что расстояние между этими полюсами носит г р а д у а л ь н ы й х а р а к т е р и образует переходную область, которая, по сути дела, является немаркированной по отношению к обоим маркированным полюсам (воздействие данного параметра на коммуникативное поведение минимализируется вследствие нейтрализации, снятия противопоставления обоих признаков данного параметра). Это оправдывает целесообразность введения понятий *ц е н т р* и *п е р и ф е р и я*. Ослабление воздействия признака данного коммуникативного параметра приводит и к ослаблению типичных для него черт коммуникативного поведения и к возможности интерференции с коммуникативным поведением, характерным для обратного признака. Даже такая резкая и, казалось бы, однозначная граница, как граница между устной и письменной формой общения, в последнее время, благодаря использованию для коммуникации технических средств, размывается (введение понятия фиксированности текста, также вторичное функционирование признаков). Это положение подтверждает идею континуальности КП.

Характер отдельных коммуникативных ситуаций, в свою очередь, может совпадать по одному или нескольким признакам с другими КСит, образуя уже более общие элементы КП. Один и тот же коммуникативный признак рефлектируется в однотипном поведении в различных ситуациях, образуя сферу функционирования данного признака. Такое явление мы называем коммуникативной сферой. Результатом функционирования коммуникативного признака является определенное внутренним регламентом коммуникативное поведение (на уровне языка – нормой), которое для соответственной КСф является типичным: немаркированным по отношению к данной КСф, но по отношению к КП как одному целому, и особенно к КСф противоположного признака – маркированным.

Каждая отдельная сфера соотносится в рамках КП со сферой функционирования оппозиционного по данному параметру признака. Каждая пара сфер, соотносимых по признакам, присуща одному параметру, и теоретически должна охватить все КП, образуя два центра и две периферии.

Периферии соотносимых КСф, которые находятся в зоне, где данные КСф соприкасаются или пересекаются, образуют зону нейтрализации проявления типичных признаков коммуникативного поведения в данных КСф (см. схему). В этой зоне усиливается возможность использования средств коммуникативного поведения обоих типов без дополнительных коннотаций (это «смешанное» поведение оценивается как нормальное, нейтральное, непризнаковое, что дает нам право акцентировать в нем различия не в «происхождении» тех или иных черт из одной или другой сферы, а именно в их однообразном с точки зрения коммуникации функционировании).

Периферии же на другой стороне от центра КСф (более отдаленной от центра КП) отличаются не только от другого полюса (от КСф с обратным признаком), но и от центра собственной сферы более высокой частотностью (более) признаков средств и – в чем мы усматриваем их периферийность по отношению как к целому КП, так и к данной КСф – заниженной способностью (и даже, по всей вероятности, неспособностью) сочетаться со средствами с обратным знаком по данному признаку или со средствами с обратным знаком по другим параметрам (возможность выбора языковых средств в юрисдикции: формулировки законов и других юридических текстов отличаются ярко выраженными чертами стандартности, в них используется книжный стиль). Для сравнения укажем на аналогичную схему, описывающую ситуацию создания болгарского

¹⁵ О понятии ср. ниже.

стандартного языка из двух стихий – книжной и народной – у К. Босилкова в [Исследования 1979: 41].

Отдельные пары сфер могут быть выделены на основе одного параметра (определенное коммуникативное поведение характеризует, например, официальную и неофициальную сферу коммуникации) или на основе комбинации параметров и соответственно признаков (например, разница в коммуникативном поведении по выше приведенным признакам углубляется, если они сочетаются с признаками публичность/непубличность и еще больше, если они сочетаются также и с признаками подготовленность/неподготовленность – все с соответствующим знаком + / –).

Таким образом, КСф могут иметь характер разного порядка, пересекаться (например, сфера письменной коммуникации может частично пересекаться со сферой интерперсональной коммуникации) или наслаиваться (сфера разновременной коммуникации будет частично совпадать со сферой подготовленной коммуникации). Такое наслаивание, очевидно, приводит к поведению, в котором чувствуются центростремительные тенденции, воздействие данного свойства, регламентированность (императивность регламента) поведения усиливается, придавая коммуникативному поведению черты, все более типичные для данной сферы. Определенная концентрация совпадающих признаков создает более четкие контуры коммуникативного поведения.

И, наоборот, разница в поведении между обоими полюсами будет уменьшаться в комбинации признаков с обратным знаком (например, официальная непубличная неподготовленная коммуникация). Воздействие признаков с обратным знаком нейтрализуется, и в поведении, определенном таким сочетанием, будут чувствоваться тенденции, центробежные по отношению к типичному поведению: оно будет восприниматься как менее признаковое для данной сферы, как периферийное (в рамках теории ПЛШ воспользуемся и понятиями слабая и сильная позиция данного признака).

Исключением являются выше упомянутые различные от остальных признаки, (не)знание норм коммуникативного поведения, соотносимое с параметром коммуникативной компетенции. Их особое положение вытекает из того, что они являются свойствами, которые характеризуют участников коммуникации как таковых, т.е. они приобретены вне конкретной КСит, коммуникативная компетенция вступает в конкретную КСит как фактор, не порожденный ею самой, но определяющий саму коммуникацию существенным образом. Соотношение этих признаков имеет эквиполентный характер – их необходимо интерпретировать как оппозицию $A^1 : A^2$, т.е. (не)знание норм коммуникативного поведения в регламентированной сфере : (не)знание норм коммуникативного поведения в нерегламентированной сфере. Присутствие/отсутствие данного признака характеризует по отдельности обе сферы и кажется признаком абсолютным.

Итак, КП, не теряя своего континуального характера, приобретает вид рельефного ландшафта, в котором наблюдаются отдельные центры (пики) и постепенные переходы (впадины) от одного центра к другому. При этом отдельный центр может быть выделен на основе доминирования только одного признака.

Как было показано в схеме, признаки отдельных параметров расположены в КП в одном направлении таким образом, что каждый из параметров распределяет КП на две относительно обособленные функциональные подсистемы (с самым высоким пиком). В основе характеристики каждой из этих двух подсистем, как показано в таблице, лежит один из полюсов теоретически всех признаков с тем же знаком «+» или «-». Иными словами, поляризация КП является результатом тенденции, когда в одном направлении собираются коммуникативные признаки с тем же знаком. Дифференциация КП, таким образом, характеризуется биполярной структурной упорядоченностью. По направлению к центру каждой из двух подсистем КП число определяющих параметров и интенсивность проявления отдельных признаков нарастает, что находит свое отражение в повышенной мере требовательности соответствующего коммуникативного поведения.

По направлению к смежной периферии этих подсистем наблюдается противоположная тенденция – к меньшей мере требовательности соответствующего коммуникативного поведения и к менее четко определенному регламенту, т.е. к возможности более непризнакового, нейтрального по отношению ко всему КП поведения или даже к использованию средств, типичных для обратной подсистемы («смешанное» поведение).

По направлению к периферии на противоположной стороне предполагается углубление признаковости поведения (например, ббльшей частотностью или же более яркой выраженностью ее). Характерным проявлением того, что эта часть КСф является периферийной, является факт, что присущее ей коммуникативное поведение используется в ограниченных и совсем специфичных случаях «сверхпроявления» признака (ср. к примеру, формулировку «za hranicí běžné spisovnosti pokračují prostředky archaické...» [Čechová 1996: 25]). Таким образом, принцип функционирования этой «общей» сферы абсолютно соответствует влиянию на коммуникативное поведение в рамках каждой отдельной «частной» сферы. Такая интерпретация, кстати, дает возможность более четко объяснить положение отдельных КСф именно по отношению к одному из двух «общих» центров.

Если вернуться к мнению Г. Нецименко, которая для описанной «общей» сферы вводит понятие коммуникативного ареала, с помощью применения которого намечает членение КП на коммуникативные единицы более высокой степени абстракции. С тем, что уровень выделяемых коммуникативных единиц, расчленяющих КП, может быть различным, мы согласны, и в нашей схеме очерчиваются два центральных пика более высокого ранга. Но одновременно надо задаться вопросом, отличается ли принцип выделения коммуникативного ареала от выделения КСф. На наш взгляд, системного, качественного различия не намечается, поскольку выше описанные наслоения могут иметь многоярусный вид. Разница состоит не в качественном, а в количественном показателе, и, соответственно, нет необходимости вводить лишний термин (или термины). Бифокусную организацию КП с функциональной точки зрения выгоднее описать на базе КСф именно с помощью понятий центр и периферия, поскольку так можно избежать представления о четком размежевании КП, которое, по нашему убеждению, не соответствует действительности.

Тезис Г. Нецименко о том, что теоретическая концепция нашей книги не оригинальна, на наш взгляд, несостоятелен. Мы убеждены, что ни в коем случае **нельзя говорить о каком бы то ни было заимствовании ее концепции** [Нецименко 2005: 78]. Все различия между нашими моделями, а они затрагивают самые существенные черты, неправомерно интерпретировать как «деформации», «видоизменения» или же «искажения». Они являются результатом другой оценки реальных явлений и результатом осмысления теоретических установок ряда ученых. Что касается того, удалось нам или нет описать языковую ситуацию, соблюдая структурный и функциональный подход [Нецименко 2005: 75], стоит заметить, что моделирование должно служить более четкой ориентации в коммуникативном и языковом пространстве, но ни в коем случае не должно упрощать общую картину. Мы стремились к тому, чтобы создать инструментариум, при помощи которого можно было бы описать явления языковой ситуации, учитывая как реальные процессы, так и основные ее контуры. Остановимся подробно на самых важных.

2.2. Мы сочли оправданным заменить термин (не)регулируемое¹⁶ речевое поведение термином (не)регламентированная (с точки зрения коммуникативного поведения) сфе-

¹⁶ Обширная полемика по этому поводу [Нецименко 2005: 80–82] вызвана тем, что Г. Нецименко отказывается принимать во внимание нашу точку зрения и спорит с нашими установками на основе своей дефиниции термина. Тот факт, что мы ставили себе целью описать языковую ситуацию как комплексное явление, а не исходили только из ракурса членения этнического языка, привел нас к необходимости более четкого разграничения явлений языкового и коммуникативного пространства, ср. описание нашей модели в 2.2 нашей работы и таблицу в Приложении к ней. С этим Г. Нецименко может не соглашаться, но оспаривать наши положения на основании собственной дефиниции, на наш взгляд, представляется не совсем корректным.

ра, считая, что он более удачно передает сущность этой оппозиции: в ней на основе коммуникативной деятельности общества, т.е. традиции, консенсуса, нормы, регламент и р о в а н определенный тип коммуникативного поведения, который заставляет коммуниканта по возможности (и по желанию) подчиниться этому регламенту или, по крайней мере, считаться с ним, регулировать свое поведение. Регламент – это объективно существующее требование коммуникации, атрибут данной сферы, регуляция же – параметр индивидуального поведения, вопрос субъективной интенции коммуниканта (не подчиняясь данному регламенту, он не отрицает его воздействия на коммуникацию, а ставит себя в особое положение со всеми вытекающими последствиями для коммуникации). Принципы функционирования регламента и его характера описываются в других частях этой работы (см. раздел о перформанции).

Очевидно, что в одной из сфер этот регламент слабее, он не так категоричен, так что эту сферу можно характеризовать отсутствием такого признака как н е р е г у л и р у е м а я, н е р е г л а м е н т и р о в а н н а я сфера. Этот термин оправдан с точки зрения того, что в данной сфере свобода выражения достигает своего максимума. Поведение, не соблюдающее регламент, воспринимается в коммуникативной сфере нерегламентированного поведения как нетипичное, признаковое, точно так же, как отступления от регламента в регламентированной сфере (например, использование стандартного языка в повседневной устной коммуникации молодежи носит сильно отрицательный коммуникативный эффект, или же использование диалекта в условиях столичного повседневного устного общения носит определенные отрицательные коннотации, см. [Виденев 1993]. Различие обеих сфер заключается не в присутствии или отсутствии коммуникативного регламента, а в его характере, т.е. в проекции на ЯП – в характере нормы речевого поведения, конкретно в черте, названной нами в з а и м о о б у с л о в л е н н о с т ь и в з а и м о п р и е м л е м о с т ь н о р м ы. Данного противоречия, впрочем, не решает и термин Нецименко: речевое поведение также регулируется в обоих ареалах, но регуляция в ареале нерегулированного поведения, кажется, отсутствует, поскольку норма носит другой характер [Гладкова, Ликоманова 2002: 25–26].

2.3. Коммуникативное пространство описывается нами в соответствии со структурой коммуникативного акта и коммуникативной ситуации Р. Якобсона [Якобсон 1989]. В описании структурной модели мы исходим из общепринятой схемы коммуникативного акта Р. Якобсона [Гладкова, Ликоманова 2002: 41–55]. Это позволяет учесть не только статус адресанта и адресата, но и принять во внимание остальные компоненты коммуникации: код, сообщение, контекст, контакт, – с целью более объективно обосновать выводы о доминирующих речевых параметрах и компонентах в современной языковой ситуации (ср. другую проекцию, например, у Виденова и Уличного [Виденев 1990; Uličný 1998]. Релевантный набор коммуникативных параметров, а не инвариантные представления о разновидностях языка, способен объективно интерпретировать речевое поведение коммуникантов в конкретной ситуации и системный принцип функционирования языковых средств, создающий структуру национального языка. Схема Якобсона постулирует акцентированную нами функциональность как основной принцип построения схемы, предложенной нами, а кроме того, предлагая свою точку зрения, позволяет нам остаться в русле ПЛШ. (Ср. [Едличка 1988: 41] о связи проблематики языковой ситуации с теорией коммуникации. Вызывает удивление тот факт, что данный тезис до сих пор остался не достаточно разработанным [Гладкова, Ликоманова 2002: 14].)¹⁷.

2.4. Членение КП и ЯП в духе пражского структурализма подвергается четкому структурному анализу, что отчетливо видно и в пассаже в п. 2.2 нашей работы.

Коммуникативные параметры находят отражение в ЯП в форме как привативных, так и эквиполентных оппозиций, которых большинство¹⁸. В отличие от коммуникатив-

¹⁷ См. таблицу в приложении к статье [Гладкова, Ликоманова 2002: 15].

¹⁸ Ср. таблицу в приложении.

ных параметров, которые имеют преимущественно характер привативных оппозиций с признаковым и непризнаковым членом, преобладающее большинство языковых параметров противопоставляется в регламентированной (стандартной) и нерегламентированной (разговорной) языковой сфере как эквиполентные признаки градуального характера: они идентичны по своей сущности в обеих сферах, но соотнесены с различным кодом, который функционирует в них как основной (о ситуации в разговорной сфере, конкретно о положении диалектов см. ниже). Это подтверждает наш тезис о том, что основное различие между этими двумя сферами лежит в характере регламента коммуникативной плоскости (в ЯП – нормы), а не в принципиальном субстанциальном или функциональном противопоставлении самих разновидностей.

Привативные оппозиции на плоскости ЯП (например, вынужденность / спонтанность речевого поведения, (не)экономичность, (не)контролируемость речевого поведения), так же, как все привативные оппозиции на плоскости КП, противопоставляются крайними полюсами и образуют смежную зону нейтрализации [Гладкова, Ликоманова 2002: 60–61]¹⁹.

2.5. Важной в нашей концепции считаем идею объяснения признаковости сферы регламентированного коммуникативного поведения на основе символических функций, теории, выдвинутой в славянском языкознании П. Гарвином [Garvin 1959], в более развернутом виде она представлена, например, в [Gladkova 2002].

Символические функции стандартного языка (интеграция, дифференциация, репрезентация и референция) являются репрезентантом культурных потребностей данного общества на определенном этапе его развития, и их проявление зависит не только от их возникновения, но и от их осознания и рефлексирования в обществе, т.е. обусловлены субъективным фактором.

Опосредствованность соотношения этих функций с первоначальной – коммуникативной – очевидна, а их взаимовлияние таким образом субъективировано. Разная природа коммуникативных и символических функций проявляется в различного типа мотивах выбора отдельных элементов регламента. В случае коммуникативной функции как единого средства общенационального общения нужно, однако, исходить из ее двойкой природы, поскольку она обладает и символическим значением. Схематически

¹⁹ Чтобы показать различия по отношению к концепции Нецименко, позволим привести пассаж об интерпретации смежной периферии обеих коммуникативных сфер и критике понятия смешанных текстов, с которым работает и Г. Нецименко, несмотря на то, что от границ между коммуникативными сферами отказывается. Этот пассаж может послужить еще одним примером того, что мы стремились последовательно оперировать всеми тезисами, вытекающими из нашей концепции: «Понятие границ КСф приводит к понятию смешанных текстов и промежуточных образований (ср., например [Крысин 1989: 31]). На наш взгляд, такие понятия исходят именно из представления о дисконтинуитете КП и соответственно языкового пространства. Интерпретация так называемых смешанных текстов – вопрос поиска не субстанциальных, как это обычно принято делать, а функциональных характеристик: смешанный текст различным образом в различных сферах противопоставляется чистому тексту в зависимости от того, на фоне какого для данной КСф типичного речевого поведения его надо рассматривать. Чистый текст... на практике не существует, соответственно, по нашему мнению, нет необходимости говорить и о смешанных текстах. Можно говорить лишь о том, насколько данный текст уходит от центра данного регламента (нормы) речевого поведения и насколько такое поведение является типичным для данной КСф, и насколько оно допустимо (функционально), т.е. насколько требовательность данного регламента ослаблена в силу снятия основного противопоставления коммуникативных признаков данного параметра (параметров). С функциональной точки зрения целесообразно, что, кстати, признается этими же авторами, считаться с абстракцией чистой разновидности (субстанциальной и функциональной), которая, очевидно, функционирует в языковом сознании каждого коммуниканта как *tertium comparationis* (референтное поведение), с которым он сравнивает поведение свое и других коммуникантов в данной КСф. Но тут мы приближаемся к понятию нормы» [Гладкова, Ликоманова 2002: 32–33].

можно, видимо, противопоставить созидающий, креативный, продуктивный, открытый принцип строения нормы, присущий всякому коммуникативному средству на основе коммуникативных функций, и ограничивающий, селективный, субъективированный и, особенно в фазах становления норм СЯ, непродуктивный принцип, основанный на символических функциях.

На этой основе можно объяснить динамику развития норм СЯ. В разные периоды преобладают различные принципы выбора нормы: коммуникативные уступают символическим (периоды роста пуризма, например), и, наоборот, в зависимости от конкретных исторических условий развития нации в данный период. Такое развитие в свою очередь находит отражение в акцентах языковой культуры (от индивидуальных споров об уместности того или иного средства до синтетичного функционального описания структуры СЯ).

Выполнение стандартным языком символических функций создает представление о более высоком статусе СЯ, который потом механически переносится и на выполнение им чисто коммуникативных функций. Более высокий ранг СЯ в прошлом определялся скорее сферой его функционирования (ср. главу о культурной коммуникации, 1.7.2). Он подкрепляется и требованием его обработанности (а также и другими чертами – своеобразностью, необычайностью в обиходном общении), которое с древнейших времен определяло его место в иерархизированном представлении о мире, и в частности, о языке. Таким образом, решение вопроса, занимает ли СЯ в структуре языка более высокий ранг, чем другие разновидности, имеет два измерения: с точки зрения коммуникативных функций, очевидно, для такого определения нет оснований (по крайней мере, в настоящий период), но с точки зрения развития языковой ситуации, в особенности связанной с социальными коннотациями сферы его функционирования, такое субъективное восприятие его места находит оправдание. Ответ на данный вопрос, однако, зависит также и от того, разновидность какого типа противопоставляется СЯ в другой, нерегламентированной сфере, поскольку недопустимо интерпретировать развитие только одной сферы без учета контекста всего ЯП. В настоящее время социально и территориально СЯ противопоставляется все более универсализированной разговорной речи (РР), которая способна конкурировать с СЯ там, где символические функции неактуальны.

Регламент поведения в дальнейшем начинает функционировать не как средство символических функций, а как традиционно установленный регламент данного типа поведения в строго определенных КСит. Процессу ритуализации коммуникации в данной сфере способствует, конечно, и сама сущность символических функций (см. раздел 1.7).

Принцип выбора средств объясняется не только (а порой даже не столько) коммуникативными потребностями, а соответствием с другими функциями. Мы назвали этот принцип принципом взаимобусловленности: в качестве средства коммуникации здесь допускаются только такие способы выражения, которые сами являются носителями признака данной сферы или не противоречат ему, являясь нейтральными. Средства, которые становятся носителями коммуникативных признаков с обратным знаком, но по тем или иным причинам коммуникативно необходимы и выгодны и в данной сфере, проникают в нее, только преодолевая (нейтрализуя) именно это ограничение. Здесь проявляется роль субъективного фактора: в сущности, борьба между коммуникативными потребностями и постепенно формализованными качествами регламента, которые вызваны присутствием в исходной фазе символических функций языка, – это и есть ось развития нормы СЯ [Гладкова, Ликоманова 2002: 34–38].

2.6. Все вышеприведенное о норме в регламентированной сфере продолжим характеристикой регламента в сфере нерегламентированного речевого поведения с целью особо подчеркнуть нашу трактовку сути самой нормы при помощи понятий **селекция (взаимобусловленность) и комбинация (взаимодопустимость)** с учетом взглядов Р. Якобсона.

Сферу, в которой категоричного давления регламента не ощущается, мы условно назвали *нерегламентированной*. Контроль речевого поведения в ней не заставляет участников коммуникации расходовать так много энергии, как это происходит в предыдущем случае, чтобы вести себя сообразно регламенту. Но дело не в отсутствии регламента вообще, а в том, что поведение участников коммуникации в этой сфере как бы «естественно», спонтанно, оно формируется благодаря речевому опыту в процессе ежедневной коммуникации. Регламент этого типа общения является естественным следствием повседневной коммуникации, соответствуя на разных этапах ее характеру и потребностям (ср. богатство разновидностей языка, обслуживающих ее на разных этапах развития общества и в разных условиях), и отражает, прежде всего, чисто коммуникативные потребности. Его требования меняются плавно, со скоростью, копирующей динамику социального развития общества, используя все доступные источники средств выражения.

В силу этого он основан на принципе, названном нами *взаимосовместимость средств выражения* в отличие от взаимообусловленности, заложенной в регламентированной КСф; в данную сферу «допускаются» все средства, которые необходимы и выгодны с точки зрения потребностей повседневной коммуникации. Никакая другая характеристика (происхождение, структура, оригинальность, исконность и пр.) не ограничивает такой выбор. Общество никогда не подкрепляет функционирование этого регламента институционально. Формальные «недостатки» здесь компенсируются ситуативной закрепленностью коммуникации. Но о том, что регламент существует и здесь, свидетельствуют случаи коммуникативных затруднений или же срыва коммуникации вследствие недопустимости в данной сфере речевого поведения другого типа (отрицательная социальная маркированность использования СЯ в КСит, в которых такое поведение не предполагается).

Разница в сущности регламента по сравнению с первой описанной сферой заключается в следующем: в данной сфере отсутствуют другие, кроме коммуникативных функций, она не поддается соответственно давлению формализованных условий коммуникации, что в свою очередь не приводит к необходимости создавать для его соблюдения какую-либо институцию. Здесь не функционирует кодификация или другое средство эксплицитной нормы, речевое поведение можно оценивать лишь с точки зрения достижения коммуникативной цели. Объективизировать данный регламент (и управлять им) нет необходимости, поскольку соответствие речевого поведения с ним вытекает из естественной взаимосвязи между формой и функцией языка как коммуникативного средства [Гладкова, Ликоманова 2002: 38–40].

3. НАШИ ПОЗИЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ПУНКТАМ, КОТОРЫЕ В СТАТЬЕ Г. НЕЩИМЕНКО ПОДВЕРГАЮТСЯ КРИТИКЕ

3.1. Соотношение коммуникативного и языкового пространства. ЯП рассматриваемого периода характеризуется теми же чертами, что и КП: оно континуально, рельефно, с плавными перепадами и четкими пиками. Его членение соответствует членению КП по коммуникативным параметрам, которые находят свое отражение как *параметры языковые*: в нем противопоставляются два вида речевого поведения, очерчивая контуры двух центров с перифериями, которые в смежной части образуют зону нейтрализации типичных языковых признаков этих видов поведения. В центрах обеих сфер зарождаются две основные разновидности языка, названные нами *стандартная* и *разговорная* [Гладкова, Ликоманова 2002: 66]. В нашей работе нигде соотношение коммуникативного пространства и языкового пространства не характеризуется как *зеркальное* [Нещименко 2005: 70]. Это было бы в полном противоречии с принципами, которые мы вводим для описания. Наоборот, соотношение КП и ЯП, подвергаемое тщательному анализу, отсылает к терминам *социум – социолема – лингвема* Ю.Д. Дешериева, *социальный коллектив – языковой коллектив* А.Д. Швейцера.

Динамика изменений КП переносится на ЯП с опозданием и не механически. Само ЯП отличается другой скоростью восприятия изменений, чем КП: ЯП отличается в сравнении с КП консервативностью и не копирует точно все изменения КП. Можно говорить о тенденции сохранения за языковыми признаками характеристик, соответствующих первоначальному коммуникативным признакам, воспринимаемых в данной функции как типичные. Процесс дифференциации КП (воздействия дополнительных признаков) не находит точного отражения в ЯП. К примеру, сфера регламентированного поведения создавалась в языковой коммуникации первоначально как сфера письменного (официального, формального, публичного, однонаправленного и пр.) общения, языковые средства соответствовали этой функции, а со временем она охватила частично также и сферу устного, неоднаправленного общения, сохраняя, однако, отпечаток своей первоначальной функции: языковые средства, свойственные новой коммуникативной функции, прокладывают себе путь постепенно, сталкиваясь с консервативностью уже принятой нормы. Такое опоздание особенно сильно проявляется в регламентированной коммуникативной сфере. Там процессу естественного развития языковой ситуации препятствует наличие, прежде всего, кодификации и символические функции. Этот вопрос освещен более подробно в диахронической прикладной главе нашей работы [Гладкова, Ликоманова 2002: 16–17]²⁰.

²⁰ Кроме того, об асимметрии коммуникативного пространства и языкового пространства упоминается и в других местах. В нашем труде также **нигде не говорится об отождествлении строения коммуникативного и языкового пространства** [Нещименко 2005: 74], а наоборот, ср. [Гладкова, Ликоманова 2002: 34–37].

Соотношение КП и ЯП рассматривается нами в частях, посвященных границам КП и ЯП, теме, не затронутой в труде Г. Нещименко. Принципы определения границ КП (этнические, языковые, политические, культурные, экономические) рассматриваются весьма подробно [Гладкова, Ликоманова 2002: 21–23]. Вот как мы объясняем соотношение границ КП и ЯП, стремясь теоретически аргументировать сущность языковой ситуации (не «дихотомическую двуцентровую модель этнического языка»): «Теоретически границы ЯП должны диктоваться границами КП. Поскольку, однако, сами границы КП формируются сложным взаимодействием разного типа факторов, где этнический и языковой принцип лишь только один из многих, очевидно, что такое положение в действительности является скорее исключением, чем правилом. Соотношение границ КП и ЯП исторически меняется, и в динамике развития в новое время налицо тенденция к их все большей взаимосвязанности. Так как язык становится главной отличительной чертой этносов, языковая проблематика здесь занимает центральную позицию (ср., например, обособление в последнее время босненского языка вслед за образованием государства). Рассматривается также и сосуществование в данном КП более чем одного языка» [Гладкова, Ликоманова 2002: 64–65]. Таким образом, наша концепция применима к объяснению коммуникативных сообществ, в которых присутствует больше чем один язык. В связи с этим мы используем при анализе языковой ситуации общепринятые в социологии термины **гомогенной и гетерогенной диглоссии / билингвизма**, ср. например [Успенский 1989].

Дальнейшему анализу асимметрии коммуникативного и языкового пространства посвящена также статья [Гладкова 2002]. **Идея обособления третьего центра на коммуникативной плоскости** (а не на языковой, как утверждается в [Нещименко 2005: 74]) сформулирована в связи со структурными сдвигами параметров стандартного языка. Весь процесс проходит под господством структурного распределения КП на две КСф. Функционирование в массовой коммуникации СЯ – константа, социально закреплённая, принявшая облик ритуализированного поведения и на основе первоначальных коммуникативных функций средств информации еще в рамках культурной коммуникации. Таким образом, в настоящее время особенно сильно чувствуется напряжение между регламентом, нормой поведения и реальными функциями, которые должна массовая коммуникация выполнять. С одной стороны, часть адресатов оценивает «комфорт» массовой коммуникации, с другой – часть адресатов болезненно реагирует на новые, ранее не допустимые типы поведения. Последствия такого развития массовой коммуникации ощущаются особенно в настоящее время [Гладкова, Ликоманова 2002: 111–112].

3.2. Соотношение центра и периферии. Из приведенных здесь и выше фрагментов нашей книги видно, что мы не постулируем для каждой из языковых сфер один идиом [Нещименко 2005: 81], но один **центральный** идиом языка, что никак не лишает нас возможности работать с понятиями центр и периферия (а наоборот, дает возможность объяснить тенденцию развития обеих сфер, которые дифференцируем и называем именно в соответствии с их свойствами). Особенно плодотворным это было при объяснении развития разговорной сферы (ср. [Гладкова, Ликоманова 2002: 76–88, 133–137]).

Ср. характеристику тенденций развития капиллярной коммуникации. Совсем естественно, что в нерегламентированной сфере капиллярной коммуникации одновременно встречаются разные идиомы НЯ, которые с диахронной точки зрения необходимо описать как исторические явления разной древности (и перспективы развития): диалекты, будучи более старыми образованиями, которые все менее способны обслуживать современные коммуникативные потребности общества, вымирают, а субстандартные идиомы глобализируются в разговорной речи (РР), по мнению некоторых специалистов, до масштаба всего ЯП.

Так образуется **центр и периферия** подобного типа коммуникации, в данном случае и КСф. Центральным мы считаем тот идиом, развитие которого показывает тенденцию к расширению охвата данной ЯСф (территориальному, социальному, коммуникативному), заменяя другие разновидности, которые периферийны в силу ограничения диапазона действия (диалектные идиомы). Другой существенной чертой центрального идиома, т.е. РР, является то, что он обслуживает общественный центр, который постепенно приобретает общенациональное значение. Эта разновидность становится типичной, немаркированной для данной сферы, она коммуникативно выгодна. Но она не исключает функционирования других исторически обусловленных разновидностей (диалектов), которые сохраняются только в меру своей коммуникативной выгоды в капиллярной коммуникации примарного сообщества (функция идентификации индивида).

Централизация в этом типе коммуникации – факт несомненный, но она далеко еще не успела преодолеть историческую (территориальную) раздробленность общества. Вопрос интерпретации субстанциальной стороны этих идиомов состоит в том, что можно ли их считать самостоятельными структурными образованиями (например, городские говоры, диалектизмы, идиомы типа *obecná moravština*, *obecná lašština* и другие). Функциональная интерпретация приводит нас к заключению, что коммуникация в этой сфере до сих пор полицентрична, процесс глобализации капиллярной коммуникации, однако, исключительно ускоряется особенно в последнее время под влиянием изменений в регламентированной сфере общения (в массовой коммуникации) [Гладкова, Ликоманова 2002: 85–86].

3.3. О целесообразности введения понятия тип коммуникации для описания языковой плоскости. Г. Нещименко считает его излишним терминологическим перекодированием (неизвестно какого термина, поскольку «высшие коммуникативные функции»

Асимметрию коммуникативного и языкового пространства можно представить так (схема использована впервые Г. Гладковой при выступлении в Лингвистическом обществе в Брно в 2001 году):



или же «непринужденное повседневное общение» ни под какое общее понятие не подведены») [Нещименко 2005: 74].

Понятие языковая ситуация мы не используем симметрично с понятием конкретной КСит, а согласно общей практике как состояние ЯП в данный отрезок времени. В основе описания Ясит, таким образом, лежит описание языковой проекции КП в данном отрезке времени (ср. использование этого термина у А. Едлички, В. Барнета, Д. Брозовича, А.Д. Швейцера, Л.Б. Никольского и др.).

КП состоит из коммуникации различного типа. Понятие типа коммуникации – понятие социологическое и дефинируется довольно комплексной оценкой коммуникативных потребностей общественности на определенном этапе развития, отражая как структуру общества, так и ее цивилизационный (культурный) уровень [Keller 1999: 49 и сл.]. Это понятие соотносимо с КСф: две основные КСф формируются как отражения двух исходных типов коммуникации (капиллярной и культурной). Поэтому для их описания целесообразно использовать инструментарий описания КСф, которая обособляется как функциональная единица, но в момент своего обособления она воздействует на КП уже как структурная единица. Регламент поведения (а на языковой плоскости – норма разновидности языка), выработанный на функциональной основе, начинает воздействовать как один из принципов построения языковой структуры, он формализуется: постепенно, по мере развития типа коммуникации (а он развивается, будучи общественной и исторической категорией) функциональная взаимосвязь с КСф ослабляется: структурный принцип распределения регламента речевого поведения начинает воздействовать как образец референтного (типового) поведения, как своего рода матрица, шаблон поведения в отдельных КСф, но также и КСит (например, в КСит разнопоставленной, непосредственной частной коммуникации коммуникативно обоснованно, выгодно себя вести так, как в этой ситуации принято – нормально, нейтрально, регламентировано и пр. – себя вести). Норма поведения, выработанная на основе КСф, может, однако, вступать в противодействие с меняющимися признаками типа коммуникации – дальнейшее развитие обособляет воздействие этих двух принципов: постепенно КСф функционирует как структурный принцип, а тип коммуникации как функциональный принцип выбора речевого поведения. Такую же параллель между КП и ЯП можно провести на уровне конкретных КСф и вариантности реализации разновидностей (особенно функциональной вариантности) [Гладкова, Ликоманова 2002: 73–75].

4. КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И АРГУМЕНТЫ СТАТЬИ

Считаем уместным заметить, что наше исследование, поданное Г. Гладковой в качестве диссертационной работы для присуждения ей звания доцент (поэтому, кроме прочего, в ней с такой точностью приводится авторство отдельных глав), в 2002 г. специально оценивалось тремя видными учеными: проф. Карлом Гутшмидтом (Германия), проф. Ольдржихом Уличным (Чехия) и доц. Киной Вачковой (Болгария). Все три оценки исходят из знания обоих текстов и нигде нет ни тени сомнения в неэтичном отношении к научному вкладу Г. Нещименко. Нашей книге посвящены и две положительные рецензии [Вачкова 2004; Дюлгерова 2005], в которых книга Г. Нещименко [Нещименко 1999] упоминается при сопоставлении с нашим трудом без каких-либо подозрений насчет научной выдержанности нашего подхода. Обе рецензии подчеркивают новаторство концепции, изложенной в нашей книге.

Что же касается стиля и сложности изложения, можем лишь сожалеть, что Г. Нещименко было так трудно работать с нашим текстом. В критических замечаниях Г. Нещименко смешиваются основные понятия²¹, допускаются неточности или искажения, вы-

²¹ Так, например, утверждение о скачкообразной смене условий функционирования национального языка, которая влечет за собой немедленную и ускоренную реакцию со стороны языка, нет необходимости опровергать утверждением, что развитие языка после «бархатных» революций продолжает оставаться континуальным [Нещименко 2005: 70]. В нашей формулировке нет и слова о дисконтинуитете развития языка.

званные фрагментарностью приводимых цитат и вольностью их интерпретации²². Хотелось бы, однако, чтобы критика не исходила из одностороннего взгляда на проблематику и не навязывала нам свои идеи. При этом условии, полагаем, в книге можно было бы найти и стройность модели, и выдержанность постановок, и последовательность их применения, и четкость, системность изложения, что, кроме прочего, подчеркивается в качестве достоинств книги в вышеупомянутых отзывах.

К нашему изумлению, Г. Нецименко находит в нашем тексте иронию, воинственную тональность, бесцеремонность, высокомерность, оскорбительность, обличительный пафос и прочее [Нецименко 2005: 71, 69, 72, 91, 92, 85]. Надеемся, что изложенная концепция изложения убедит читателя, что ничего подобного в нашем труде нет и быть не могло.

Поскольку русский язык ни для одной из нас не является родным, в нашем тексте присутствует ряд упущений и неточностей. Мы его выбрали для того, чтобы находиться в одинаковом положении, не нуждаясь в услугах переводчиков и редакторов. Русский язык в славистическом контексте мы сочли удобным для научной коммуникации. Если бы мы испытывали неприязнь по отношению к русской лингвистике, социолингвистике или же к русской культуре и науке, как полагает Нецименко, мы бы не сделали подобный выбор.

Мы благодарны Г. Нецименко за то, что она обратила внимание на неточности формулировок, которые присутствуют в нашей работе. В дальнейшем мы постараемся избежать подобного. Что же касается критических оценок, которые могут возникнуть у читателя в процессе изучения нашей книги, мы их только приветствуем и постараемся продолжить научную дискуссию по вопросам языковой ситуации на материале славянских языков с синхронной и диахронной точек зрения.

Приложение

Таблица соотношения элементов коммуникативного и языкового пространства

	коммуникативное пространство	языковое пространство
коммуникативные факторы	коммуникативные параметры	языковые параметры
участники коммуникации		
компетенция	(не)знание норм коммуникативного поведения	(не)способность выбора разновидности (не)способность использования разновидности
взаимоотношения (роли)	(не)разнопоставленные (не)официальные (не)формальные	(не)контролируемое поведение (не)соблюдение нормы разновидности
комфорт	(не)напряжение при коммуникации (не)соответствие поведения говорящего ожиданию адресата	(не)принужденность речевого поведения (не)экономичность речевого поведения

²² Например, мы говорим не о расширении и схеме Г. Нецименко, а об ее разворачивании [Нецименко 2005: 78], интерпретацию роли кодификаторов нужно соотносить с историческими условиями: они резко различаются в период становления нормы СЯ (а в этом периоде различается основным образом чешская и болгарская ситуация) и в настоящее время [Нецименко 2005: 72]; Г. Нецименко не разграничивает, когда формулировки представляют теоретические рассуждения, а когда относятся к конкретному периоду, и ряд других примеров.

сообщение		
тема	социально (не)значимая	(не)селективный характер разновидностей (не)соблюдение нормы разновидности
цель	(не)целенаправленная	(не)проективное развертывание текста
форма	(не)письменная (не)подготовленная	(не)компактность текста (не)организация текста (!)
контакт		
взаимодействие	(не)опосредствованное (не)однонаправленное (не)публичное (не)интерперсональное (!)	(не)монологичная организация (не)селективный х-р разновидности (не)соблюдение нормы разновидности
протекание	(не)разновременное (не)ограниченность времени (!)	(не)селективный х-р разновидности (не)соблюдение нормы разновидности (не)организация текста (!)
контекст		
отношение к конкретной ситуации	(не)связанное с конкретной КСит	(не)конситуативность (не)дейктивность
код		
выбор кода	(не)обязательный	(не)селективный х-р разновидности (не)соблюдение нормы разновидности

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аврорин 1975 – В.А. Аврорин. О предмете социальной лингвистики // ВЯ. 1975. № 4.
- Барнет 1988а – В. Барнет. Дифференциация национального языка и социальная коммуникация // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1988.
- Барнет 1988б – В. Барнет. Связь коммуникативной сферы и разновидности языка в славянских языках // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1988.
- Босилков 1979 – К. Босилков. Народноразговорни и книжовни варианти в езика на възрожденската литература // Изследвания из историята на българския книжовен език от миналия век (сборник, посветен на 100-годишнината от Априлското въстание). София, 1979.
- Вачкова 2004 – К. Вачкова, Г. Гладкова, И. Ликоманова. Языковая ситуация. Истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели) // Slavia. 73. 2004.
- Виденов 1990 – М. Виденов. Съвременната градска езикова ситуация. София, 1990.
- Виденов 1993 – М. Виденов. Софийският език. Книга за всеки столичанин. София, 1993.
- Гладкова 2002 – Г. Гладкова. Структурная и функциональная модель языковой ситуации: опыт интерпретации динамики развития современной языковой ситуации (на материале чешского и болгарского языка) // К. Gutschmidt (ed.). Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slawischer Schriftsprachen in der Gegenwart / Beiträge zur Konferenz der Internationalen Kommission für slavische Schriftsprachen Dresden, 25.–28. Oktober 2000. Dresden, 2002.
- Гладкова, Ликоманова 2002 – Г. Гладкова, И. Ликоманова. Языковая ситуация: истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели). Прага, 2002.
- Дюлгерова 2005 – Г. Дюлгерова. Рец. на: Г. Гладкова, И. Ликоманова. Языковая ситуация. Истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели). Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum. 2002 // Съпоставително езиковедие. 30. 2005. 3.

- Едличка 1988а – А. Едличка. Литературный язык в современной коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1988.
- Едличка 1988б – А. Едличка. Типы норм языковой коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1988.
- Изследвания 1979 – Изследвания из историята на новобългарския книжовен език от миналия век. София, 1979.
- Крысин 1989 – Л. Крысин. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989.
- Нещименко 1999 – Г.П. Нещименко. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на мат-ле сопоставит. изучения славянских языков). München, 1999.
- Нещименко 2003 – Г.П. Нещименко. Языковая ситуация. Опыт сравнения. Анализ концепций. М., 2003.
- Нещименко 2005 – Г.П. Нещименко. Некоторые раздумья над книгой «Языковая ситуация: истоки и перспективы (болгарско-чешские параллели)» // ВЯ. 2005. № 6.
- Никольский 1976 – Л.Б. Никольский. Синхронная социолингвистика. М., 1976.
- Робинсон 2004 – М.А. Робинсон. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-годов). М., 2004.
- Успенский 1989 – Б.А. Успенский. Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковно-славянского и русского языка // Византия и Русь. М., 1989.
- Barnet 1977 – V. Barnet. Vztah komunikativní sféry a rúnotvarú jazyka v slovanských jazycích // Slavia. № 46. 1977.
- Čechová 1996 – M. Čechová. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha, 1996.
- Černý 1995 – V. Černý. Vývoj a zločiny panslavismu. Praha, 1995.
- Černý 1998 – J. Černý. Úvod do studia jazyka. Olomouc, 1998.
- Cvrček 2006 – V. Cvrček. Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha, 2006.
- Garvin 1959 – P.L. Garvin. The standard language problem: concepts and methods // Anthropological linguistics. 1959. № 1.
- Gladkova 2002 – H. Gladkova. Vzestup a krize symbolických funkcí slovanských standardních jazyků. Obdobja 20 – Metode in zvrsti. Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje (Ob 450-letnici izida prve slovenske knjige). Ljubljana, 2002.
- Jakobson 1989 – R. Jakobson. Poetyka w świetle językoznawstwa // W poszukiwaniu istoty języka. Warszawa, 1989. T. 2.
- Keller 1999 – J. Keller. Úvod do sociologie. Praha, 1999.
- Leška 1993 – O. Leška. K Novákovým «osudům české lingvistiky» // SaS. 1993. 54.
- Leška 2003 – O. Leška. Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní ruštiny. Praha, 2003.
- Mudra 2006 – J. Mudra. Рец. на: Л.П. Лаптева. История славяноведения в России в XIX веке. М., 2005 // Slavia. 75. 2006. 3.
- Nebeská 1996 – I. Nebeská. Jazyk norma spisovnost // Acta universitatis Carolinae Philologica Monographia CXXVI – 1995. Praha, 1996.
- Neustupný 2002 – J. Neustupný. Sociolingvistika a jazykový management // Sociologický časopis. 38. 2002. № 4.
- Novák 1990 – P. Novák. Konstanty a proměny Havránkových metodologických postojů (se zvláštním zřetelem k jeho pojetí marxistické orientace v jazykovědě) // Slavica Pragensia. 34. 1990.
- Novák 1991 – P. Novák. K poválečným osudům české lingvistiky // SaS. 52. 1991.
- Novák 1996 – P. Novák. Conditio sine qua non. K diskusi o češtině dnešní a zítřejší // Jazykovědné aktuality. 33. 1996. 3–4.
- Salzmann 1996 – Z. Salzmann. Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Z anglického originálu Language, culture and society. An introduction to linguistic anthropology. Colorado 1993. Český lid, suplement 83, 1996. Praha, 1997.
- Sgall 2001 – P. Sgall. Galina Něščimenko. Etničeskij jazyk. Opyt funkcional'noj differenciacii // SaS. 62. 2001. 1.
- Slovník 2002 – Encyklopedický slovník češtiny. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.). Praha, 2002.
- Starý 1995 – Z. Starý. Ve jménu funkce a intervence. Praha, 2005.
- Uličný 1998 – O. Uličný. Otázky kodifikace normy spisovných slovanských jazyků v postkomunistickém období // Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů. Kraków; Praha, 1998.
- Vachek 2005 – J. Vachek. Lingvistický slovník Prazské školy. Prameny k dějinám českého myšlení. Praha, 2005.
- Vlček 2002 – R. Vlček. Ruský panslavismus – realita a fikce. Praha, 2002.
- Vlček 2004 – R. Vlček. Dobrovský, Rusko a Rusofilství // V. Vavřínek, H. Gladkova, K. Skwarska (eds.). Josef Dobrovský – fundator studiorum slavivorum / Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Praze 10–13 června 2003. Praha, 2004.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2007 г. В. Г. КУЗНЕЦОВ

**Ф. ДЕ СОССЮР И ЖЕНЕВСКАЯ ШКОЛА:
ОТ «ЯЗЫКА» К «РЕЧИ»**

В статье рассматривается влияние учения Ф. де Соссюра на формирование лингвистической концепции представителей Женевской школы, их роль в реконструкции идей своего учителя. Особое внимание уделяется творческому развитию в Женевской школе основных положений теории Соссюра. Подчеркивается, что в отличие от других школ и направлений женевские лингвисты развивали его теорию в целом, рассматривая ее как систему. Функциональный подход к дихотомиям языка и речи, синхронии и диахронии привел к построению лингвистики речи, намеченной, но не осуществленной Соссюром.

2007 год знаменателен двумя юбилейными датами, связанными с именем Ф. де Соссюра: 150-летием со дня его рождения (1857) и 100-летием начала чтения знаменитого курса общей лингвистики (1907).

Из всех школ и направлений, связанных с учением Соссюра, развивавших его идеи, Женевская школа занимает особое место в силу двух обстоятельств. Во-первых, ее основатели Ш. Балли и А. Сеше реконструировали на основе несовершенных студенческих конспектов научную мысль Соссюра и издали в 1916 г. «Курс общей лингвистики»¹, оказавшей большое влияние на развитие современного гуманитарного знания. Во-вторых, представители Женевской школы, в отличие от других школ и направлений, развивали не отдельные стороны учения Соссюра, а его теорию в целом.

Следует воздать должное активной популяризаторской и пропагандистской деятельности Ш. Балли, А. Сеше и С. Карцевского, без которой едва ли учение Соссюра столь быстро было введено в научный оборот и завоевало умы лингвистов. Уместно напомнить, что благодаря Карцевскому отечественные лингвисты, одни из первых в Восточной Европе, познакомились с новаторскими идеями Соссюра.

Наряду с Ш. Балли (1865–1947), А. Сеше (1870–1946) и С. Карцевским (1884–1955) Женевская школа представлена лингвистами последующих поколений – А. Бюрже (1896–1985), А. Фреем (1899–1980), Э. Сольберже (1928–1989), Р. Годелем (1902–1984), Л. Прието (1926–1996), Ф. Каном (р. 1929), Р. Энглером (1930–2004), Р. Амакером (р. 1942)².

Благодаря работам Годеля, Энглера и Амакера, доказавшим отсутствие полной аутентичности идей Соссюра с каноническим текстом, получила развитие соссюроло-

¹ Говоря словами А. Фрея, «последующие поколения всегда будут перед ними в неоплатном долгу за то, что они действительно взяли на себя ответственность воссоздать слово Учителя и за то, как они это сделали» [Фрей 2006: 75].

² Научные биографии лингвистов Женевской школы см. [Кузнецов 2003].

гия. Результатом соссюрологических исследований стало изменение стереотипного понимания основополагающих принципов теории Соссюра, сложившееся на основе канонического текста (подробнее см. [Кузнецов 2006в: 106–117]).

Научно-исторический интерес представляет тот факт, что основатели соссюрологии Балли и Сеше познакомились с идеями Соссюра из личных бесед до того как они были изложены в курсе лекций (1907–1912). Впервые опубликованная в 1995 г. (*Cahiers Ferdinand de Saussure*. 1995. № 48) переписка Балли с Соссюром в период с 1894 по 1912 гг. свидетельствует о том, что их связывали общие научные интересы. Проблематика первой крупной работы Балли «Краткий очерк стилистики» (1905) не была соссюровской. В то же время в ней использовался новый для того времени системный и синхронный подход к изучению стилистических средств. А конечная цель исследования очень напоминает знаменитую заключительную фразу «Курса»: «моя цель разработать рациональную концепцию живого языка, любого, рассматриваемого в самом себе и изучаемого для себя» [Bally 1905: 3]. По словам А. Фрея, Соссюр «сыграл решающую роль в научной ориентации Балли» [Frei 1946–1947: 130].

В еще большей мере Соссюр оказал влияние на А. Сеше. Это проявилось в его первой крупной работе «Программа и методы теоретической лингвистики» (1908), в которой предпринята новаторская для того времени попытка, подобно своему учителю, построить теоретическую лингвистику. В посвящении Сеше подчеркивал, что именно Соссюр пробудил в нем интерес к общим проблемам лингвистики и именно ему он «обязан теми принципами, которые освещали... путь к научным исследованиям» [Сеше 2003а: 34]. При этом Сеше замечает, что хотя впоследствии его мысль стала развиваться в собственном направлении, «на каждой странице этой книги он старался заслужить» одобрение Соссюра. Там же отмечается, что Соссюр прочитал книгу в рукописи и поддержал своего ученика.

Нами уже отмечалось, что эта работа Сеше должна занять достойное место в истории языкознания еще и потому, что в ней не только впервые излагаются, но и развиваются многие положения теории Соссюра, вошедшие в дальнейшем в «Курс общей лингвистики» [Кузнецов 2006а: 117–129]. Закономерно, что Сеше оказался лучше подготовленным, чем Балли, к восприятию и изложению положений Соссюра в посмертно изданной работе.

В истории языкознания дискутировался вопрос о принадлежности С. Карцевского к Пражской или Женевской школе. Его научная и жизненная судьба сложилась своеобразно. Он родился в России, участвовал в революционной деятельности, был арестован, бежал, обосновался в Женеве. В университете он становится ревностным учеником Соссюра, посещает его лекции, получает основательную лингвистическую подготовку под руководством Балли и Сеше. Не случайно Карцевский был первым переводчиком работ Балли на русский язык. Его лингвистическая концепция, проблематика, научно-педагогическая деятельность в течение более четверти века в Женевском университете дают основание считать его представителем Женевской школы. Да и сами пражские лингвисты причисляли Карцевского к Женевской школе [Трнка 1965: 162]. В Женевскую школу включил Карцевского и В.А. Звегинцев в «Хрестоматии по истории языкознания». К Женевской школе относил Карцевского В.Г. Гак [Гак 2003: 8]. Направление творческого развития учения Соссюра Карцевским в целом совпадает с другими представителями Женевской школы. Сам Карцевский отмечал в ряде своих работ приверженность Женевской школе. Попутно отметим, что Карцевский успешно занимался не только лингвистикой, но и литературной деятельностью. Он многое сделал для пропаганды русской литературы и культуры за рубежом. По свидетельству Р. Якобсона, С. Карцевский любил говорить: «В моей работе я движим одной любовью, и эта любовь – русский язык».

Из многих школ и направлений, претендовавших на развитие учения Соссюра, женевские лингвисты развивали доктрину своего учителя наиболее последовательно и глубоко. Важно отметить, что они развивали не отдельные положения соссюровской теории, а в их взаимосвязи, как единое целое. Теоретические принципы учения Соссюра

служили методологической базой и собственных научных исследований женеvских языковедов. Научная деятельность Женевской школы настолько тесно связана с именем Соссюра, что ее нередко называют «соссюровской».

В каноническом тексте «Курса» в качестве основного положения, исходного пункта учения Соссюра принято различие языка и речи. Приоритет этой дихотомии, выступающей в качестве постулата, прочно закрепился в истории языкознания. С него начинается изложение теории Соссюра в теоретических и дидактических работах. По словам Е. Ельмслева, из противопоставления языка и речи выводится «вся остальная теория» [Ельмслев 1965: 111].

Однако позднее представители младшего поколения Женевской школы, исследователи творчества Соссюра Р. Годель и Р. Амакер, высказали и стремились обосновать отличную точку зрения: за исходный пункт теории Соссюра может быть принято семиологическое понятие знака, его произвольный характер, из которого логическим путем выводятся дихотомии языка и речи, синхронии и диахронии. Это мнение было поддержано другим известным исследователем научного наследия Соссюра итальянским лингвистом Туллио де Мауро, а также французским лингвистом Ж. Муненом (подробнее см. [Кузнецов 2006в: 109]).

В вопросе о том, с чего начинать рассмотрение учения Соссюра, что в нем является главным звеном, постулатом, нет противоречия. Дело в том, что соссюровская теория характеризуется двумя аспектами: семиологическим и лингвистическим. Если начать с первого аспекта, за исходный пункт следует принять концепцию произвольности знака, если со второго – дихотомию языка и речи. Семиологический подход к учению Соссюра, который позволил бы представить его совершенно под другим углом зрения, сделать интересные теоретические обобщения, еще никем не был предпринят и его осуществление, которое можно сравнить с «неевклидовой геометрией», – дело будущего.

Композиция «Курса» обусловлена тем, как сами Балли и Сеше понимали теорию своего учителя, и в этом смысле канонический текст можно рассматривать как своего рода манифест Женевской школы. В дальнейшем учение Соссюра получило развитие в той последовательности, в какой оно изложено в «Курсе». Дихотомия языка и речи была принята в качестве постулата и в классических школах структурализма. Она послужила основой для разработки фонологической теории Пражской школы, учения глоссематики о языке как форме, понятий варианта и инварианта в различных направлениях структурной лингвистики.

Если бы за основу было принято положение о произвольном характере знака, то можно предположить, что большее развитие получили бы семиологические идеи Соссюра.

Соссюр сосредоточил внимание на разработке лингвистики языка как наиболее перспективной, по его мнению, задаче. Из-за того, что Соссюр начал с лингвистики языка, иногда неправомерно полагают, что он ограничивал объект науки о языке лингвистикой языка. Между тем в «Курсе» есть самостоятельная глава «Лингвистика языка и лингвистика речи», которая свидетельствует о том, что в действительности лингвистика языка является одной из составляющей науки, изучающей обе стороны речевой деятельности. Еще более эксплицитно это выражено в одной из личных заметок Соссюра: «сразу следует уточнить, что мы рассматриваем лингвистику как науку..., которая стремится соединить в одно целое две совершенно разные в своей основе вещи, настаивая при этом на том, что они составляют один предмет».

А. Сеше неоднократно отмечал, что Соссюр имел в виду дополнить лингвистику языка лингвистикой речи, но этот существенный факт нередко не учитывают, когда интерпретируют его доктрину. Он подчеркивал, что недосказанное в теории Соссюра могло быть дополнено в теории речи. Завершенная лингвистическая концепция должна показать, как две формы речевой деятельности взаимно дополняют друг друга и тесно взаимодействуют [Sechehaye 1930: 365].

Лингвистика речи, намеченная Соссюром, была теоретически обоснована и получила развитие в проблематике лингвистов Женевской школы – «системоцентрическом» и

«текстоцентрическом» подходе к дихотомии языка и речи, развитию принципа произвольности и линейности знака, теории лингвистической стилистики, синтаксисе, учении о транспозиции.

Разграничение языка и речи, синхронии и диахронии является центральным звеном лингвистической концепции Женевской школы. Развивая учение Соссюра о языке и речи, связь языка и речи изучалась с двух сторон: как виртуализация речевых фактов («системоцентрический» подход) и как актуализация виртуальных знаков языка в процессе его функционирования («текстоцентрический» подход).

Механизм цикла «речь → язык» изучал А. Сеше, «язык-продукт → речь» получило развитие в теории актуализации Ш. Балли и С. Карцевского. Такой двусторонний подход к предмету исследования выступает как объединяющее начало в рамках научной школы.

Изучение документов, относящихся к научной биографии Соссюра, позволяет утверждать, что еще в 1881 г. его лекции в Высшей школе практических знаний в Париже были основаны на различении синхронного описания и исторического анализа. Из этого можно сделать важный вывод, что вторая дихотомия была осознана Соссюром гораздо раньше, чем первая – языка и речи.

Рассматривая синхронию и диахронию в связи с разграничением языка и речи, Соссюр подчеркивал, что факты эволюции следует искать в речи. В «Курсе» содержится формулировка, что «все диахроническое в языке является таковым лишь через речь. Именно в речи источник всех изменений; каждое из них, прежде чем войти в общее употребление, начинает применяться некоторым числом говорящих» [Соссюр 1977: 130]. Э. Косериу отмечает, что «у Соссюра встречается целый ряд блестящих догадок относительно языкового изменения: в частности утверждение, что причина изменения связана не с «исторически объективным аспектом» речевой деятельности (языком), а с ее субъективным аспектом (речью)...» [Косериу 1963: 321]. В то же время он высказывает критические замечания в адрес Соссюра: «сколько индивидов должны принять инновацию, чтобы она стала «фактом языка...?» [Там же: 324]. Эти и другие противоречия положений Соссюра преодолены в определенной мере в учении А. Сеше об организованной речи.

Соотношение языка и речи и их взаимосвязь Сеше понимал по-другому, чем Соссюр. «Существенное различие между учением Соссюра и нашей теорией, – писал он, – состоит в том, что в “Курсе общей лингвистики” из указанных противопоставлений не выводится никакого строгого принципа классификации, но скорее привлекается внимание к отношениям взаимозависимости, которые устанавливаются между различными сторонами языкового явления... Для нас, напротив, в самой этой абстракции обнаруживается принцип подчинения и классификации...» [Сеше 2003б: 183].

Учение Сеше о дихотомии языка и речи в связи с разграничением синхронии и диахронии получило развитие в статье «Эволюция органическая³ и эволюция случайная» (1939) и особенно в опубликованной через год статье «Три соссюровские лингвистики». Поскольку введенное Соссюром различие синхронии и диахронии относится не к речи, а к языку, Сеше предложил различать не четыре, а три лингвистические дисциплины: синхроническую, или статическую лингвистику, лингвистику историческую, или эволюционную, между которыми он помещает лингвистику речи.

«Речь, – считал Сеше, – имеет отношение одновременно и к синхронии, и к диахронии, так как речь уже содержит в зародыше все возможные изменения» [Сеше 1965: 62]. Объектом лингвистики речи (лингвистики организованной речи, по терминологии Сеше) «служат явления промежуточные между синхроническим и диахроническим факторами» [Там же]. Предложение Сеше было новым и оригинальным, поскольку позволяло преодолеть такие противоречия в дихотомиях Соссюра, как соотношение статики и динамики, социального и индивидуального, абстрактного и конкретного.

³ «Органический» у Сеше означает «внутриязыковой».

Задачи лингвистики речи вытекают из ее промежуточного положения между статической и диахронической лингвистиками. «Это не что иное, как результат примата того, что связано с людьми и их жизнью, над фактором интеллектуальной и социологической абстракции, представленным и в языке» [Там же: 63]. Сеше предостерегает против смешения лингвистики организованной речи с диахронией. Соотносясь как абстрактное и конкретное, процесс и результат, первая дисциплина занимается изучением механизма и причин языковых изменений. Сеше критикует Соссюра за то, что признавая за организованной речью право на существование, он включал в диахронию то, что принадлежит лингвистике организованной речи, в частности, такие явления, как аналогия, народная этимология и агглютинация. Диахроническая лингвистика только сравнивает два последовательных языковых состояния, чтобы установить происшедшие изменения.

В отличие от Пражской школы и более поздних структуралистов (А. Мартине), Сеше, как и Соссюр, понимал диахронию как изучение изолированных фактов. В то же время у него встречаются формулировки, свидетельствующие о системном подходе к диахроническим явлениям. «Историк языка... должен не только объяснить внешние и внутренние причины рассматриваемого изменения..., но и обязан учитывать влияние этого изменения на другие части системы» [Сеше 1965: 84].

Сеше ставил важный вопрос о равновесии системы в синхронии, о ее реагировании на изменения элементов. Он подходил к этому вопросу диалектически. «Мы делаем эту ось местом борьбы двух антагонистических сил. Одна сила охраняет грамматическую систему и ее традицию, основанную на коллективном соглашении, другая сила вызывает в системе постоянные инновации и адаптации» [Там же: 77]. Такой подход, полагал Сеше, является логическим развитием мыслей Соссюра, преодолением его ортодоксальности.

Вопрос об ограничении изменений функционированием системы привлекал внимание другого представителя Женевской школы – А. Бюрже. «Роль системы в развитии языка является преимущественно негативной и отрицательной. Она открывает пути тем инновациям, которые не вызывают трудностей для взаимопонимания, и препятствует закреплению инноваций, порождающих такие затруднения» [Burger 1955: 32].

При данном подходе женевских лингвистов к речи она выступает как социальный феномен. Принято считать, в соответствии с формулировкой «Курса», что ведущим различительным признаком языка и речи для Соссюра была оппозиция социальное – индивидуальное. Однако рукописные источники свидетельствуют о том, что определения *индивидуальное* и *социальное* «не соотносятся однозначно с речью и языком; это перекрещивающиеся определения ... не учтенные Ш. Балли и А. Сеше при составлении "Курса"» [Энглер 1998: XVI]. Об этом свидетельствует следующая запись Соссюра: «все, что наблюдается во внутренней сфере индивида, всегда социально, потому что туда не проникает ничего, что вначале не было бы освящено узусом всех людей во внешней сфере речи» [Там же: XVII].

Речь, таким образом, у Сеше выступает как функционирование, как «жизнь» языка. Однако она нечто большее, чем просто функционирование языка: речь – это «могучая, творящая и организующая сила». В противоположность своему учителю, Сеше включает в речь элементы как синхронии, так и диахронии.

Наряду с А. Сеше значительный вклад в развитие динамической концепции синхронии внес другой представитель Женевской школы – А. Фрей. Впервые эта проблематика была разработана им в работе «Грамматика ошибок» (1929) [Frei 1929]. Он развивает функциональный подход к языку, считая, что надо изучать живую речь, поскольку то, что сегодня рассматривается как ошибка, завтра может стать нормой, войти в систему языка.

Подобно тому как у Сеше связующим звеном между статической и эволюционной лингвистикой выступает лингвистика организованной речи, Фрей в качестве такого звена берет функциональную лингвистику. Он указывал, что на практике состояние языка является не точкой, а более или менее длительным промежутком времени, в течение которого сумма происходящих изменений минимальна [Frei 1929: 29].

Статическое состояние языка в концепции Женевской школы рассматривается как явление, которому присущи элементы динамики. Ш. Балли, провозглашая приоритет статического изучения языка, на практике отступал от своего заявления, уделяя пристальное внимание динамическим тенденциям в синхронии. С. Карцевский ввел в научный оборот понятие продуктивности морфологических категорий. Р. Амакер разработал понятие «эластичности» языковой системы. Таким образом, в концепции синхронии Женевской школы язык рассматривается как открытая система, т.е. динамическая реальность, характеризующаяся неустойчивостью, асимметрией. Такое описание позволяет вскрыть противоречия системы. В этом отношении Женевская школа сближается с пониманием языка как динамического явления в отечественном языкознании (Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба, Г.О. Винокур, В.В. Виноградов) и с Пражской школой, проводившей различие между продуктивными и непродуктивными явлениями, центром и периферией.

«Текстоцентрический» подход к дихотомии языка и речи привел к разработке теории актуализации виртуальных знаков языка в речи. Эта теория представляет собой функциональный подход к соотношению языка и речи, который следует рассматривать как новаторский. Изучение языка в коммуникации с точки зрения системы и ее реализации представлено в наиболее законченном виде в работах Ш. Балли. Балли исходил из того, что «если язык является сокровищницей знаков и отношений между знаками, поскольку все говорящие индивиды приписывают им одни и те же ценности, речь представляет собой использование этих знаков и этих отношений для выражения индивидуальной мысли: это – язык в действии, «актуализованный» язык» [Bally 1935: 114].

В актуализации у Балли участвуют две наиболее общие категории понятий: категория вещи и категория процесса. Для осуществления актуализации виртуальных понятий существуют актуализаторы. Актуализаторы у Балли не соответствуют служебным словам. Актуализация может быть не только прямо выраженной (эксплицитной), но и подразумеваемой (имплицитной). Помимо ситуации к имплицитным средствам актуализации Балли относил также контекст, жесты и мимику.

Согласно Балли, смысловой субстрат высказывания в отличие от непредикативного сочетания понятий о субстанции и о ее признаке, всегда содержит в явной или скрытой форме два субъектно-предикатных комплекса: субъект и предикат акта коммуникации (модус) и субъект и предикат высказывания (диктум).

Порождение высказывания состоит, по мнению Балли, в актуализации представления мыслящего субъекта (диктума), заключающийся в установлении говорящим своего субъективного (личного) отношения к содержанию представления. Теорию актуализации Балли, справедливо отмечает Ч. Сегре, можно рассматривать как творческое развитие намеченной Соссюром «лингвистики речи» [Segre 1963].

В работах С. Карцевского учение об актуализации занимает более скромное место, чем у Ш. Балли. Тем не менее, подход, развивавшийся Карцевским, к данной проблеме, представляет большой интерес. Так же, как и Балли, Карцевский полагал, что знаки языка имеют потенциальную ценность, актуализации подлежат прежде всего понятия субстанции в силу их абстрактного характера. Понятие процесса актуализируется говорящим с помощью наклонения и времени глагола.

Наибольший интерес представляет учение Карцевского о фразе как актуализованной единице коммуникации. Выделение Карцевским фразы как единицы общения связано с его пониманием структурной организации языка как «семиологического механизма». «Язык, – писал Карцевский, – в “Системе русского глагола” представляет собой семиологическую систему, в которой каждая единица образуется пересечением отношений...» [Karcevsky 1927: 13]. Он выделял в языке четыре семиологических плана: лексикологический, синтаксический (синтагматический), морфологический и фонологический. Внутри каждого плана он устанавливает определенные дифференциации. Используя термин «вхождение» (*emboîtement*) Сеше, Карцевский писал, что лексикологический план «накладывается» на все другие планы языка и все их «вмещает» в себя. Чем выше план, тем отношения между знаками носят более общий характер, другими словами,

языковой знак по-разному представлен в каждом плане. Независимо от того, к какому плану принадлежит знак, он всегда остается двусторонней единицей. В соответствии с развивающимся Карцевским «синтетическим взглядом» на язык фраза рождается в процессе интеграции элементов, возникающих в результате предшествующих дифференциаций на низших уровнях.

Теория актуализации, получившая развитие в Женевской школе, дает возможность подойти к проблеме дихотомии языка и речи с функциональной точки зрения. В концепции женевских лингвистов язык выступает в двух аспектах – социальном и индивидуальном, что связано с самой природой процесса общения, связывающего язык как социальное явление с языковым сознанием носителя этого языка. Из соотношения языка и речи как социального и индивидуального вытекает их соотношение как потенциального, виртуального, и реализованного, актуального. Эти определения идут от соссюровского понимания языка и речи, в которых объединены психологический и социальный аспекты языка как средства общения.

Получившие развитие в Женевской школе «системоцентрический» и «текстоцентрический» подходы к дихотомии языка и речи, рассмотрение ее в связи с разграничением синхронии и диахронии позволили преодолеть «жесткий» характер дихотомий Соссюра и установить отношения диалектического свойства между статикой и динамикой, социальным и индивидуальным, общим и отдельным.

Женевской школе принадлежат приоритеты в постановке и развитии многих подходов современной лингвистики к изучению дискурса. Р. Гodel установил, что слово *discours* встречается в рукописных источниках «Курса общей лингвистики» Соссюра. Во 2-м курсе лекций *discours* определяется как «речевая цепь» и противопоставляется «внутреннему тезаурусу, памяти» [Godel 1957: 259].

Однако при подготовке «Курса» к изданию Балли и Сеше заменили «*discours*» на «*parole*». Прилагательное *discursif* Соссюр использовал в значениях «синтагматический» (2-й курс) в сочетаниях «дискурсивный порядок» (1-й курс) и «дискурсивные единицы» (2-й курс). Обобщая различные определения речи Соссюром, Гodel возводит их к современному пониманию дискурса [Godel 1957: 154]. Р. Амакер справедливо полагает, что термин «дискурс» должен занять подобающее ему место в соссюровской терминологии [Amacker 1975: 190].

В определении актуализации Балли выходил за рамки дихотомии языка и речи Соссюра, учитывая референциальную функцию языка – его соотнесенность с реальной действительностью. Актуализация состоит в том, чтобы «связать виртуальные понятия с соответствующими им в действительности предметами или процессами» [Балли 1955: 93]. Определение речи, созвучное современному дискурсу, мы находим у Сеше: акт речи «имеет определенное место и время, происходит между собеседниками, обладающими собственной индивидуальностью и при совокупности определенных условий» [Сеше 1965: 68].

Определение речи женевскими лингвистами как социального явления созвучно современному пониманию дискурсивной деятельности. А учет референциальной функции языка, изучение роли субъекта, ситуации и паралингвистических средств в речевой деятельности прочно вошли в проблематику современных дискурсивных исследований. Таким образом, лингвистов Женевской школы можно по праву считать основоположниками изучения дискурса, они подготовили его включение в новую парадигму знания – когнитивно-дискурсивную. А в их работах содержится немало идей, которые могут стимулировать дальнейшие исследования в этой области.

Одним из положений теории Соссюра, вошедшим в проблематику исследований Женевской школы, является принцип произвольности лингвистического знака. Произвольность трактовалась Соссюром прежде всего как немотивированность, т.е. как отсутствие естественной, природой вещей обусловленной связи между означаемым и означающим [Соссюр 1977: 101]. Но примеры, которые приводил Соссюр, и недостаточная четкость формулировок заставляют думать, что произвольность у него лежит и в основе знака в целом, в его соотношении с обозначаемым предметом. В 1939 г. на страницах

журнала *Acta linguistica* началась острая дискуссия, участники которой Э. Пишон, Э. Бенвенист и др. нередко подвергали критике определение Соссюром произвольности. По решению Комитета Женевского лингвистического общества от 7 июня 1941 г. А. Сеше, Ш. Балли и А. Фрей выступили с ответной статьей, представляющей собой своеобразную декларацию Женевской школы, в которой утверждался принцип произвольности лингвистического знака в трактовке Ф. де Соссюра [Sechehaye, Bally, Frei 1941]. Авторы справедливо подчеркнули, что понятие произвольности следует рассматривать не отдельно, а в тесной связи с другими положениями концепции Соссюра.

Несомненно, что Соссюр стремился постичь лингвистический аспект проблемы: абстрагируясь от соотношения языкового знака с обозначаемым им предметом, он сосредоточил внимание на связи между означаемым и означающим, которая обуславливается не только наличием этих двух компонентов, но и тем, что есть в языковой системе вокруг них.

В то же время Ш. Балли и С. Карцевский развивали более систематизированную, чем у Соссюра, концепцию произвольности лингвистического знака с особым упором на функциональный аспект проблемы. Развивая идеи своего учителя, Балли и Карцевский связывали явление мотивированности знака, с одной стороны, с различением языка и речи, а с другой, – с действием синтагматических и парадигматических отношений. Это привело к значительному расширению действия мотивированности.

Балли поставил вопрос о необходимости при освещении проблемы произвольности лингвистического знака учитывать как «вертикальные» отношения между составляющими знака, так и «горизонтальные» отношения, которые предполагают отношения, с одной стороны, между означаемыми, а с другой, – между означающими знаков данной языковой системы. Рассмотрение проблемы произвольности лингвистического знака во внутриязыковом плане явилось существенным дополнением и развитием учения Соссюра об ограничении произвольности.

В представлении С. Карцевского язык – это арена постоянной борьбы двух тенденций: тенденции к произвольности и тенденции к мотивированности знака. Соотношение между этими силами меняется как от одного языка к другому, так и в одной и той же языковой системе. Он установил, что мотивированные знаки, подобно произвольным, обладают системными свойствами. С. Карцевский показал, что языковой знак, будучи произвольным по своей природе, в процессе функционирования языка подвергается воздействию внутрисистемных и экстралингвистических факторов – индивидуальных и социальных, ограничивающих его произвольность. Он поставил вопрос о градации мотивированности.

Мировую известность принесла С. Карцевскому его теория асимметричного дуализма лингвистического знака. При разработке своей теории он опирался на учение Соссюра о подвижном характере отношений между двумя сторонами знака и на развитие Балли принципа ограничения произвольности. Карцевский раскрыл и теоретически обосновал одно из главных отличительных свойств языковых знаков – отсутствие однозначного соответствия между двумя сторонами знака. Он также показал, что асимметрия означающего и означаемого относится к числу фундаментальных свойств языка, присущих ему по самой его природе.

В соответствии с традицией Женевской школы С. Карцевский рассматривал проблему произвольности знака в связи с актом конкретного речевого общения и функционированием языка как системы виртуальных знаков. Асимметричный дуализм проявляется при переходе от виртуального к актуальному, поэтому сфера его действия – дискурс. Карцевский блестяще показал, что актуализация – это не только процесс перехода виртуального в реальное, абстрактного в конкретное, общего в отдельное, но и источник инноваций, в том числе и метафоризации. Учение С. Карцевского об асимметричном дуализме лингвистического знака – яркое подтверждение положения Соссюра о том, что язык – это не номенклатура знаков.

Идея асимметричного дуализма проходит красной нитью через все творчество Карцевского и лежит в основе многих оригинальных научных идей, прежде всего динамики

в статике. Известно, что в «Курсе» Соссюра неизменчивость знака связана со статическим нередко приравненным к синхронному состоянием языка, а изменчивость – с эволюцией языка во времени. Карцевский рассматривал синхронию не как статическое, имманентное состояние, а как динамическое, подвижное. Изменчивость, по Карцевскому, является неотъемлемым свойством языкового знака, независимым от фактора времени. Теория асимметричного дуализма лингвистического знака позволяет дать всестороннюю трактовку формы и содержания на различных языковых уровнях и представляет собой функциональный подход к соотношению формы и содержания в противоположность статическому, характерному для такого направления, как глоссематика. Теория асимметричности двух сторон лингвистического знака находит успешное применение для исследования разных уровней языка.

В отличие от Балли и Карцевского, сосредоточивших преимущественное внимание на аспекте мотивированности и не уделивших специального внимания собственно произвольности, как она была поставлена Соссюром, представители Женевской школы последующих поколений А. Фрей, Р. Годель, Р. Энглер и Р. Амакер разрабатывали именно проблему произвольности и в этом отношении оказались ближе к учению Соссюра, чем его непосредственные ученики. Отличало их и то, что они опирались преимущественно на рукописные материалы «Курса» и на личные заметки Соссюра, что позволило внести ясность во многие положения учения Соссюра о произвольности, устранить несогласованность между ними (подробнее см. [Кузнецов 2005: 24–29]).

Второе свойство лингвистического знака – линейность означающего – занимает в «Курсе общей лингвистики» Соссюра меньше места, чем первый – произвольность, и является менее разработанным. Линейное свойство знака обусловлено тем, что его материальная сторона – означающее – развертывается и реализуется во времени и, соответственно, характеризуется двумя признаками – пространственным и временным: 1) протяженностью и 2) линейным характером этой протяженности.

Между двумя фундаментальными свойствами языкового знака существует органическая взаимообусловленная связь через посредство явления ограничения произвольности, имеющей место, как было показано выше, прежде всего, в синтагматике.

В отличие от Соссюра, который ограничивал действие принципа линейности означающим языкового знака, Балли распространил это действие и на означаемое. При этом он основывался на принятом им в качестве постулата семантическом изоморфизме плана выражения и плана содержания. В то же время как теория асимметричного дуализма Карцевского включает асимметрию лишь на парадигматической оси, Балли распространил ее на ось синтагматики. Это позволило ему установить и описать разные случаи нарушения линейности (подробнее см. [Кузнецов 2006б: 14–19]). Позднее идеи Балли послужили стимулом для развития компонентного семантического анализа и семантической синтагматики. Преимущественное внимание Женевской школы к принципу линейности означает переориентацию от семиологического подхода, характерного для Соссюра, к лингвистическому.

Линейный характер языкового знака лежит в основе учения Женевской школы о синтагме. Соссюр называл синтагмой «отношения, имеющие протяженность». По определению понятие синтагмы охватывает единицы, которые традиционная грамматика разделяет: с одной стороны, сложные, производные, словоизменительные формы, а с другой, – группы слов. Сам Соссюр приводил примеры тех и других. Говоря о синтагме, Соссюр имел в виду линейный характер языкового процесса и наличие разграничений в речевой цепи.

Синтагма относится как к языку, так и к речи. К синтагмам, принадлежащим языку, Соссюр относил устойчивые соединения, которые воспроизводятся целиком в речи. При этом под синтагмой Соссюр понимал единицы любой протяженности и любого типа. Любое предложение, по его мнению, является синтагмой. Годель обратил внимание на то, что объединяя под одним названием разные образования, Соссюр не учитывал такой немаловажный критерий, как степень связанности и тип связи между элементами разных синтагм. Эти отношения в сложном слове или в сложной глагольной форме от-

личаются от отношений между именем и его определением, подлежащим или дополнением и глаголом и т.д.

Значимость члена синтагмы обусловлена его противопоставлением либо предшествующему, либо последующему элементу, либо тому и другому вместе. Таким образом, процедуры синтагматического анализа состоят, по Соссюру, из приемов членения языковых последовательностей и определения их состава, а также способов установления влияния одной единицы на другую и/или же их взаимодействия. В основе синтагматического членения лежит линейный характер знака. Соссюра интересовал преимущественно грамматический аспект действия принципа линейности.

Этот аспект синтагматических отношений получил преимущественное развитие в концепции синтагмы Ш. Балли и С. Карцевского. В отличие от Соссюра при определении синтагмы они исходили из принципа бинарности.

Основываясь на том, что Соссюр связывал относительную мотивированность с синтагматическими объединениями, Балли полагал, что любой знак, мотивированный своим означаемым, является тем самым синтагмой, в том числе и имплицитной. Карцевский ввел термин «скрытая синтагма», связанный со сдвигом формальных и семантических значений слов и их переносным употреблением.

Лингвисты Женевской школы Фрей, Годель и Сольберже считали синтагму сложным знаком, включающим означаемое и означающее. По мнению Фрея, нет сомнения, что Соссюр считал синтагму знаком [Frei 1962: 128]. Так, в конспектах студентов есть следующая запись: «только часть знаков в языке является полностью производными. Другие знаки дают основание различать степени произвольности». Если стать на точку зрения Соссюра, то синтагмы – это относительно мотивированные знаки.

По Фрею, означаемое и означающее синтагмы являются следствием не комбинации означающих и соответственно означаемых, а знаков. Средством комбинации служат знаки особой природы – абстрактные, несегментные сущности, такие как порядок знаков, просодические средства интонации, акцентуации и др. (катены, по терминологии Фрея).

В Женевской школе был поставлен сложный вопрос о природе синтагмы в аспекте дихотомии языка и речи. Одним из путей решения этого вопроса может быть понятие выбора, о котором писал Соссюр, и которое в дальнейшем было развито А. Мартине. В процессе коммуникации говорящий субъект делает предварительный выбор на уровне парадигматики и окончательный – в синтагматике.

Среди понятий, введенных в научный оборот Соссюром, учение о синтагме получило наиболее благоприятный отклик со стороны лингвистов. В то же время, в отличие от широкого понимания синтагмы в Женевской школе, большее распространение получило определение синтагмы в более узком смысле.

Понятие синтагмы получило развитие как в зарубежной (Н. Трубецкой, Ф. Микуш, А. Мартине, М. Мамудян), так и в отечественной лингвистике (Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, А.А. Реформатский, Н.Ю. Шведова, Г.А. Золотова и др.).

У Соссюра минимальные значимые единицы не имеют собственного названия. Эта лакуна объясняется тем, что Соссюр считал свою теорию синтагмы незавершенной и намеревался продолжить ее разработку. Развивая учение Соссюра о синтагматике, в Женевской школе был создан и введен в научный оборот термин «монема» («знак, означающее которого далее не делимо», по определению Фрея).

У Соссюра нет четкого определения «значения» и его соотношения с понятием «значимости», которому он придавал большое значение. Развивая понимание Балли и Бюрже значения и значимости как виртуального и актуального в ракурсе различения языка и речи, Р. Годель связывал реализацию значения в высказывании с ситуацией общения, отношениями между участниками коммуникативного акта. На близкой позиции стоял Л. Прието.

Фрей и Амакер распространили понятие значимости на синтаксические отношения. Лексические и грамматические значимости Амакер относил к первому типу «абстрактных сущностей», а синтаксические значимости, «служащие для значимых ограничений

совместной встречаемости сегментов», – ко второму типу [Amacker 1974: 42]. С точки зрения конкретной реализации в речи синтаксические значимости находятся на втором уровне абстракции, логически отличающемся от первого, являющемся уровнем сложного знака по отношению к его реализации. Но в действительности оба уровня абстракции сливаются в языковом знаке, поскольку синтаксические значимости возникают только под действием того же ассоциативно-синтагматического механизма, что и лексические и грамматические значимости. Рассмотрение синтаксических отношений как значимости представляет научный интерес и имеет право на существование.

Соссюр колебался относительно статуса предложения как единицы языка или речи. Колебания Соссюра, замечает Амакер, связаны с его определением речи как области реализации звуков и конкретных смыслов, а также как области проявления воли и выбора со стороны индивида. Наиболее четко статус синтагмы и предложения в качестве единиц сформулирован Соссюром во 2-м курсе лекций. «Мы говорим исключительно синтагмами, и вероятный механизм состоит в том, что мы имеем *типы синтагм* в голове, и в момент их использования мы приводим в действие группу ассоциаций». Развивая мысль Соссюра, Амакер считает, что в предложении следует различать то, что принадлежит языку в результате двойной абстракции, а именно общий тип, имеющийся в нашем сознании, и то, что относится к активному, волевому, комбинаторному и, в конечном счете, творческому аспекту реализации в речи сложных знаков, которые также знаки языка, но первого уровня абстракции [Amacker 1975: 145]. Таким образом, в Женевской школе сформулирована двойственная природа лингвистических единиц в рамках свойственной этой школе концепции языка и речи. Следует заметить, что вопрос разграничения и природы единиц языка и речи – один из центральных в теории языка – до настоящего времени продолжает оставаться дискуссионным и, следовательно, актуальным.

При изучении рукописных источников «Курса» обращает на себя внимание то, что Соссюр рассматривал две возможности изучения языка – внутреннюю и внешнюю – как две составные части единой науки – лингвистики. Слово «лингвистика», – писал он, – вызывает прежде всего идею совокупности внутреннего и внешнего исследования [Engler 1967: 59]. Он не отрицал, как иногда полагают, важности и значимости изучения проблематики, относящейся к внешней лингвистике, о чем свидетельствуют его письма к А. Мейе.

В Женевской школе получили развитие идеи Соссюра, относящиеся к двум областям внешних исследований: соотношение языка и мышления и вопросы нормы и языковой политики.

Проблематика связи языка и мышления рассматривалась в Женевской школе, вслед за Соссюром, через призму языка как системы значимостей и социального явления. Соссюр сравнивал язык со стеклами очков, через которые мы созерцаем предметы.

Женевские лингвисты, отмечая важную роль языка в формировании мышления, считали, что язык влияет на мышление в аспекте восприятия действительности. Балли подходил к этому вопросу с типологической точки зрения, опираясь на выделенные им общие характерные черты французского языка. Подход к проблеме соотношения языка и мышления с позиции лингвистической типологии представляет интерес для когнитивной лингвистики и требует дальнейшего изучения. Когнитивный подход к этнолингвистической проблематике развивал Сеше, обративший внимание на то, что мировосприятие обусловлено не только языком, но и концептуализацией как основой нашего сознания.

В отличие от Вайсгербера женевские лингвисты рассматривали связь языка и мышления в аспекте соотношения индивида и общества, основываясь на восходящем к Соссюру понимании языка как социального продукта, правила актуализации которого носят императивный характер.

К проблеме «лингвистической относительности» примыкает вопрос о зависимости становления структурных особенностей отдельных языков от развертывания конкретных форм культуры данного народа.

Критикуя К. Фосслера, Балли и Сеше выступали против упрощенного и чрезмерно прямолинейного толкования связей между явлениями из области культуры и явлениями из области языка: «Еще более сомнительно, что в старофранцузском охотно употребляли дополнение, выраженное одушевленным существительным в дативе, перед дополнением, выраженным неодушевленным существительным в аккузативе... (что немцы охотно делают до сих пор) только потому, что в ту эпоху господствовал культ героев» [Сеше 1965: 80].

Представители Женевской школы явились предтечами постановки многих вопросов современного рассмотрения языка как этнокультурного явления.

В учении Соссюра, не выделявшего норму в качестве самостоятельного лингвистического понятия, содержались, однако, известные предпосылки для рассмотрения языка как традиционной, или нормативной системы. Утверждая произвольность языкового знака по отношению к «изображаемой им идее», Соссюр отнюдь не отрицает его обязательности по отношению к тому коллективу, который пользуется данным языком. Традиционность знака является одним из его существенных признаков: «Именно потому, что знак произволен, он не знает иного закона, кроме закона традиции, и, наоборот, он может быть произвольным только потому, что опирается на традицию» [Соссюр 1977: 107]. Таким образом, можно утверждать, что в социальной обусловленности и традиционности языкового знака коренится и его обязательность, в свою очередь предопределяющая существование нормативного плана языка. Известно, впрочем, что основные положения теории Соссюра лежали в иной плоскости и нормативная сторона осталась в его концепции нераскрытой.

Определяя норму с социологической точки зрения, Балли пришел к выводу, что она в принципе не отличается от других видов социальных норм поведения. В отличие от Пражской школы женевские лингвисты рассматривали литературный язык лишь как стилистическую дифференциацию языка. Для установления критерия нормативности, по их мнению, следует обращаться к устной речи, как наиболее живой и естественной форме существования языка. Склонность Балли недооценивать письменную традицию заслуживает критики.

Фрей развивал функциональный подход к понятию нормы. Понятие нормы он противопоставлял пуристической точке зрения и за основу принимал соответствие языковых средств выполняемой ими функции.

Рассматривая вопрос о языковой политике в связи с полемикой вокруг имплицитно вытекающего из теории Соссюра нигилистического отношения к этой важной проблеме, женевские лингвисты справедливо подчеркивали, что проблема управления развитием языка неразрывно связана с повышением грамотности и общей культуры носителей языка. «Система языка недоступна лингвистически неграмотному индивиду и не осознается им как система, а овладеть ею, – писал Ф. де Соссюр, – можно лишь путем размышления» [Соссюр 1977: 106]. Система языка становится осмысленной с ростом грамотности и образования. «Уже приобщение к письменному языку, – отмечал Ш. Балли, – способствует развитию у читающего и пишущего простейших навыков размышления и анализа» [Bally 1935: 160]. Примечательно, что из двух путей повышения языковой культуры: традиционного – путь пуризма и второго – пути науки, женевские лингвисты считали верным только второй.

С ростом языковой культуры массой говорящих яснее сознается норма и отклонения от нее, люди становятся чуткими к любым языковым изменениям и воспринимают их оценочно, разумно. Благодаря этому создаются хорошие условия и для специального научного регулирования языковой системы.

Итальянский лингвист Ренцо Раджунти справедливо отмечает, что отсутствие в теории Соссюра экспрессивной функции делает ее неполной [Raggiunti 1982]. Различие между Балли и Соссюром в том, если для последнего язык «представляет собой социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду, который сам по себе не может ни создавать его, ни изменять» [Соссюр 1977: 521], то для Балли язык, хотя и внешний для индивида, но на который он, тем не менее, воздействует с того мо-

мента, как начинает им пользоваться. Эта сторона языковой коммуникации всецело привлекала внимание Балли. Он стремился показать, что язык не подчиняется всецело логике, к чему, по его мнению, склонялся Соссюр, важную роль в языке играет аффективность говорящих субъектов. В то же время следует заметить, что Соссюр признавал участие психического фактора в речи, хотя и ограничивал его действие [Там же: 51].

Соссюр также писал, что «знак всегда до некоторой степени ускользает от воли как индивидуальной, так и социальной, в чем и проявляется его существеннейшая, но на первый взгляд наименее заметная черта» [Там же: 55], и что «язык есть система знаков, выражающих понятие» [Там же: 54]. Таким образом, Соссюр делал акцент на мышление понятийного типа. Что касается Балли, он различал два типа мышления: интеллектуального, логического порядка и аффективного порядка. Проводя это различие, Балли тем самым отступает от положения своего учителя, постулируя активную роль индивида не только на уровне речи, но и языка. Сеше отмечал, что стилистика – это реагент, который нарушает кажущуюся массивную прочность соссюровского принципа.

Имя Ш. Балли у многих лингвистов ассоциируется со стилистикой. И это не случайно. Балли вошел в историю языкознания не только как один из издателей «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, но и как создатель новой лингвистической дисциплины – стилистики. Как свидетельствует набросок выступления Ф. де Соссюра по случаю создания в Женевском университете кафедры стилистики во главе с Ш. Балли, он был не против выделения стилистики в отдельную дисциплину и относил ее к речи. Балли считал, что лингвистика включает две части: одна ближе к языку, пассивному хранилищу, вторая – ближе к речи, активной силе. «Благодаря Балли, – справедливо отметил А. Сеше в статье, посвященной Женевской школе, – стилистика получила статус лингвистической дисциплины» [Sechehaye 1927: 226].

В совместном выступлении на 1-м международном лингвистическом конгрессе в 1928 г. в Гааге Ш. Балли и А. Сеше, отвечая на вопрос «Какие методы наиболее приемлемы для полного и практического описания грамматики какого-либо языка?», выдвинули два условия такого описания: 1) грамматические категории должны извлекаться из самого языкового материала (здесь содержится скрытая полемика с Ф. Брюно, который предлагал другой путь – от содержания к форме) и 2) в равной мере должны учитываться синтагматические ассоциации [Bally 1928]. Справедливости ради следует заметить, что и Балли и, особенно, Сеше отступали от первого условия. В наибольшей степени этим условиям отвечает синтагматический синтаксис Фрея.

Стимулом для разработки синтаксической теории А. Сеше, наиболее полно изложенной в его работе «Очерк логической структуры предложения» (1926), явилась неудовлетворенность состоянием грамматических исследований в первой трети XX в., которые были ограничены морфологией.

К Соссюру восходят синхронный подход к синтаксическим явлениям, различение языка и речи, синтагматических и парадигматических отношений. Таким образом, теория Сеше стала первым опытом синхронного описания синтаксиса на основе соссюровской дихотомии языка и речи, синтагматических и парадигматических отношений в системе языка. Учение Сеше о логико-грамматической структуре предложения привлекает внимание своим функциональным подходом к грамматическим явлениям. Изучая организацию внутренней структуры предложения, Сеше переносит центр тяжести исследования на его коммуникативный аспект. Он не ограничивается чисто формальной стороной проблемы логико-грамматической организации предложения, но и показывает сдвиг между логическими и грамматическими категориями, имеющими место в речи. Это расходится со все еще встречающимся представлением о Сеше как представителе логицизма в грамматике.

Антропоцентризм, содержащийся в учении Балли об аффективности, нашел продолжение в его теории высказывания, основанной на активности мыслящего субъекта. Антропоцентризм не был и не мог быть свойственен учению Соссюра потому, что он сосредоточил свое внимание на изучении языка как абстрактной системе произвольных знаков, обладающих таким реляционным свойством, как значимость. В то же время у

Соссюра, особенно в его рукописных заметках, содержатся мысли об изучении языка в коммуникации и в связи с культурой общества.

Под высказыванием Балли понимал соединение структурно-семантической схемы предложения с его модально-коммуникативным, функциональным аспектом. В теории высказывания Балли можно выделить два аспекта: 1) отношение между модусом и диктумом, 2) отношение между темой и ремой. Центральное место в теории высказывания Балли занимает понятие модуса и диктума – основных частей высказывания. Модус отражает сам акт речи, отношение субъекта к тому, что он сообщает, а диктум представляет то, что сообщается.

Таким образом, учение Балли о модусе и диктуме опровергает утверждение Н. Хомского о том, что лингвистика после В. Гумбольдта ограничивалась анализом поверхностных структур.

Введенные в научный обиход понятия модуса и диктума оказались продуктивными для лингвистических исследований. Понятие модуса нашло применение в трансформационной грамматике для конструирования фразовых показателей глубинных структур, а модуса и диктума вместе – для разграничения предложений с различной модальностью. Эти понятия нашли также применение для анализа наклонений глагола, сложной фразы, синтаксической структуры разговорной речи, функционального изучения диалога.

Учение Балли о высказывании сохраняет актуальность в связи с современными исследованиями коммуникативного аспекта предложения. Ему, наряду с лингвистами Пражской школы, принадлежит приоритет в разработке теории актуального членения предложения. Эта теория получила чрезвычайно активное развитие, особенно в нашей стране.

Синтагматичный синтаксис А. Фрея сформировался под влиянием теории Соссюра, на него оказали определенное влияние дескриптивизм Блумфилда и учение о синтаксических функциях Ельмслева. Но в отличие от Блумфилда и его последователей Фрей развивал функциональный подход к синтаксису.

Фрей ставил перед синтаксисом три задачи: 1) установить, с какими единицами он имеет дело, 2) выяснить, каким образом эти единицы сочетаются между собой, образуя сложные выражения, 3) изучить регулярные отношения, которые могут существовать между различными выражениями и классами выражений.

Соссюровская синтагматика и парадигматика понималась Фреем в более широком плане как тактические (синтаксические) и нетактические отношения. Распространив понятие знака на синтаксические явления, он ввел единицы «дез» и «катен». «Дез» (от греч. «связь») – грамматическая категория, которая указывает на отношения взаимной зависимости, связывающие знаки в качестве определяемых и определяющих. «Катен» – несегментные средства: порядок сегментов, их чередование, просодия.

По мнению Фрея, в интересах развития синтаксической теории оба метода – трансформационный и субституций – могли бы взаимодействовать. Результатом такого взаимодействия должно стать «более глубокое понимание отношений, которые объединяют в систему различные типы синтагм, выделяемых обоими методами» [Frei 1968: 58]. Тем самым речь идет о разработке ассоциативной, или парадигматической грамматики, идеи которой высказывал Соссюр.

Фрей считал, что цель общей лингвистики – установить универсальные черты, присущие языку в широком смысле. Он допускал гипотетически, что сфера тактических отношений представляет собой константные черты, которые он сводил к отношению зависимости. Такой подход можно рассматривать как развитие соссюровской семасиологической метатеории с целью ее приложения для лингвистических систем.

В рамках Женевской школы впервые была разработана теория транспозиции. Основатель этой теории Балли определял функциональную транспозицию как способность языкового знака изменять свое грамматическое значение при сохранении семантического значения путем принятия на себя функции какой-либо лексической категории. Заслуга Балли в том, что он показал связь функциональной транспозиции с функционированием языка, с актуализацией, с синтагматическими отношениями. Транспозиция

позволяет расширить номинативные возможности языка. Явление транспозиции Сеше рассматривал как когнитивный процесс, представленный взаимозависимыми, взаимосвязанными единицами, обладающими статической и динамической модальностью. Этот процесс воплощается в языке посредством классов слов, возможность транспозиции которых обеспечивает гибкость выражения концептов.

Фрей придавал понятию транспозиции более широкий смысл, чем Балли и Сеше, определяя транспозицию как средство, позволяющее сохранить неизменной внешнюю форму знака, несмотря на изменение его функции. Теорию транспозиции Женевской школы следует рассматривать как важную часть ассоциативной, парадигматической грамматики любого языка. Она является соссюровской версией, не формализованной, но не менее плодотворной того, что позднее стали называть трансформационной грамматикой.

Функциональная теория транспозиции Женевской школы во многом предваряет развитие структуральной и трансформационной грамматик во Франции, Швейцарии, в других странах, а также генеративной грамматики в США. Она нашла также применение для исследований словообразования, синтаксической синонимии, семантического синтаксиса, теории тропов и др.

Исследователи научного творчества Ф. де Соссюра Р. Годель и Р. Амакер выделили в его учении две составляющие: семиологическую и лингвистическую. Из лингвистов Женевской школы только Л. Прието сосредоточил внимание на семиологической составляющей и последовательно развивал это направление.

Основные положения теории Прието восходят к учению Соссюра о билатеральности языкового знака и о дихотомии языка и речи. В отличие от Соссюра термины «означающее» и «означающее» Прието употребляет в широком смысле. Означающее определяется как класс сообщений, которые можно сделать посредством определенного сигнала, или фонии. Класс, которому принадлежит сигнал семического (коммуникативного) акта, называется означающим. Означающее можно иначе определить как класс сигналов, имеющих одно и то же означающее.

Подобно Э. Бенвенисту, Прието стремился установить отношения между разными семиологическими системами. Он разработал принципы классификации нелингвистических знаков, установил свойства языковых кодов, отличающие их от неязыковых (семиотическая всеобщность, креативность, бесконечное число сем). Прието исследовал такие семиотические системы, как письменность и искусство.

Прието поставил в теоретическом плане вопрос о «третьем членении», отражающем в плане содержания второе членение, другими словами, речь идет о возможности выделения элементарных единиц плана содержания, подобно элементарным единицам плана выражения (фонемам).

Прието предложил оригинальную трактовку коннотации, понимая это явление в более широком семиологическом плане, чем Ельмслев, и распространив его на неязыковые знаковые системы. В работах Прието получило также развитие уникальное направление исследований, лишь вскользь затронутое Соссюром, – диахроническая семиология.

Прието также разработал «ноологию» – функциональную теорию означающего. Он определял нозму как наибольшую совокупность релевантных черт, одновременно присутствующих в означающем. Другими словами, нозмы представляют собой минимальные единицы содержания, которые взаимно заменяются в данном означающем, подобно тому как фонемы являются минимальными взаимозаменяемыми единицами в данном означающем.

Поскольку основное понятие ноологии Прието – нозмы – это семантические единицы, относительно независимые от плана выражения, следует сделать вывод, что Прието удалось заложить основы функциональной теории содержания, где «функциональный» употребляется в том смысле, которым наделял его А. Мартине, как относящегося к возможному выбору со стороны говорящего субъекта. Ноология содержит подходы к представлению высказывания как процесса семиозиса, которые в дальнейшем получи-

ли развитие в когнитивной семантике. Не случайно А.А. Уфимцева называет Прието, наряду с Бюиссенсом, основоположником знаковой теории дискурса.

Учение Прието об означаемом находится в оппозиции к «жесткому» изоморфизму плана выражения и плана содержания Ельмслева. Он показал, что единицы двух планов не всегда соотносительны.

Семиологическая концепция Прието представляет интерес для когнитивной лингвистики. Он поставил вопрос о рассмотрении языка в тесной связи с другими формами культуры и познавательной деятельностью человека. Современным установкам когнитивной лингвистики соответствует различие в концепции Прието знаний о языке и знаний о мире. Язык является средством означивания знаний о мире. Он развил положение о вариативном способе представления содержания в процессе актуализации посредством конкретных смыслов высказывания, причем средствами не только языковых, но и неязыковых кодов.

А. Сеше писал: «характерной чертой Женевской лингвистической школы является внутренняя связь между двумя внешне противоречивыми тенденциями. Согласно первой тенденции, лингвистика является наукой, основанной на абстрактных принципах, понимание которых требует значительных усилий и специальных знаний, для второй – характерно стремление поставить науку о языке на службу практическим целям, внедрить ее в школьное преподавание языка и в повседневную жизнь, словом, сделать из нее подлинное орудие культуры» [Sechehaye 1927: 239–240].

В лингвистической литературе совершенно недостаточно внимания уделялось постановке и развитию в Женевской школе проблематики языка и общества и особенно вопроса о связи теории языка с общественной языковой практикой. Между тем в теории и практике лингвистических исследований женевские языковеды исходили из общественного характера науки о языке, ее тесной связи с практикой преподавания и важнейшей роли языка как орудия культуры. Уместно напомнить, что сам Соссюр был блестящим педагогом.

В Женевской школе получила развитие проблематика «Язык – человек – общество»: движущие факторы языкового развития, язык и культура, связь теории языка с общественной языковой практикой.

Лингвисты Женевской школы изучали как внутренние, так и внешние факторы языковых изменений. Одной из движущих сил языкового развития Сеше считал противоречие между формой и содержанием, среди причин языковых изменений он выделял антинормию говорящего и слушающего. Карцевский вслед за Соссюром трактовал проблему изменчивости языка как сдвиг отношений между означаемым и означающим. Уделял он внимание и влиянию на развитие языка внешних факторов, социально-политических событий, в частности.

Движущей силой языкового развития Балли считал экспрессивность. В 30-е годы XX в. такой подход был довольно распространенным в языкознании (Л. Шпицер, Р. Мерингер, Э. Лерх). «Тенденция к коммуникации», по мнению Балли, всегда приводит к языковым упрощениям, а тенденция к «экспрессивности» – к языковому разнообразию.

В те же годы актуальной была тема «прогресса в языке» (О. Есперсен). Балли выступал с опровержением тезиса Есперсена о семантической простоте аналитических форм. Расходился он с ним и в вопросе о причинах образования подобных форм.

Балли признавал, что возрастающие потребности общения упрощают, унифицируют язык. Развитие языка он связывал с эволюцией общества, демократизацией общественных отношений, обязательным школьным образованием, научно-техническим прогрессом, широким участием разных слоев общества в социальной жизни.

Проблематика прогресса языка приобретает новое звучание в эпоху глобализации. На повестку дня встают вопросы приспособления языков ко все усложняющимся процессам в экономической, социальной и культурной жизни современного мирового сообщества.

Тесная связь языка и культуры рассматривалась в Женевской школе в аспекте ведущей роли языка в овладении достижениями национальной и мировой культуры, повы-

шения лингвистической грамотности общества в целом. Отмечая тесную связь языка и культуры, женевские лингвисты акцентировали внимание на ведущей роли языка в овладении достижениями национальной и мировой культуры, необходимым условием которого является высокая лингвистическая грамотность. Поскольку сам язык является частью культуры, требуется владение выразительными средствами языка в разных условиях общения. Высокая языковая культура предполагает высокую общую культуру человека, культуру мышления, сознательную любовь к языку.

С. Карцевский, который поддерживал научные связи с русскими языковедами, горячо поддерживал Г.О. Винокура в том, что «общее развитие нашей культуры невозможно без развития культуры лингвистической». Карцевский выступил активным пропагандистом за рубежом реформы правописания 1917 г., вызвавшей критику со стороны консервативно настроенных преподавателей русского языка. На страницах пользовавшегося в то время большим авторитетом журнала «Русская школа за рубежом» Карцевский доказывал с научных позиций правильность и важность этой реформы для приобщения широких народных масс к русской и мировой культуре.

Женевские лингвисты первыми обратили внимание на важность изучения иностранного языка в тесной связи с культурой его носителей. Эти идеи стимулировали развитие новой дисциплины – лингвострановедения. В своем стремлении поставить достижения лингвистической науки на службу практике лингвисты Женевской школы сближаются с лучшими представителями отечественного языкознания, уделявшими много внимания этому вопросу (Д.Н. Кудрявский, Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Шахматов, Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов, Г.О. Винокур и др.).

Таким образом, женевских лингвистов объединяет стремление развить основные положения учения Соссюра, результатом которого стало формирование лингвистической концепции, включающей динамический подход к статическому состоянию языка, социальный характер речи, мотивированность знака в речи, распространение принципа линейности на обе стороны знака, асимметрия формы и содержания, общность взглядов на проблематику внешней лингвистики.

Применительно к дихотомиям Соссюра, получившим развитие в Женевской школе, целесообразно использовать термин «диада», поскольку дихотомия предполагает противопоставление, оппозицию, а «диада» – диалектическое соотношение, взаимообусловленность, а не разделение двух сторон одного объекта. Примером может служить дихотомия синхронии и диахронии, дополненная динамическим аспектом синхронии; речи, так же как и языку, присущи социальные черты. Более того, женевские лингвисты показали отсутствие жестких границ не только между двумя сторонами одной дихотомии, но и между смежными дихотомиями.

Еще одну характерную и объединяющую черту, присущую Женевской школе, можно назвать «асимметрией». Собственно говоря, «асимметрия» является следствием замены в методологическом плане дихотомий на диады, обусловленная функциональной направленностью лингвистических исследований. Это привело к еще одному отличию от учения Соссюра, в котором преобладает «симметрия» в силу центрального положения лингвистики языка и неразработанности лингвистики речи. Примерами «асимметрии» служат, в первую очередь, учение Карцевского о противоречивом, подвижном характере отношений между двумя сторонами знака, учение женевских лингвистов о мотивированности, «дистаксия» Балли, теория транспозиции и ноология Прието.

Лингвисты Женевской школы сконцентрировали внимание прежде всего на изучении языка в процессе коммуникации, т.е. на воспроизведении в речи элементов языка, на функционировании языка в обществе. А. Сеше полагал, что разрабатываемая им «лингвистика организованной речи» явилась бы в итоге «дисциплиной, изучающей функционирование языка в условиях жизни человеческого общества» [Сеше 1965: 64]. Ш. Балли писал, что «только наблюдая за функционированием языка можно вырвать у языка его секреты» [Bally 1935: 210]. В качестве одной из проблем будущего Балли называет экспериментальное изучение функционирования языка [Там же: 32]. «Для того, чтобы понять, как действительно функционирует язык, – считал А. Фрей, – необходимо строить

лингвистику как науку, объясняющую это функционирование». Такая объясняющая функциональная лингвистика, подчеркивает Фрей, будет рассматривать речевую деятельность «в качестве системы приемов, организованной для потребностей, которые она должна удовлетворять» [Frei 1929: 39].

Но если «функционирование языка», как отмечает Э. Косериу [Косериу 1963: 190–191], – это, собственно говоря, речь, то нет ничего удивительного в том, что женевцы сосредоточили внимание на развитии именно «лингвистики речи». Женевских лингвистов объединяет направленность исследований в область «лингвистики речи».

П. Гиро отмечал, что у женевских учеников и последователей Соссюра понятие системы сочетается с идеей функции, выступающей на первый план в их исследованиях. Характерная особенность женевских ученых – интерес к функционированию языка – послужила для Р.А. Будагова основанием причислить их к сторонникам функциональной лингвистики [Будагов 1954: 29]. Функциональный подход к языку является принципиально важным для характеристики лингвистической концепции Женевской школы.

Функционализм этой школы представляет интерес своим стремлением выявить функционирование языковых форм, их вариативность, асимметрию формы и содержания, различие ядерных и периферийных явлений, взаимодействие разных уровней языка. Его отличительная особенность в том, что он характеризуется двухсторонней направленностью: распространяется на исследование как проблем внутренней, так и внешней лингвистики. В этом отличие Женевской школы от глоссематики, в которой понятие функции ограничено реляционными свойствами языковых единиц.

Особенность функционализма Женевской школы, отличающая ее от других направлений, – присутствие человеческого фактора, субъекта, то, что Э. Бенвенист называл «человек в языке». Эту особенность функционализма женевских лингвистов можно рассматривать как преодоление «абстрактного объективизма» (по определению Бахтина и Волошинова) теории их учителя Ф. де Соссюра.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Балли 1955 – Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Пер. с франц. М., 1955.
- Будагов 1954 – Р.А. Будагов. Из истории языкознания (Соссюр и соссюрианство). М., 1954.
- Гак 2003 – В.Г. Гак. О книге Шарля Балли «Язык и жизнь» // Ш. Балли. Язык и жизнь. М., 2003.
- Ельмслев 1965 – Л. Ельмслев. Язык и речь // В.А. Звегинцев. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965.
- Косериу 1963 – Э. Косериу. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963.
- Кузнецов 2003 – В.Г. Кузнецов. Женевская лингвистическая школа: от Соссюра к функционализму. М., 2003.
- Кузнецов 2005 – В.Г. Кузнецов. Развитие принципа произвольности языкового знака Ф. де Соссюра в Женевской школе // ИАН СЛЯ. 2005. № 6.
- Кузнецов 2006а – В.Г. Кузнецов. Ф. де Соссюр и А. Сеше. Место работы А. Сеше «Программа и методы теоретической лингвистики» в истории языкознания // ВЯ. 2006. № 3.
- Кузнецов 2006б – В.Г. Кузнецов. Развитие принципа линейности языкового знака Ф. де Соссюра в Женевской лингвистической школе // ИАН СЛЯ. 2006. № 3.
- Кузнецов 2006в – В.Г. Кузнецов. Учение Ф. де Соссюра в свете соссурологии // ВЯ. 2006. № 5.
- Сеше 1965 – А. Сеше. Три соссюровские лингвистики // В.А. Звегинцев. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965.
- Сеше 2003а – А. Сеше. Программа и методы теоретической лингвистики. Психология языка. Пер. с франц. М., 2003.
- Сеше 2003б – А. Сеше. Очерк логической структуры предложения. Пер. с франц. М., 2003.
- Соссюр 1977 – Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.
- Трнка 1965 – Б. Трнка и др. К дискуссии по вопросам структурализма // В.А. Звегинцев. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965.
- Фрей 2006 – А. Фрей. Соссюр против Соссюра? Статьи разных лет. Пер. с франц. М., 2006.

- Энглер 1998 – *P. Энглер*. Идеальная форма лингвистики Соссюра // Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1998.
- Amacker 1974 – *A. Amacker*. Sur la notion de «valeur» // *Studi saussuriani per R. Godel*. Bologna, 1974.
- Amacker 1975 – *A. Amacker*. Linguistique saussurienne. Genève, 1975.
- Bally 1905 – *Ch. Bally*. Précis de stylistique. Genève, 1905.
- Bally 1928 – *Ch. Bally, A. Sechehaye*. Quelles sont les méthodes les mieux appropriées à un exposé complet et pratique de la grammaire d'une langue quelconque? // Actes du I-er Congrès international de linguistes à la Haye. Leiden, 1928.
- Bally 1935 – *Ch. Bally*. Le langage et la vie. Zürich, 1935.
- Burger 1955 – *A. Burger*. Phonématique et diachronie à propos de la palatalisation des consonnes romanes // *CFS*. 1955. № 13.
- Frei 1929 – *H. Frei*. La grammaire des fautes. Paris, 1929.
- Frei 1946–1947 – *H. Frei*. In memoriam Charles Bally // *Lingua*. 1946–1947. V. 1. № 1.
- Frei 1962 – *H. Frei*. L'unité linguistique complexe // *Lingua*. 1962. V. 2.
- Frei 1968 – *H. Frei*. Syntaxe et méthode en linguistique synchronique // *Enzyklopädie der geisteswissenschaftlichen Arbeitsmethoden*. IV. München, 1968.
- Engler 1967 – *R. Engler*. F. de Saussure. Cours de linguistique générale. Édition critique par R. Engler. Fasc. I. Wiesbaden, 1967.
- Godel 1957 – *R. Godel*. Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saussure. Genève; Paris, 1957.
- Karcevsky 1927 – *S. Karcevsky*. Système du verbe russe. Essai de linguistique synchronique. Prague, 1927.
- Raggiunti 1982 – *R. Raggiunti*. Problemi filosofici nelle teorie linguistiche di Ferdinand de Saussure. Roma, 1982.
- Sechehaye 1927 – *A. Sechehaye*. L'école genevoise de linguistique générale // *IF*. 1927. V. XLIV. № 44.
- Sechehaye 1930 – *A. Sechehaye*. Les mirages linguistiques // *Journal de psychologie normale et pathologique*. 1930. XXVII.
- Sechehaye 1939 – *A. Sechehaye*. Evolution organique et évolution contingentielle // *Mélanges de linguistique offerts à Ch. Bally*. Genève, 1939.
- Sechehaye, Bally, Frei 1941 – *A. Sechehaye, Ch. Bally, H. Frei*. Pour l'arbitraire du signe // *AL*. 1940–1941. V. 3. II.
- Segre 1963 – *C. Segre*. Nota introduttiva // *Ch. Bally. Linguistica generale e linguistica francese*. Milano, 1963.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 2007 г. Л. Л. ШЕСТАКОВА

АВТОРСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

В статье рассматривается круг вопросов, связанных с состоянием и тенденциями развития русской авторской лексикографии конца XX – начала XXI века. В аспекте теории авторского словаростроения анализируются вопросы типологизации писательских справочников, их макро- и микроструктуры. Обзор словарей, созданных в течение названного периода, демонстрирует такие черты современной авторской лексикографии, как значительное увеличение ее текстовой базы, многоплановая серийность словарей, привлечение к описанию разноуровневых значимых единиц авторского языка, доминирование алфавитных регистрирующих справочников, интегрирование в рамках одного издания словарей разных типов, становление авторской интернет-лексикографии и т.д.

В истории отечественной авторской (или писательской) лексикографии (АЛ) выделяется несколько этапов (см. об этом [Фонякова 1993]). Первый, ранний, этап (1880–1910-е гг.) связан с созданием преимущественно словарей регистрирующего типа, второй (1920–1950-е гг.) – с реализацией идеи толкового словаря языка А.С. Пушкина и третий (1960–1980-е гг.) – с подготовкой «неограниченно полного» объяснительного словаря М. Горького и словаря поэтического языка одной эпохи (см. [САТГ; Поэт и слово 1973]). Последний из названных периодов характеризуется разработкой словарей творчества не только отдельных, но и ряда авторов, то есть справочников монографических и сводных. Составление словарей писателей сопровождалось, как правило, обращением к вопросам истории и теории АЛ, в частности, основных измерений авторских справочников, формирования словника и структуры словарной статьи. Отражением этого стали работы Г.О. Винокура, Б.А. Ларина, М.Б. Борисовой, Р.Р. Гельгардта, В.П. Григорьева, П.Н. Денисова, М.А. Карпенко, Н.С. Ковтун, Д.М. Поцепни, Ю.С. Сорокина, О.И. Трофимкиной, А.В. Федорова, О.И. Фоняковой, О.В. Творогова и других, представленные в разделе «Библиография» книги [Антология 2003].

Период с начала 90-х гг. XX в. по настоящее время может быть рассмотрен в эволюции АЛ как безусловно новый и самостоятельный. В это время она развивается особенно интенсивно, что представляется ярким проявлением общей – в мировой и отечественной словарной науке – тенденции к массовому «ословариванию» языковых единиц разных уровней и классов. Утверждение АЛ как метода изучения языковой личности, индивидуальных авторских стилей, языка литературных произведений находит выражение в публикации новых словарей, организации оригинальных словарных проектов, оформлении методик лексикографирования языка творческой индивидуальности с широким применением современных компьютерных технологий. Общая характеристика названного периода, в первую очередь 1990–1995 гг., уже была дана в работе [Шестако-

ва 2003а]. Поэтому здесь речь пойдет о состоянии и тенденциях развития авторского словаростроения последнего десятилетия.

В пространстве АЛ этого времени выделяется несколько различающихся по своему содержанию направлений работы, основное из которых связано, как и прежде, с составлением типологически и параметрически разных словарей языка русских писателей. Имеем в виду и теоретическую работу, прежде всего – как необходимое сопровождение в реализации того или иного словарного проекта, и практическую – по созданию словарей разных авторов. Подробнее об этом будет сказано ниже. Данное направление расширяется за счет немногочисленных словарей, ориентированных на описание иноязычных элементов в лексиконе русских писателей. Из опубликованных это, например, «Идеографический словарь языка французских стихотворений Ф.И. Тютчева» [Орехов 2004], из планируемых – «Словарь галлицизмов в романе Л.Н. Толстого “Война и мир”» [Очкасова 2005]. Напомним, что ранее иноязычные пласты в авторских лексиконах, как правило, оставались за пределами словарей языка писателей (см., к примеру, [СЯП]). К этому направлению примыкает работа по составлению словарей языковых личностей иного типа – не писателей, а, например, политиков или лиц, чем-то выделяющихся среди обычных носителей языка. См., например, «Словарь языка Александра Лебедева» [Самотик 2004] и «Словарь языка Агафьи Лыковой» [Толстова 2005].

Другое направление связано с привлечением российскими лексикографами к словарному описанию произведений зарубежных писателей, например, Э.-М. Ремарка [Фадеева 2000] и У. Эко [Логош, Петров 2002]. Его тоже можно представить в расширенном виде – за счет отечественных изданий энциклопедического типа о творчестве иноязычных авторов, например, популярного в нашей стране Толкиена (см. [Толкиен 2000; Меры Толкиена 2003]).

Еще одно направление в отечественной АЛ образуют исследования по другим национальным АЛ. Это, например, труды О.М. Карповой и ее учеников по англоязычной, в первую очередь шекспировской, лексикографии. Последняя книга, представляющая эту ветвь АЛ, – «Словари языка писателей и цитат в английской лексикографии» [Карпова, Коробейникова 2007]; список других работ см. в [Антология 2003; Карпова 2004].

Очевидно, что работа в рамках названных направлений ведется не обособленно и базируется на том опыте, который накоплен в русской и мировой лексикографии не только авторской, но и общей. Подтверждением этого могут служить сборники материалов лексикографических школ, семинаров и конференций, например [Язык. Культура 2001; Лексика, лексикография 2005].

В течение рассматриваемого периода в теории и практике создания словарей писателей обозначились тенденции, которые ясно прослеживаются при обзоре, с одной стороны, исследовательской литературы, собственно словарной – с другой. И хотя такое разделение во многом условно (тем более что теорией и практикой АЛ занимаются в основном одни и те же специалисты, обычно участники конкретных словарных проектов), анализ тенденций целесообразно построить, для наглядности выстраиваемой картины, именно на последовательном рассмотрении теоретического и практического аспектов АЛ.

Проблемные вопросы АЛ изучаются с учетом современных подходов к исследованию языковых явлений – когнитивного, антропоцентрического и других; см., например [Бородулина, Кац, Ревзина, Чувилина 2004; Поцепня 2004]. Среди этих вопросов выделяются центральные, которые образуют собственно теорию АЛ, т.е. проблемы общей типологии авторских словарей, их макро- и микроструктуры.

Теоретическая база словарей писателей строится обычно с учетом практической АЛ (как отечественной, так и зарубежной), дающей образцы словоуказателей, конкордансов, словарей толковых, фразеологических, ономастических, неологических и других. Многоплановость авторских словарей определяет возможность использования целого ряда дифференциальных признаков в качестве основы для их классификации. Так, предлагаемая в [Шестакова 1998] типология, построенная с учетом, во-первых, существующих классификаций, во-вторых, сложившихся и складывающихся разновидностей

словаря писателя, представляет собой систему координат из 10 взаимодополняющих признаков, путем сочетания которых можно квалифицировать тот или иной словарь (в том числе – любой проектируемый). В соответствии с этой типологией авторские словари подразделяются на: 1) филологические (лингвистические) и энциклопедические (по характеру даваемых в них сведений (о слове или реалии)); 2) словари языка авторов, словари идиостилей, словари образов (по основному объекту описания); 3) объяснительные, регистрирующие (фиксирующие), переводные (по основной цели описания); 4) полные (авторские тезаурусы) и неполные, дифференциальные; в иных терминах – общие и частные (по охвату описываемого материала); 5) словари с заголовочной единицей, равной слову (словозначению), и заголовочной единицей больше слова (словари сочетаний, устойчивых выражений, цитат) (по единице описания); 6) одно-, двух- и многопараметровые словари (по способам описания); 7) алфавитные и неалфавитные (по расположению заголовочных единиц); 8) одноязычные, двуязычные и многоязычные (по числу языков); 9) исторические авторские словари (построенные на материале авторов прошлых эпох) и современные авторские словари (построенные на материале современных писателей) (по временной перспективе); 10) словари с научно-описательной ориентацией, адресованные специалистам-филологам, и словари учебные, адресованные учащимся, студентам (по функции и адресату). Приведенная классификация предполагает дальнейшее деление обозначенных разновидностей словарей. Например, словари идиостилей (2) делятся на: полные словари идиостилей отдельных авторов, стилистические словари отдельных произведений, групп произведений, словари отдельных авторских стилистических черт и другие.

К разным способам типологизации авторских словарей исследователей подводит работа над отдельными словарными проектами. Подчеркнем, что это обычно проекты словарей новых типов, сам выбор, оформление которых обуславливают необходимость выявления их классификационных свойств, определения той ячейки в словарной типологии, которую может занять новый справочник. Связанные с конкретными словарями труды этих исследователей в своей теоретической части нередко перерастают рамки отдельных проектов и приобретают самостоятельный характер. Один из примеров – это опубликованная в книге «Русская авторская лексикография XIX–XX вв.» статья Ю.Н. Караулова и Е.Л. Гинзбурга «Опыт типологизации авторских словарей» [Антология 2003: 4–16]. Иницированная работой над «Словарем языка Достоевского» типология, содержащаяся в статье, стала результатом соединения ранее разрабатывавшихся Карауловым идей лексикографической параметризации языка, языковой личности и ее структурной организации, а также идеи противопоставления «говорящий vs. слушающий». Все авторские словари распределяются, в соответствии с этим, по трем группам: 1) словари, содержащие лексико-грамматическую информацию о словах, употребленных в текстах автора, отражающие параметры индивидуальной ассоциативно-вербальной сети говорящего; 2) словари, фиксирующие элементы авторского «мира», описывающие единицы (параметры) когнитивного уровня в структуре языковой личности; 3) словари, основные параметры которых несут информацию об оценках автором реального мира, его жизненных установках, устремлениях, идеалах и т.п., то есть отражают прагматический уровень языковой личности.

Еще один пример – монография И.А. Тарасовой «Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект», в которой предлагается типология авторских словарей с точки зрения отражения в них концептуальной информации о художественном мире писателя [Тарасова 2003: 183–199]. Концепция словаря писателя, построенного на двунаправленном движении «От формы к смыслу» и «От смысла к форме», реализована в «Словаре ключевых слов поэзии Георгия Иванова» (словарь находится в печати; о лежащих в его основе принципах см. [Тарасова 2003: 199–233]).

К сказанному следует добавить, что в работах по АЛ, кроме развернутых классификаций словарей писателей (которых, понятно, не много), содержатся размышления исследователей о возможных типологических характеристиках таких словарей, в том числе в связи с общесловарными типологиями. Например, А.Л. Голованевский, отталкива-

ясь от антиномичной в своей основе известной словарной типологии Л.В. Щербы [Щерба 1974], намечает такую лексикографическую антиномию: «толковый словарь – словарь языка автора» [Голованевский 2004а: 16]. Подобное противоположение не бесспорно, ибо «словарь языка автора» существует не только в своей толковой ипостаси, но и во множестве других. Полагаем возможным противопоставление таких типов словарей, как словарь общего языка (общезыковой словарь) – словарь языка автора (авторский словарь). См. об этом также [Шестакова 1998: 46].

На новый уровень выходит решение проблем, связанных с макроструктурой авторского словаря, с формированием его словника, или, точнее говоря, – с определением сущностных свойств единицы словника, а также выбором адекватного этим свойствам ее обозначения. Так, работа над «Словарем языка Достоевского» привела его составителей к выделению и д и о г л о с с, понимаемых как слова, которые являются важными для творчества Достоевского, «играют главную роль в числе используемых им изобразительных средств, несут ключевые идеи его миропонимания, характеризуют неповторимый идиостиль автора» [Словарь Достоевского 2001: XIV]; см. также [Караулов 2001]. Именно идиоглоссы как лексические единицы, структурирующие мир языковой личности писателя, составляют словник базового словаря языка Достоевского.

В «Словаре языка Михаила Шолохова» для обозначения единицы словника используется термин *текстема*, обозначающий концептуальное понятие, связанное с выражением авторских идей и представлений. Как смысловое текстовое поле на вербальном уровне текстема являет собой «слово или сочетание слов, встречающиеся в произведениях писателя в совокупности своих значений: в общеупотребительном прямом и переносном значениях и в собственно авторском, текстовом смысле» [Словарь Шолохова 2005: 27].

Сказанное можно проиллюстрировать и термином *экспрессема*, введенным в лингвопоэтический обиход В.П. Григорьевым. Напомним, что экспрессема – это парадигма хронологически выстроенных контекстов поэтического слова. Как единица словника данное понятие использовано в многотомном «Словаре языка русской поэзии XX века» [СЯРП], материалы которого вывели на конкретизацию этой единицы – в виде частных понятий *сильная экспрессема*, или *эврестема*, и *слабая экспрессема* [Григорьев 2003; 2004]. На выделении, по определенным критериям, сильных экспрессем построен Пробный выпуск малого компрессированного словаря поэтического языка [Цитаты для всех 2004, 2006], производного от названного большого.

Сама идея специального именованья единицы словника в словаре писателя кажется плодотворной – прежде всего для воссоздания, с помощью ключевых лексем, художественной картины мира – индивидуальной или совокупной (во втором случае, например, при лексикографировании языка целостного литературного направления).

Теоретические разработки по микроструктуре – структуре словарной статьи в авторском справочнике – складываются из соответствующих частей отдельных словарных концепций. Эти разработки находят отражение в инструкциях, предисловиях к конкретным словарям, а также в публикациях их составителей (см., например [Ничик 1997; Колодяжная, Шестакова 1998; Ревзина, Белякова 2004; Мелерович, Мокиенко 2005] и др.). Вместе с тем накопившийся в отечественной АЛ опыт составления словарей разных типов сейчас уже подводит исследователей к необходимости детальной типологизации не только самих словарей, но и представленных в них словарных статей. В АЛ понятие типологии словарных статей, конечно, в некоторой степени условно – ведь практически в каждом словаре писателя (даже созданном по какому-то образцу) в структуру словарной статьи вносятся новации, связанные с особенностями языка, стиля, мировидения выбранного автора, периода в истории развития художественной речи и т.п. При всем многообразии вариантов словарной статьи выделяются, тем не менее, структурно и содержательно различающиеся статьи, представленные, например, в лингвистических и энциклопедических, алфавитных и идеографических, одноязычных и двуязычных авторских словарях. Так, с основными типами алфавитного лингвистического словаря пи-

сателя – регистрирующим (фиксирующим) и объяснительным – согласуются свои типы словарной статьи. С одной стороны, это статьи в словоуказателе, частотном справочнике, конкордансе (которые могут интегрироваться в одну совокупную статью), с другой – в глоссарии и толковом словаре писателя, представляющие разную степень глубины лексикографической обработки авторского слова. Подробнее об этом см. [Шестакова 2007].

Кроме рассмотренной проблематики, специалистами обсуждаются и многие другие вопросы авторского словаростроения. Это, в том числе, место АЛ в современной филологии [Борисова 1999; Григорьев 2005], основной предмет ее описания [Гинзбург 1999; 2000], история и состояние, проблемы и перспективы развития поэтической и прозаической лексикографии [Туралина 2001; Шестакова 2001; 2004; 2006б] отражение образа мира писателя в словарях разных типов [Поцепня 1997; Селезнева 2004; Гребенников 2006], эволюция некоторых словарных жанров и специфика словарей новых разновидностей [Леденева 2000; Карпова 2001; Григорьев 2003; Борисова 2005; Приходько 2006; Фатеева 2006], принципы обработки и словарное представление единиц определенных классов и разрядов: от морфем до имен собственных, фразеологизмов, констант и концептов [Коробова 1996; Караулов 1999; Кожевникова, Петрова 1999; Кретов, Матьцина 1999а; Эзериня 1999; Калинин 2000; Яцкевич 2000; Алешина 2001; Шестакова 2003б; Тарасова 2005 и др.], прагматическая, в том числе стилистическая, информация в словаре писателя [Борисова 1997; Гайкович 1997; Шестакова 2006а], авторские словари с точки зрения перспективы пользователя [Карпова 1997], роль словарей писателей в языковой культуре народов [Карпова 2001; Карпова, Карташкова 2001], лингвометодические основы словарного описания авторского языка [Варданын 1996; Хорохордина 1996], применение современных информационных технологий в АЛ [Орехов, Коган 2005] и т.д. Некоторые из приведенных работ нашли отражение в библиографической части уже упоминавшейся книги [Антология 2003]. Эта книга, включающая в себя описание разных подходов и теоретических принципов создания словарей писателей, примеры лексикографического отражения особенностей индивидуальных авторских стилей, стала первым серьезным обобщением богатого опыта русской АЛ (оценку ее см. в рецензии [Карпова 2004]).

Следует отметить, что АЛ получает в рассматриваемый период более полное, чем ранее, отражение в общих пособиях по теории и практике составления словарей. См., к примеру, разделы «Словари языка писателей» в изданиях [Козырев, Черняк 2000; Дубичинский, Самойлов 2000; Шимчук 2003]. Публикуются и специальные пособия, например [Вольфсон, Серенков 2002], а также программы учебных вузовских курсов по авторской/писательской лексикографии [Учебные программы 2002; Шестакова 2003в].

Перейдем далее к обзору собственно словарной литературы, сосредоточившись на лингвистических авторских справочниках (рассмотрение авторских энциклопедий и энциклопедических словарей может составить предмет отдельной работы). Общий взгляд на практическую АЛ последнего десятилетия показывает, что она дает различные образцы словарей как завершенных, так и продолжающихся. Их анализ выявляет целый ряд черт, определяющих в своей совокупности специфику авторских справочников рассматриваемого периода.

С середины 90-х гг. по настоящее время вышло более полусотни словарей – языка поэзии, прозы, драматургии, литературы XIX и XX вв., одного автора и ряда авторов. Понятно, что эти словари, созданные на обширной текстовой базе, характеризуются разным масштабом и объемом. С одной стороны, выделяются, например, справочники к отдельным стихотворениям (см. [Изотов 1997; 1999]), а, с другой – словари всего творчества (или большей его части) одного писателя [Словарь Цветаевой 1996–2004; Словарь Паустовского 1998; 2000; Кимягарова 2006] или группы авторов [СЯРП].

Заметно увеличился состав авторов, в том числе современных, творчество которых подвергается словарному описанию. Диапазон здесь очень широк – от Ломоносова (о проекте «М.В. Ломоносов: словарь языковой личности» см., например [Волков 2007]) до Бориса Акунина [Самотик 2005]. Надо сказать, что общее число писателей, язык ко-

торых представлен в словарной форме, уже довольно велико. А если учитывать всех авторов, фигурирующих во всех существующих сводных («многоавторских») словарях, то список значительно возрастет. Например, только в первом выпуске «Материалов к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв.» [Кожевникова, Петрова 2000] содержатся примеры из произведений порядка 300 поэтов и прозаиков. Добавим также, что АЛ дает образцы словарей писателей, с творчеством которых связано формирование культурно-исторического облика конкретного региона страны. Например, в Красноярском университете подготовлены словари языка сибирских авторов, в частности, исторической прозы Анатолия Чмыхало [Самотик 1999]. См. также словари забайкальских писателей [Шангина 2006; Вавилова 2007].

Наблюдается обращение к писателям, художественное наследие которых ранее уже интерпретировалось лексикографически, однако вновь избирается (по значимости в историко-литературном процессе, стилистико-языковому богатству и т.д.) в качестве объекта словарного описания. Так, пополнились новыми изданиями семейства словарей языка Пушкина, см., например [Кретов, Матыцина 1999б; Мокиенко, Сидоренко 1999; Гайдуков 2003], и Грибоедова [Королькова 1996; Грибоедов 2007].

Одну из отличительных черт современной АЛ можно определить через понятие серийности. Проявляется серийность по-разному: как задуманная – например, в проекте «Словарь языка Достоевского» (в этом словаре экспликация понятия «серия словарей» опирается «на идею дифференциально-распределительного представления лексического строя идиолекта. Это должна быть серия одноаспектных и многоаспектных словарей, образующих такую сеть, содержательные характеристики которой исчерпывающим образом “покрывают” свойства и особенности языка Достоевского» [Словарь Достоевского 2001: XXX]), так и подсказанная работой над каким-то конкретным словарем. Например, в процессе осуществления проекта [СЯРП] возникла идея создания малых, производных справочников, методика которых, до выхода в свет большого словаря, реализуется в модифицированном виде на определенных пластах лексики. Эта идея получила воплощение в нескольких, не имеющих аналогов, словарях – таких как [Григорьев, Колодяжная, Шестакова 2005; Цитаты для всех 2004, 2006].

Серийность просматривается и в том, что лексикографы создают по единым принципам словари языка разных авторов. См., например, составленные Н.А. Тураниной словари метафор Маяковского, Блока, Есенина [Туранина 1997а; 1997б; 1998]; опубликованные В.Б. Феркелем словари личных имен в произведениях Л. Толстого и М. Булгакова [Феркель 2006а; 2006б]. Наконец, своего рода серийность обнаруживается и в том, что по отдельным авторам создается сразу несколько словарей. Так, творчество Тютчева в разных объемах описано в словарях [Орехов 2004; Бобунова, Хроленко 2005]; кроме того, продолжается работа над полным поэтическим словарем Тютчева – см. об этом [Голованевский 2003; 2004а; 2004б; Голованевский, Атаманова, Чернявская 2004]. Ср. также сказанное выше о новых пушкинских и грибоедовских словарях.

Принцип серийности реализует возможность и плодотворность применения, с одной стороны, разных форм в словарном описании языка одного автора, с другой стороны – единой формы в приложении к разным авторам. В целом же он отражает один из общих лексикографических принципов, определяемый как множественность словарных описаний языка.

Взгляд на писательские словари с типологической точки зрения показывает, что большую их часть составляют, как и прежде, алфавитные регистрирующие справочники, быстроту и легкость создания которых обеспечивают современные компьютерные технологии. За эти годы появилось, к примеру, немало частотных словарей – языка Полежаева, Достоевского, Горького, Чехова, Л. Андреева, Пастернака, Гумилева, Твардовского и других авторов – см. [Васильев 2001; Шайкевич 1998; Шайкевич, Андриященко, Ребецкая 2003; Алексеев 1996; Гребенников 1999; 2003; Романова 1997; Смагина 2001; Шаповалов 1999]. Отметим также издание [Кавецкая, Кретов 1996], представляющее собой опыт обратного частотного словаря поэзии Кольцова.

Из словарей регистрирующего типа специально следует сказать о конкордансах. В нашей науке сам термин *к о н к о р д а н с* существовал преимущественно в соотнесении с зарубежной АЛ (в которой, напомним, представлены конкордансы к произведениям русских поэтов – Баратынского, Тютчева, Манделштама и других) и даже не попадал в большие толковые словари русского языка. Сейчас ситуация изменилась: публикация отечественными исследователями поэтических конкордансов, в их классической и обновленной форме, одного автора и ряда авторов – см., к примеру [Гайдуков 2003; Гик 2005; СЯРП], издание на русском языке пушкинского конкорданса [Шоу 2000] «узаконили» существование у нас и самой этой лексикографической формы, и обозначающего ее термина. Он, кстати, имеет теперь и словарную фиксацию – см. [БТС 1998: 449].

Семейство алфавитных объяснительных авторских словарей (прежде всего, толковых) расширяется значительно медленнее – очевидно, что работа над такими словарями более трудоемкая и растянута во времени. Тем не менее список словарей этого типа пополнился новыми образцами, среди которых есть завершенные и продолжающиеся справочники – например, по творчеству Крылова [Кимягарова 2006] и Достоевского [Словарь Достоевского 2001]. Важно отметить, что растет число попыток применения методов толковой лексикографии к описанию поэтических идиостилей – см., к примеру [Воронова 2004], хотя по-прежнему бытует точка зрения на невозможность адекватного анализа словарными средствами поэтической семантики.

Наблюдения над тем, как организованы статьи в толковых авторских словарях рассматриваемого периода, позволяют выделить несколько существенных моментов: во-первых, устойчивость в статьях основных структуроженных зон; во-вторых, расширение рамок словарных статей для введения новой информации лингвистического характера и иных дополнительных сведений (в частности энциклопедических); в-третьих, в истолковании значений – тенденцию к совмещению вариантов толкования, подаче их в предположительной модальности, к авторскому комментированию толкований, а также укрупнению семантического членения слова. Комплексная многопараметровая статья современного объяснительного словаря писателя – это результат многосторонней лексикографической обработки слова. Такая статья способна ответить на множество вопросов, среди которых определяющий характер приобретает вопрос о месте слова и именуемого им объекта, явления, признака и т.п. в художественном мире автора; подробнее об этом см. [Шестакова 2007].

К сказанному об алфавитной АЛ добавим также, что в ней проявляет себя тенденция к интегрированию в рамках одного издания словарей разных типов. Это может быть объединение регистрирующих справочников (словоуказателя, частотного словаря, конкорданса) или толковых и регистрирующих. Пример первого рода демонстрирует «Частотный словарь лирики О. Манделштама» [Черашняя 2003], второго – «Словарь языка и рифм поэзии Н. Рубцова» [Сидоренко 2005]. В словарь поэзии Рубцова входят толковый идиостилевой словарь, словари имен собственных, фразеологизмов, тысячи самых частых слов и, как видно из названия книги, словарь рифм. Напомним, что образцы соединения, на взаимодополняющей основе, словарей рифм и конкордансов даются в [Shaw 1975a; 1975b].

Наметилось оживление в сфере двуязычной АЛ. Например, опубликован в двух выпусках [Словарь Вапцарова 1998; 2004], представляющий собой опыт лексикографического описания болгарского художественного текста. Он создается по методике Б.А. Ларина, реализованной в [САТГ] и других словарях горьковской серии. В изданных выпусках содержится 1000 лексических единиц, общий же объем словаря составит более 2500 слов. См. также двуязычный дифференциальный словарь [Фадеева 2000].

Постепенно заполняется в словарной типологии ячейка писательских словарей идеографического типа. Идеография как метод моделирования индивидуально-авторской картины мира применяется не столь широко, как можно было бы ожидать. Едва ли не единственный пример основанного на этом методе справочника по языку отдельного автора – это уже упоминавшийся словарь [Орехов 2004]. Вместе с тем идеографический принцип реализуется в нескольких сводных словарях, материалы которых

дают представление о разных фрагментах художественной картины мира; это, например, [Кожевникова, Петрова 2000; Иванова Н.Н., Иванова О.Е. 2004]. Идеографическое начало присутствует и в книге М.А. Бобуновой, А.Т. Хроленко «Тютчев и Фет: опыт контрастивного словаря». Здесь заголовочные слова объединяются в кластеры (под которыми понимается «совокупность слов различной частеречной принадлежности, семантически и/или функционально связанных между собой» [Бобунова, Хроленко 2005: 16]), которым соответствуют такие понятийные разделы словаря, как «Мир природы», «Человек телесный», «Время» и др.

Оценивая авторские словари с точки зрения полноты охвата творчества писателей, надо сказать, что наряду со словарями языка одного произведения, группы произведений одного жанра, одной поэтической книги, периода творчества писателя, полного словаря писателя, все большее распространение получают дифференциальные справочники отдельных пластов авторской лексики и фразеологии. Описываются авторские новообразования (как в поэзии, так и в прозе), используемые писателями диалектные, устаревшие, жаргонные слова, имена собственные разных типов и т.д. См., к примеру [Масленников 2000; Алешина 2002; Яцкевич 2004; Григорьев, Колодяжная, Шестакова 2005] и другие. Нередко словари содержат информацию сразу о нескольких лексических пластах, оцениваемых как маркеры идиостиля автора. Так, «Словарь языка Василия Шукшина» [Елистратов 2001] включает специфически шукшинские слова, а также диалектизмы, историзмы, жаргонизмы, которые встречаются в текстах писателя.

В последние годы ясно обозначилась тенденция к созданию дифференциальных словарей, включающих афоризмы, цитаты, крылатые выражения, извлеченные из произведений разных авторов. Подобные словари появились на материале творчества писателей XIX в., например, Пушкина, Гоголя [Мокиенко, Сидоренко 1999; Шкляревский 1999; Прозоров 1996]. В этот процесс вовлекается русская поэзия начала, первой трети, второй половины XX столетия – см. [Крылов 2004; Цитаты для всех 2004, 2006]. Очевидно, что словари такого рода реализуют один из возможных способов «сохранения ... языкового фонда нации» [Карпова, Коробейникова 2007: 123], освоения национального культурного, художественного наследия, приближения его к рядовому носителю языка. Адресат подобных словарей – это широкий читатель, а не, скажем, специалист-филолог, на которого в принципе ориентированы словари писателей. Надо сказать, что названная тенденция обнаруживается и в других национальных АЛ, например, в английской, где возросло число словарей, словариков – вплоть до календарного типа, содержащих выдержки из произведений Шекспира. Так, один из интересных справочников последнего времени – это книга Томаса Лича «Say it like Shakespeare» [Leech 2001], открывающая новую страницу в создании сборников цитат и крылатых выражений, которые рекомендуются к использованию политикам, общественным деятелям и т.п. [Карпова 2006: 86]. Стоит отметить, что такие образцы массовой литературы, как календари с цитатами из сочинений Шекспира на каждый день, нередко строятся на основе авторитетных изданий произведений великого драматурга и словарей к этим произведениям. Привлекается, в частности, известный конкорданс М. Спевака ко всему творчеству писателя [Spevak 1968–1975].

В отдельную разновидность дифференциальных авторских словарей группируются словари тропов, изобразительных средств. Они носят как монографический, так и сводный характер, ориентируясь в целом на описание индивидуально-авторской и общехудожественной (общепозетической) образных систем. Некоторые примеры подобных словарей уже приводились выше, в добавление к ним назовем [Павлович 1999; Феркель 2002; 2005; Краснянский 2006]. Примечательно, что в названном аспекте стал активнее описываться язык писателей – наших современников – см., например [Фролова 2004].

Словари, о которых шла речь, представлены преимущественно в печатном формате. Однако современная АЛ – это и часть интернет-лексикографии, хотя число словарей, представленных в электронном виде, пока уступает книжным. Обращение к интернет-ресурсам позволяет обнаружить не только ссылки на некоторые книжные издания, например, на [СЯП], конкордансы к поэзии Баратынского, Батюшкова и других авторов,

но и собственно словари, существующие в интернет-версиях. Это, например, «Конкордансы всех произведений Ф.М. Достоевского», «Словарь языка А.С. Грибоедова», составленный по материалам полного собрания сочинений писателя. Справочники по языку поэзии представлены пока преимущественно разными материалами [СЯРП]. Так, интернет-словарь [Религиозная лексика 2005] содержит около 3000 статей на слова соответствующей тематики. Словарь состоит из шести частей (А–Ж; З–К; Л–Н; О, П; Р, С; Т–Я), которые помещались в интернете в течение ряда лет по мере подготовки материалов. Каждая часть словаря состоит из разделов: От редакции, Структура словарной статьи, Биографии поэтов, Список заголовочных слов. Конкретная словарная статья открывается при выборе пользователем соответствующего заголовочного слова. Авторская, как и общая, интернет-лексикография использует технологии электронного накопления и хранения информации, позволяющие корректировать и обновлять словари – увеличивать их объемы, трансформировать макроструктуру, преобразовывать содержание словарных статей в соответствии с запросами пользователей.

Анализ изданных и составляемых авторских словарей, подкрепленный сравнением с общей и иномациональными лексикографиями, выводит на те их типы, которые могли бы расширить существующий свод таких справочников. Имеются в виду, прежде всего, виды словарей, подсказываемые самой спецификой авторских лексиконов и идиостилий. Так, у нас единичный характер носят писательские словари специальной лексики (в отличие, например, от шекспировской лексикографии, где они представлены в немалом количестве). Вместе с тем в творчестве многих писателей она занимает далеко не последнее место – например, военная лексика в произведениях Л. Толстого. Другие словарные ячейки, слабо или совсем не заполненные, соотносятся с многоязычными, толково-энциклопедическими, произносительными и иными авторскими словарями, а по предмету описания, например, с языком поэтов современных школ и направлений.

В заключение отметим, что отечественная АЛ развивается в рамках национальной лексикографии и с очевидностью выделяется в ней наряду с другими словарными направлениями, сохраняя свою специфику даже при пересечении с ними (ср. диалектные словари и словари диалектизмов в произведениях отдельных авторов, словари новых слов и словари авторских неологизмов). Тенденции, обнаруживаемые в АЛ сегодня, проявляются в разработке широкого круга вопросов теории авторского словаростроения, и прежде всего, типологии словарей писателей, их макро- и микроструктуры, в значительном увеличении текстовой базы АЛ, в многоплановой серийности создаваемых словарей, привлечении к описанию разноуровневых значимых единиц авторского языка, доминировании дифференциальных регистрирующих словарей, становлении авторской интернет-лексикографии и т.д. Полагаем, что эти тенденции получают продолжение и в последующие годы, утверждая тем самым место данного научного направления в лексикографии и в общей парадигме наук о языке художественной литературы и индивидуальных авторских стилях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев 1996 – *П.М. Алексеев*. Частотный словарь автобиографической трилогии М. Горького. СПб., 1996.
- Алешина 2001 – *Л.В. Алешина*. Словари авторских новообразований в контексте современной отечественной лексикографии. Орел, 2001.
- Алешина 2002 – *Л.В. Алешина*. Словарь авторских новообразований Н.С. Лескова. Вып. 1. А–Б. Орел, 2002.
- Антология 2003 – Русская авторская лексикография XIX–XX веков: Антология / Отв. ред. Ю.Н. Караулов. М., 2003.
- Бобунова, Хроленко 2005 – *М.А. Бобунова, А.Т. Хроленко*. Тютчев и Фет: опыт контрастного словаря. Курск, 2005.
- Борисова 1997 – *М.Б. Борисова*. Идеологическая коннотация, формирующая прагматический компонент значения слова, и ее лексикографическое отражение // Лингвистическая прагматика в словаре: виды реализации и способы описания: Сб. статей. СПб., 1997.

- Борисова 1999 – М.Б. Борисова. Писательская лексикография в парадигме наук о художественном тексте // Русистика. Лингвистическая парадигма конца 20 в. СПб., 1999.
- Борисова 2005 – М.Б. Борисова. Толковый словарь языка писателя – традиции и специфика // Слово. Словарь. Словесность: Экология языка (к 250-летию со дня рожд. А.С. Шишкова). Мат-лы Всероссийской конф. СПб., 2005.
- Бородулина, Кац, Ревзина, Чувилина 2004 – А.В. Бородулина, Е.А. Кац, О.Г. Ревзина, А.Ю. Чувилина. Поэтическая лексикография в когнитивном аспекте // Словарное наследие В.П. Жукова и пути развития русской и общей лексикографии. 3-и Жуковские чтения. Великий Новгород, 2004.
- БТС 1998 – Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 1998.
- Вавилова 2007 – Л.Г. Вавилова. Словарь языка писателя А. Русанова // <http://lgvavilova.narod.ru/work7.htm>.
- Варданян 1996 – О.А. Варданян. Язык поэта: проблема его учебно-лексикографической фиксации // Вопросы лингвистики и лингводидактики. Мат-лы конф. МАПРЯЛ (Краков, 23–24 апреля 1996 года). Kraków, 1996.
- Васильев 2001 – Н.Л. Васильев. Словарь языка А.И. Полежаева. Саранск, 2001.
- Волков 2007 – С.С. Волков. О лексикографическом проекте «М.В. Ломоносов: словарь языковой личности» // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Междунар. конгресс исследователей русского языка. Труды и мат-лы. М., 2007.
- Вольфсон, Серенков 2002 – Э.М. Вольфсон, Ю.С. Серенков. Художественный мир и словарь языка писателя: Уч.-метод. пособие. Новокузнецк, 2002.
- Воронова 2004 – Т.А. Воронова. Словарь лирики Арсения Тарковского. Часть I (А – Йота). Воронеж, 2004.
- Гайдуков 2003 – Д.А. Гайдуков. Опыт конкорданса к роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» с приложением текста романа. М., 2003.
- Гайкович 1997 – Т.И. Гайкович. Прагматическая информация в общем толковом словаре и словаре писателя // Лингвистическая прагматика в словаре: виды реализации и способы описания: Сб. статей. СПб., 1997.
- Гик 2005 – А.В. Гик. Конкорданс к стихотворениям М. Кузмина. Т. 1: А–Й. М., 2005.
- Гинзбург 1999 – Е.Л. Гинзбург. Альтернативы писательской лексикографии. I // Актуальные проблемы современной лексикографии. Мат-лы научно-методич. конф. (МГУ, 22 мая 1997 года). М., 1999.
- Гинзбург 2000 – Е.Л. Гинзбург. Альтернативы писательской лексикографии. II // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2000. № 2.
- Голованевский 2003 – А.Л. Голованевский. «Поэтический словарь Ф.И. Тютчева» и его место в русской поэтической лексикографии // Поэтическое наследие Ф.И. Тютчева: Литературоведение, лингвистика, методика. Брянск, 2003.
- Голованевский 2004а – А.Л. Голованевский. Индивидуальный словарь автора и поэтический текст // Рациональное и эмоциональное в языке и речи: Средства художественной образности и их стилистическое использование в тексте. М., 2004.
- Голованевский 2004б – А.Л. Голованевский. О лексикографировании высокочастотных слов в «Поэтическом словаре Ф.И. Тютчева» // Вопросы лексики и фразеологии русского языка. Памяти профессора Р.Н. Попова: Сб. научн. статей. Орел, 2004.
- Голованевский, Атаманова, Чернявская 2004 – А.Л. Голованевский, Н.В. Атаманова, Е.А. Чернявская. Поэтический словарь Ф.И. Тютчева: загадки, гипотезы, отгадки // Вестник Брянского университета. Брянск, 2004. № 2.
- Гребенников 1999 – А.О. Гребенников. Частотный словарь рассказов А.П. Чехова. СПб., 1999.
- Гребенников 2003 – А.О. Гребенников. Частотный словарь рассказов Л.Н. Андреева. СПб., 2003.
- Гребенников 2006 – А.О. Гребенников. Частотный словарь и образ мира писателя // Словоупотребление писателя. Вып. 3: Межвуз. сб. / Под ред. Д.М. Поцепни. СПб., 2006.
- Грибоедов 2007 – А.С. Грибоедов. Горе от ума: Комедия в четырех действиях в стихах / А.С. Грибоедов. Словарь языка комедии «Горе от ума» / Л.М. Баш, Н.С. Зацепина, Л.А. Илюшина, Р.С. Кимягарова. М., 2007.
- Григорьев 2003 – В.П. Григорьев. Слова в контекстах русской поэзии XX века (О словаре избранных экспрессем) // ИАН СЛЯ. 2003. Т. 62. № 3.
- Григорьев 2004 – В.П. Григорьев. О четырехмерном пространстве языка (Блок и Хлебников: Эвристика в парадигмальных экспрессемах) // ИАН СЛЯ. 2004. Т. 63. № 4.
- Григорьев 2005 – В.П. Григорьев. Авторская лексикография и филология (реплика О.М. Карновой и Н.А. Богомолу) // Русский язык в научном освещении. 2005. № 2(10).

- Григорьев, Колодяжная, Шестакова 2005 – В.П. Григорьев, Л.И. Колодяжная, Л.Л. Шестакова. Собственное имя в русской поэзии XX века: Словарь личных имен. М., 2005.
- Дубичинский, Самойлов 2000 – В.В. Дубичинский, А.Н. Самойлов. Словари русского языка: Учебн. пособие. Харьков, 2000.
- Елистратов 2001 – В.С. Елистратов. Словарь языка Василия Шукшина. М., 2001.
- Иванова Н.Н., Иванова О.Е. 2004 – Н.Н. Иванова, О.Е. Иванова. Словарь языка поэзии: Образный арсенал русской лирики конца XVIII – начала XX века. М., 2004.
- Изотов 1997 – В.П. Изотов. Толковый словарь «Баллады о бане». Орел, 1997.
- Изотов 1999 – В.П. Изотов. Объяснительный словарь к «Разбойничьей» В.С. Высоцкого. Орел, 1999.
- Кавецкая, Кретов 1996 – Р.К. Кавецкая, А.А. Кретов. Обратный частотный словарь поэтических произведений А.В. Кольцова. Воронеж, 1996.
- Калинкин 2000 – В.М. Калинин. Теоретические основы поэтической ономастики: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Киев, 2000 [Приложение: Материалы к словарю собственных имен в языке А.С. Пушкина (роман «Евгений Онегин»)].
- Караулов 1999 – Ю.Н. Караулов. Константы идиостиля в лексикографическом представлении (из опыта работы над «Словарем языка Достоевского») // Русистика сегодня. 1999. № 1–2.
- Караулов 2001 – Ю.Н. Караулов. Понятие идиоглоссы и словарь языка Достоевского // Слово Достоевского. 2000. Сб. статей. М., 2001.
- Караулов, Гинзбург 2003 – Ю.Н. Караулов, Е.Л. Гинзбург. Опыт типологизации авторских словарей // Русская авторская лексикография XIX–XX веков: Антология / Отв. ред. Ю.Н. Караулов. М., 2003.
- Карпова 1997 – О.М. Карпова. Словари языка писателей с точки зрения перспективы пользователя // Теоретические и практические аспекты лексикографии. Иваново, 1997.
- Карпова 2001 – О.М. Карпова. Толково-энциклопедические словари языка английских писателей. Культурологический аспект // Лингвистическое отечествоведение. Т. 2. Елец, 2001.
- Карпова 2004 – О.М. Карпова. Русский язык в научном освещении. 2004. № 2 (8). Рец.: Русская авторская лексикография XIX–XX веков. Антология / Сост.: Е.Л. Гинзбург, Ю.Н. Караулов, Л.Л. Шестакова; Отв. ред. Ю.Н. Караулов. М., 2003.
- Карпова 2006 – О.М. Карпова. Лексикография или Reference science? Справочники нового поколения // Вестник Ивановского гос. ун-та. 2006. № 1.
- Карпова, Карташкова 2001 – О.М. Карпова, Ф.И. Карташкова. Проблема лексикографического описания имен собственных в различных типах писательских словарей в ракурсе лингвокультурологического подхода // Язык и общество. М., 2001.
- Карпова, Коробейникова 2007 – О.М. Карпова, О.В. Коробейникова. Словари языка писателей и цитат в английской лексикографии. М., 2007.
- Кимягарова 2006 – Р.С. Кимягарова. Словарь языка басен Крылова. М., 2006.
- Кожевникова, Петрова 1999 – Н.А. Кожевникова, З.Ю. Петрова. Метафоры и сравнения как объект лексикографического описания // Актуальные проблемы современной лексикографии. Мат-лы научно-методич. конф. (Москва, МГУ, 22 мая 1997 года). М., 1999.
- Кожевникова, Петрова 2000 – Н.А. Кожевникова, З.Ю. Петрова. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв. Вып. 1: «Птицы» / Отв. ред. М.Л. Гаспаров, В.П. Григорьев. М., 2000.
- Козырев, Черняк 2000 – В.А. Козырев, В.Д. Черняк. Вселенная в алфавитном порядке: Очерки о словарях русского языка. СПб., 2000.
- Колодяжная, Шестакова 1998 – Л.И. Колодяжная, Л.Л. Шестакова. Словарь русской поэзии XX века «Самовитое слово»: зоны словарной статьи и их типология // *Vocabulum et vocabularium*. Сб. научн. тр. по лексикографии. Вып. 6. Харьков, 1998.
- Конкордансы Достоевского – Конкордансы всех произведений Ф.М. Достоевского // <http://www.karelia.ru/~Dostoevsky/dostconc/alpha.htm#129>.
- Коробова 1996 – М.М. Коробова. Цитаты и крылатые выражения в художественных произведениях Ф.М. Достоевского: о проекте словаря // Слово Достоевского: Сб. статей. М., 1996.
- Королькова 1996 – А.В. Королькова. Алфавитно-частотный и частотный словари комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Смоленск, 1996.
- Краснянский 2006 – В.В. Краснянский. Словарь эпитетов Ивана Бунина: В 2 частях. Елец, 2006.
- Кретов, Матыцина 1999а – А.А. Кретов, Л.Н. Матыцина. Морфемарий Пушкина по данным «Морфемно-морфонологического словаря языка Пушкина» // А.С. Пушкин и мировая культура. Междунар. научн. конф.: Мат-лы. М., 1999.

- Кретов, Матыцина 1999б – А.А. Кретов, Л.Н. Матыцина. Морфемно-морфонологический словарь языка А.С. Пушкина. Воронеж, 1999.
- Крылов 2004 – А.Е. Крылов. Материалы к «Словарю цитат и крылатых выражений Булата Окуджавы»: Песня «Бери шинель, пошли домой» // *Голос Надежды: Новое о Булате Окуджаве*. М., 2004.
- Леденева 2000 – В.В. Леденева. Особенности идиолекта Н.С. Лескова: средства номинации и предикации. Дис. ... докт. филол. наук. М., 2000 [Приложение: Словарь в трех частях «Лексический состав эпистолярных текстов Н. С. Лескова 90-х годов XIX века: индивидуальное и общее в идиолекте писателя»].
- Лексика, лексикография 2005 – Лексика, лексикография, терминография в русской, американской и других культурах: Мат-лы VI Междунар. школы-семинара. Иваново, 2005.
- Логош, Петров 2002 – О. Логош, В. Петров. Словарь «Маятника Фуко» Умберто Эко. СПб., 2002.
- Масленников 2000 – Д.Б. Масленников. Словарь окказиональной лексики футуризма. Уфа, 2000.
- Мелерович, Мокиенко 2005 – А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко. О своеобразии функционирования фразеологизмов в поэзии и принципах построения словаря «Фразеологизмы в русской поэзии» // *Текст. Структура и семантика: Доклады X Юбилейной междунар. конф.* Т. 2. М., 2005.
- Миры Толкиена 2003 – Миры Толкиена. Большая иллюстрированная энциклопедия. М., 2003.
- Мокиенко, Сидоренко 1999 – В.М. Мокиенко, К.П. Сидоренко. Словарь крылатых выражений Пушкина. СПб., 1999.
- Ничик 1997 – Н.Н. Ничик. Фразеологические единицы в структуре словарной статьи писательского словаря // *Vocabulum et vocabularium: Сб. научн. тр. по лексикографии*. Вып. 4. Харьков, 1997.
- Орехов 2004 – Б.В. Орехов. Идеографический словарь языка французских стихотворений Ф.И. Тютчева. Уфа, 2004.
- Орехов, Коган 2005 – Б.В. Орехов, С.Г. Коган. Опыт применения технологии хранилищ данных и OLAP в авторской лексикографии (на примере словаря языка Ф.И. Тютчева) // *Современные информационные технологии и филология*. М., 2005.
- Очкасова 2005 – М.Р. Очкасова. О «Словаре галлицизмов в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»» // *Лексика, лексикография, терминография в русской, американской и других культурах: Мат-лы VI Междунар. школы-семинара*. Иваново, 2005.
- Павлович 1999 – Н.В. Павлович. Словарь поэтических образов: В 2 т. М., 1999.
- Поцепня 1997 – Д.М. Поцепня. Образ мира в слове писателя. СПб., 1997.
- Поцепня 2004 – Д.М. Поцепня. Писательская лексикография и современные подходы к изучению языка // *Межкафедральный словарный кабинет им. проф. Б.А. Ларина. XL / Отв. ред. А.С. Герд, И.С. Луговина*. СПб., 2004.
- Поэт и слово 1973 – Поэт и слово: Опыт словаря / Отв. ред. В.П. Григорьев. М., 1973.
- Приходько 2006 – И.С. Приходько. Символистский словарь А. Блока // *Художественный текст как динамическая система: Мат-лы междунар. научн. конф., посвящ. 80-летию В.П. Григорьева*. М., 2006.
- Прозоров 1996 – В.В. Прозоров. Словарь крылатых слов и выражений комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» // В.В. Прозоров. «Ревизор» Гоголя, комедия в пяти действиях. Саратов, 1996.
- Ревзина, Белякова 2004 – О.Г. Ревзина, И.Ю. Белякова. Виды семантической информации в толковом словаре поэтического идиолекта (на примере имен рельефа в словаре поэтического языка М. Цветаевой) // *Словарное наследие В.П. Жукова и пути развития русской и общей лексикографии. 3-и Жуковские чтения*. Великий Новгород, 2004.
- Религиозная лексика 2005 – Религиозная лексика в стихах русских поэтов Серебряного века (по материалам «Словаря языка русской поэзии XX века») // <http://www.wco.ru/biblio> (2005).
- Романова 1997 – И.В. Романова. Частотный словарь «Стихотворений Юрия Живаго» Б.Л. Пастернака // *Русская филология. Уч. зап. СГПУ*. 1997. Смоленск, 1997.
- Самотик 1999 – Л.Г. Самотик. Словарь исторической прозы А.И. Чмыхало. Красноярск, 1999.
- Самотик 2004 – Л.Г. Самотик. Словарь языка Александра Лебеда. Красноярск, 2004.
- Самотик 2005 – Л.Г. Самотик. Язык «Турецкого гамбита» Б. Акунина: Очерк и словарь. Красноярск, 2005.
- САТГ – Словарь автобиографической трилогии М. Горького: в 6-ти вып. с прил. Словаря имен собственных. Л., 1974–1990.
- Селезнева 2004 – Л.В. Селезнева. Частотный словарь как основа реконструкции художественного мира. На примере «Романтических цветов» и «Огненного столпа» Н.С. Гумилева. Дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2004.

- Сидоренко 2005 – *М.И. Сидоренко*. Словарь языка и рифм поэзии Н. Рубцова. Череповец, 2005.
- Словарь Вапцарова 1998, 2004 – Словарь поэзии Николая Вапцарова: Опыт лексикографического описания болгарского художественного текста / Отв. ред. Г.В. Крылова. Вып. 1: А–Дъщеря. СПб., 1998. Вып. 2: Е–Лято. СПб., 2004.
- Словарь Грибоедова – Словарь языка А.С. Грибоедова // <http://www.inforeg.org.ru/concord>.
- Словарь Достоевского 2001 – Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта. Вып. 1 / Авторы-сост.: М.М. Коробова, Е.А. Цыб, С.Н. Шепелева. Гл. ред. Ю.Н. Караулов. М., 2001.
- Словарь Паустовского 1998, 2000 – Словарь языка К.Г. Паустовского / Сост. Л.В. Судавичене. Т. I: А–Б–В. М., 1998. Т. II: Г–Д–Е–Ё. М., 2000.
- Словарь Цветаевой 1996–2004 – Словарь поэтического языка Марины Цветаевой: В 4 т. / Сост. И.Ю. Белякова, И.П. Оловянная, О.Г. Ревзина. М., 1996–2004.
- Словарь Шолохова 2005 – Словарь языка Михаила Шолохова / Отв. ред. Е.И. Диброва. М., 2005.
- Смагина 2001 – *О.А. Смагина*. Частотный словарь книги Н.С. Гумилева «Огненный столп» // Русская филология. Учен. зап. СГПУ. 2001. Смоленск, 2001.
- СЯП – Словарь языка Пушкина: В 4 т. М., 1956–1961.
- СЯРП – Словарь языка русской поэзии XX века / Сост. В.П. Григорьев, Л.Л. Шестакова, В.В. Бакеркина, А.В. Гик, Л.И. Колодяжная, Т.Е. Реутт, Н.А. Фатеева. Отв. ред. В.П. Григорьев, Л.Л. Шестакова. Т. I: А–В. М., 2001. Т. II: Г–Ж. М., 2003.
- Тарасова 2003 – *И.А. Тарасова*. Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект. Саратов, 2003.
- Тарасова 2005 – *И.А. Тарасова*. О способах лексикографического представления художественных концептов (на материале «Словаря ключевых слов поэзии Георгия Иванова») // Лексика, лексикография, терминология в русской, американской и других культурах: Мат-лы VI Междунар. школы-семинара. Иваново, 2005.
- Толкиен 2000 – Толкиен и его мир. Энциклопедия. М., 2000.
- Толстова 2005 – *Г.А. Толстова*. Словарь языка Агафьи Лыковой. Красноярск, 2005.
- Туралина 1997а – *Н.А. Туралина*. Метафора В. Маяковского: Словарь. Таблицы. Комментарий. Белгород, 1997.
- Туралина 1997б – *Н.А. Туралина*. Словарь метафор А. Блока. Белгород, 1997.
- Туралина 1998 – *Н.А. Туралина*. Словарь образных средств С. Есенина. Белгород, 1998.
- Туралина 2001 – *Н.А. Туралина*. Наш опыт поэтической лексикографии: проблемы и перспективы // Русское слово. Орехово-Зуево, 2001.
- Учебные программы 2002 – Учебные программы по дополнительной специализации «Теория и практика лексикографии» 021718. СПб., 2002.
- Фадеева 2000 – *О.М. Фадеева*. Афоризмы Эриха Марии Ремарка: Опыт сопоставительного словаря немецко-русских вариантов. Магадан, 2000.
- Фатеева 2006 – *Н.А. Фатеева*. О компрессивном варианте Словаря языка русской поэзии XX века // Язык художественной литературы XX века: Сб. научн. статей. Вып. 3. Ярославль, 2006.
- Феркель 2002 – *В.Б. Феркель*. Поэтические образы. От Абажура до Яшмы. Словарь. Челябинск, 2002.
- Феркель 2005 – *В.Б. Феркель*. Поэтические образы. От Акации до Ярмарки (Из практики поэтов XVIII–XIX веков). Словарь. Челябинск, 2005.
- Феркель 2006а – *В.Б. Феркель*. Биографический словарь личных имен романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Челябинск, 2006.
- Феркель 2006б – *В.Б. Феркель*. Биографический словарь личных имен романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Челябинск, 2006.
- Фонякова 1993 – *О.И. Фонякова*. Очерк развития писательской лексикографии в отечественном языкознании (1883–1990) // Из истории науки о языке: Межвузовский сб. памяти проф. Ю.С. Маслова. СПб., 1993.
- Фролова 2004 – *Ю.В. Фролова*. Материалы к словарю устойчивых образных сочетаний в произведениях В.П. Астафьева. Красноярск, 2004.
- Хорохордина 1996 – *О.В. Хорохордина*. Лингвометодические основы лексикографического описания художественного текста. Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1996.
- Цитаты для всех 2004, 2006 – Цитаты для всех. Эвристика в стихах русских поэтов Серебряного века / Сост. В.П. Григорьев, А.В. Гик, Л.И. Колодяжная, Н.А. Фатеева, Л.Л. Шестакова. Под ред. В.П. Григорьева. Вып. 1. М., 2004. Вып. 2. М., 2006 // <http://www.wco.ru/biblio>.
- Черашняя 2003 – *Д.И. Черашняя*. Частотный словарь лирики О. Мандельштама: субъектная дифференциация словоформ. Ижевск, 2003.

- Шайкевич 1998 – *А.Я. Шайкевич*. Частотный словарь к художественным произведениям Достоевского // CD-ROM Института русского языка РАН «Ф.М. Достоевский. Тексты. Исследования. Инструментарий». М., 1998.
- Шайкевич, Андрищенко, Ребецкая 2003 – *А.Я. Шайкевич, В.М. Андрищенко, Н.А. Ребецкая*. Статистический словарь языка Достоевского. М., 2003.
- Шангина 2006 – *А.В. Шангина*. Словарь языка забайкальского писателя Е.Е. Куренного. Чита, 2006.
- Шаповалов 1999 – *Б.С. Шаповалов*. Частотный словарь послевоенной лирики А.Т. Твардовского // Русская филология. Уч. зап. СГПУ. 1999. Смоленск, 1999.
- Шестакова 1998 – *Л.Л. Шестакова*. Авторский словарь в аспекте лексикографической типологии // Русистика сегодня. 1998. № 1–2.
- Шестакова 2001 – *Л.Л. Шестакова*. Поэтический язык в лексикографическом представлении // Текст. Интертекст. Культура: Сб. докл. междунар. научн. конф. (Москва, 4–7 апреля 2001 года). М., 2001.
- Шестакова 2003а – *Л.Л. Шестакова*. Русская авторская лексикография: общее состояние и тенденции развития // Русская авторская лексикография XIX–XX веков: Антология / Отв. ред. Ю.Н. Караулов. М., 2003.
- Шестакова 2003б – *Л.Л. Шестакова*. Имена собственные в словарях языка писателей // Поэтика. Стихосложение. Лингвистика. К 50-летию научной деятельности И.И. Ковтуновой: Сб. статей. М., 2003.
- Шестакова 2003в – Русская писательская лексикография. Программа спецкурса. М., 2003.
- Шестакова 2004 – *Л.Л. Шестакова*. Язык русской прозы в словарном описании // Алфавит: Строеие повествовательного текста. Синтагматика. Парадигматика. Смоленск, 2004.
- Шестакова 2006а – *Л.Л. Шестакова*. Стилистические пометы в словарях языка писателей // Русский язык сегодня. Вып. 4. Проблемы языковой нормы: Сб. статей / Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. М., 2006.
- Шестакова 2006б – *Л.Л. Шестакова*. Формы представления слова в современной поэтической лексикографии // Художественный текст как динамическая система: Мат-лы междунар. научн. конф., посвящ. 80-летию В.П. Григорьева. М., 2006.
- Шестакова 2007 – *Л.Л. Шестакова*. Содержание и структура словарной статьи в словарях языка писателей // ИАН СЛЯ. 2007 (в печати).
- Шимчук 2003 – *Э.Г. Шимчук*. Русская лексикография. М., 2003.
- Шкляревский 1999 – *И.И. Шкляревский*. Крылатые слова и афоризмы А.С. Пушкина. М., 1999.
- Шоу 2000 – *Д. Шоу*. Конкорданс к стихам А.С. Пушкина: В 2 т. М., 2000.
- Щерба 1974 – *Л.В. Щерба*. Опыт общей теории лексикографии // Л.В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
- Эзериня 1999 – *С.А. Эзериня*. Неузвальная лексика художественного текста в лексикографическом аспекте (на материале поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»). Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1999.
- Язык. Культура 2001 – Язык. Культура. Словари: Мат-лы IV Междунар. школы-семинара. Иваново, 2001.
- Яцкевич 2000 – *Л.Г. Яцкевич*. Поэтическая система топонимов и этнонимов в творчестве Н.А. Клюева // Клюевский сборник. Вологда, 2000. Вып. 2.
- Яцкевич 2004 – *Л.Г. Яцкевич*. Народное слово в произведениях В.И. Белова: Словарь. Вологда, 2004.
- Leech 2001 – *Th. Leech*. Say it like Shakespeare: How to give a speech like Hamlet, persuade like Henry V, and other secrets from the world's greatest communicator. New York, 2001.
- Shaw 1975a – *J.Th. Shaw*. Baratynskii: A Dictionary of the rhymes and a concordance to the poetry. Univ. of Wisconsin Press, Madison (Wisconsin), 1975.
- Shaw 1975b – *J.Th. Shaw*. Batiushkov: A Dictionary of the rhymes and a concordance to the poetry. Univ. of Wisconsin Press. Madison (Wisconsin), 1975.
- Spevak 1968–1975 – *M. Spevak*. Complete and systematic concordance to the works of Shakespeare: 8 vol. Hildesheim, 1968–1975.

РЕЦЕНЗИИ

К.Я. Сигал. Синтаксические этюды / Российская академия наук, Ин-т языкознания. М.: Академия гуманитарных исследований, 2006. 156 с.

Настоящая книга представляет собой серию коротких научных «зарисовок», или этюдов, как предпочитает называть свое сочинение сам автор. Тематически все десять статей, представленных в сборнике, подчинены основной сфере исследований автора – синтаксису (как на уровне словосочетания, так и на уровне предложения), который изучается им главным образом на материале современного русского языка. Важно отметить, что в каждой из статей данного сборника так или иначе затрагиваются те синтаксические явления, которые на настоящий момент либо вообще не освещены в научной литературе, либо имеют спорные трактовки. Существенной особенностью работы является то, что автор при обсуждении синтаксической проблематики опирается на результаты проведенных им лингвистических экспериментов (в том числе и на опросы носителей языка). Кроме того, во всех своих «этюдах» К.Я. Сигал стремится рассматривать синтаксис не только структурно-грамматически, но и с позиций психолингвистики.

Остановимся подробнее на некоторых статьях, помещенных в сборнике. Сборник открывается статьей под названием «Аналитизм в синтаксисе и его эмпирические критерии» (с. 5–13). В этой статье автором обсуждается проблема выраженности аналитизма в языках флективно-синтетического строя типа русского. Подчеркивается, что элементы аналитизма могут быть неоднородны не только по степени своей представленности на том или ином уровне языка, но также и в плане своей функциональной характеристики. Автором выделяются три возможных типа аналитических построений во флективно-синтетических языках: одни построения полностью отвечают грамматической норме, другие представляют собой маркеры экспрессивно окрашенной речи, третьи, по словам К.Я. Сигала, «преобладают исключительно в сфере массовых ошибок и нарушений языковых норм» (с. 6). Обращаясь к конкретным примерам из живой речи,

К.Я. Сигал последовательно доказывает, что в рассматриваемом типе языков вместо общего понятия «грамматический аналитизм» следует различать более частные понятия, такие, как «морфологический» и «синтаксический аналитизм», хотя, разумеется, сам автор признает также и наличие переходного типа аналитических построений, называемых в статье термином «морфолого-синтаксический аналитизм».

Далее автор перечисляет все известные в русистике эмпирические критерии аналитизма в синтаксисе: 1) двучленность сказуемого; 2) конкуренция средств выражения грамматических значений управляемых компонентов (беспредложная/предложная словоформа) в одной и той же синтаксической позиции; 3) нарушение синтагматической плавности речи, наблюдающееся при деформации непрерывной цепочки гипотактических связей в предложении-высказывании (сегментация, ослабление синтаксической связи, сжатие и опрощение синтаксических конструкций). В рамках третьего из перечисленных критериев К.Я. Сигал обращается к детальному анализу функционирования вставных (парентезных) конструкций, механизмом текстообразующей функции которых, по утверждению самого автора, является собственно синтаксический аналитизм. Ссылаясь на речевые факты, описанные Г.Н. Акимовой, К.Я. Сигал приводит три этапа процесса ослабления синтаксической связи между базовым предложением-высказыванием и вставочной конструкцией, преимущественно находящейся в интропозиции по отношению к базовому предложению. Первый этап указанного процесса характеризуется наличием непосредственной синтаксической связи на основе сочинения или подчинения, на втором этапе синтаксическая связь становится опосредованной (за счет вводно-модальных слов и анафорических местоимений), третий этап отличается отсутствием каких бы то ни было эксплицитных показателей синтаксической связи. Исходя из названных признаков,

описанных Г.Н. Акимовой для каждого из этапов, автор делает закономерный вывод о том, что вставные конструкции следует трактовать как сегментирующие синтаксические построения, которые «принципиально не способны включиться в цепочку синтаксических связей базового предложения-высказывания, т.е. только они (выделено нами. – П.В.) в полной мере соответствуют одному из указанных выше эмпирических критериев синтаксического аналитизма» (с. 11). Здесь же К.Я. Сигал ставит под сомнение категоричность полученного таким образом вывода. Его категоричность автор усматривает в том, что вставки третьего типа вообще не способны включаться в цепочку синтаксических связей базового предложения-высказывания. Уязвимость данного вывода (полученного в ходе логического развертывания исходных положений Г.Н. Акимовой) доказывается им в ходе анализа стихотворных произведений русских постмодернистов из поэтического журнала «Арион» за 2004–2005 гг. В самом деле, все приведенные автором примеры – фрагменты постмодернистских стихов, содержащих вставочные элементы, – наглядно демонстрируют, что функциональное предназначение вставных конструкций в этих особых случаях может сводиться к вторичному синтаксическому расчленению предложения, расчленению, в результате которого формируются новые типы синтаксических связей, а также создается ситуация прагматического неравновесия между информационно-смысловыми блоками в пределах одного и того же стихотворного предложения-высказывания.

Нельзя, разумеется, не признать, что синтаксис современной поэзии часто нацелен на разрушение сложившихся синтаксических норм в принципе, а поэтический синтаксис в рамках постмодернистского направления всегда строится на языковых аномалиях, т.е. обращен в сторону лингвопластики, которая является осознанным комплексом творческих средств выражения индивидуальной идейно-эстетической системы художника. Другими словами, поэтический модернизм неизменно предполагает новаторство в области стихотворного синтаксиса.

В заключительной части статьи автор делает вывод, что для полноценного представления всей системы аналитических явлений в строе флективно-синтетического языка (в частности русского) целесообразно построение модели полевой структуры, в которой должны быть представлены два пересекающихся поля; каждое из этих полей в структурном отношении должно члениться на центр, периферию и переходную зону. При этом первое поле будет

отражать структурные отношения в сфере аналитизма, а второе смежное поле такой абстрактной модели, по мысли автора, должно быть ориентировано на отражение функционального аспекта при проявлении аналитизма в максимально широком возможном диапазоне (т.е. начиная от нормативных аналитических структур в синтаксисе вплоть до массовых речевых ошибок в обыденной речи современных носителей русского языка при построении ими предложений).

Вторая статья «Сочинительные конструкции и анафора» (с. 14–56) посвящена таксономическому анализу различных структурных форм взаимодействия сочинительных конструкций (далее СК), осложняющих простое предложение, и анафоры на материале простого предложения в русском языке. Автор приводит убедительные аргументы в пользу того, что СК в простом предложении следует рассматривать как определенный тип осложняющей конструкции. В статье подробно описываются три типа анафорических структур с точки зрения их синтаксической организации: 1) анафорические сочиненные компоненты, среди которых выделяются два подтипа в зависимости от позиции антецедента по отношению к анафорическому компоненту СК: с антецедентом – другим компонентом СК и с антецедентом – словоформой, находящейся вне сферы действия сочинительной связи; 2) анафорические СК, среди которых также выделяются два подтипа в зависимости от синтаксической организации их антецедентов: с антецедентом – другой СК и с антецедентом, представленным иным синтаксическим способом выражения множественности; 3) анафорические компоненты в сфере действия сочинительной связи, среди которых выделяются три основных подтипа, выделенных при одновременном учете трех взаимосвязанных признаков: синтаксического характера анафорического компонента, его антецедента и лексико-грамматического способа выражения анафорического компонента.

Попутно автор вводит понятие «сферы действия сочинительной связи», а также затрагивает вопрос о функциональных возможностях местоименных компонентов СК при актуализации правонаправленной текстовой (референциальной) связи. Уделяя проблеме взаимодействия СК и анафоры особое внимание, автор отстаивает необходимость специального исследования данной темы экспериментальными методами психолингвистической грамматики.

Следующую статью «О двух типах обязательных атрибутивных компонентов (в связи с некоторыми вопросами теории синтаксиса)»

(с. 57–72) К.Я. Сигал начинает с постановки одной из актуальных проблем современной русистики, которая связана с существующей противоречивостью подходов при определении собственно синтаксических оснований, применяемых с целью разграничения, с одной стороны, словосочетания как коммуникативно несамостоятельной минимальной комбинаторной единицы связной речи и, с другой стороны, простого предложения как минимальной коммуникативной единицы. В своих соображениях К.Я. Сигал исходит из теоретического положения о том, что «если словосочетание и простое предложение дифференцированы в языковой системе как синтаксические единицы, то в их построении и в их структурно-семантической организации одни и те же синтаксические (конструктивные) элементы должны обладать формальными, семантическими и функциональными различиями <...>» (с. 60). Чтобы подтвердить исходный тезис, а также с целью показать всю сложность и неоднозначность обсуждаемой проблематики, автор переходит к рассмотрению такого явления, как облигаторность атрибутивных компонентов. Речь здесь идет о таких атрибутивных компонентах, которые, выражая признак предмета, становятся структурно обязательными и, следовательно, обретают способность формировать особые неразложимые словосочетания, новые типы членов предложения (дуплексив), новые семантические типы простых предложений (полипропозитивные простые предложения с атрибутивным компликатором) и новые типы синтаксических отношений (атрибутивно-обстоятельственные в их различных разновидностях).

Далее автор переходит к подробной разработке этого вопроса на материале русского языка. Предварительно указывается, что в русском языке есть, как минимум, два типа обязательных атрибутивных компонентов. К первому типу относятся те из них, которые содействуют семантическому распространению одной формы слова за счет присоединения к ней другой формы слова, эти атрибутивные компоненты являются обязательными не в строе простого предложения, а в самой структуре субстантивно-адъективного словосочетания; кроме того, такие атрибутивные компоненты, будучи синтаксически неразложимыми, выступают в цепи простого предложения как единый второстепенный член предложения. Ко второму типу принадлежат те атрибутивные компоненты, появление которых обусловлено синтаксической и/или семантической организацией простого предложения (в том числе и его коммуникативно-речевыми вариациями), а также явлением компрессии двух

пропозиций с общим субъектом, находящихся между собой в отношениях логической обусловленности, что приводит к образованию полипропозитивного простого предложения. В такого рода предложениях, как показано автором, обязательный атрибутивный компонент обретает два вида связей: одна связь сугубо формальная (структурно-грамматическая), другая – семантическая.

Автор подробно анализирует конструктивную функцию обязательных атрибутивных компонентов-компликаторов в составе полипропозитивного простого предложения, справедливо отмечая, что их роль недопустимо сводить только к роли зависимого компонента в рамках атрибутивного словосочетания. В заключение делается вывод о том, что функциональная природа словосочетания может быть многомерна: во-первых, словосочетание (как синтаксическая форма) способно опредмечивать при порождении высказывания семантическое распространение одного слова другим, тем самым, обеспечивая конкретизацию номинации либо «достраивание» предложения-высказывания определенной синтаксической структуры; во-вторых, словосочетание может опредмечивать семантическое свертывание двух предикаций в составе полипропозитивного простого предложения. Все эти факты, установленные в ходе лингвистического эксперимента, позволяют автору согласиться с мнением Г.А. Золотовой, утверждающей, что словосочетание является средством распространенной номинации предмета или явления либо способом номинализации предложения.

Особое внимание привлекает краткая, но емкая и оригинальная статья «О лексикализации словосочетаний» (с. 73–81). Здесь автором отражены его собственные наблюдения в области лексикализации русских словосочетаний с деривационно связанными (однокоренными) компонентами, входящими в различные синтаксические схемы словосочетаний, например: *ревмя реветь, разговоры разговаривать, криком кричать* и т. п. Как пишет сам К.Я. Сигал, обращение к словосочетанию как минимальной единице синтаксической комбинаторики было вызвано тем, что именно простые словосочетания доминируют в синтаксическом генотипе фразеологизмов (с. 74). Показано, что лексикализованные сочетания однокоренных слов неправомерно рассматривать как специфический тип когнитивно опустошенных знаков, структура которых дублирует информацию, могущую быть выраженной посредством одного слова. Анализируя вовлеченность разнотипных простых словосочетаний с однокоренными составляющими в процесс лексикализации, автор констатирует, что наи-

более часто лексикализуются именно те из рассматриваемых словосочетаний, в составе которых присутствует глагол или краткое прилагательное в функции детерминирующего компонента. Кроме того, подчеркивается, что применительно к исследуемым речевым структурам взаимодействие синтаксиса и номинации реализуется только в рематической части (шире – предикативной зоне) предложения-высказывания. В завершение данного обзора (нельзя не отметить его замечательную иллюстративную аргументацию!) автор приходит к следующему заключению: языковая система стремится отграничить лексикализованные словосочетания от свободных, образованных по синтаксической схеме, аналогичной лексикализованным словосочетаниям, и это выражается в том, что структурные характеристики словосочетаний обоих означенных типов неминусом обнаруживают друг относительно друга свои функционально значимые отличия.

Особого внимания заслуживает и статья К.Я. Сигала «Прагматическая ценность синтаксических синонимов (на материале атрибутивных словосочетаний)» (с. 86–112). В данной статье, как явствует из ее названия, автор ставит сложную теоретическую проблему – проблему прагматической ценности синтаксических синонимов. (Заметим, что само понятие «прагматическая ценность синтаксических синонимов» выдвигается и обосновывается в лингвистике, как кажется, впервые.) Объектом специального анализа здесь стали одноуровневые синтаксические синонимы. Автор детально исследует синонимию русских атрибутивных словосочетаний с двумя структурными схемами: «имя существительное + зависимое имя существительное в родительном падеже» и «имя существительное + зависимое относительное имя прилагательное». Статья начинается с того, как в современной лингвистике рассматривается явление синтаксической синонимии, а рассматривается оно, по выражению К.Я. Сигала, «достаточно однобоко»; это проявляется в том, что до сих пор исследователями-лингвистами не предпринимаются попытки выявить коммуникативно-смысловые основания конструктивных различий синонимичных словосочетаний и предложений, что позволило бы установить прагматическую ценность конкретных синтаксических синонимов в речевой деятельности говорящего. Предваряя свои наблюдения и мысли по поводу синтаксических синонимов, автор подробно останавливается на обсуждении специфических различий в задачах, которые решаются в рамках лингвистической прагматики и психолингвистики, показывая вместе с тем, что для анализа феномена синонимии вообще целесооб-

разно применять более широкий подход, предполагающий симбиоз обеих названных дисциплин.

Как резонно предполагает сам автор, «прагматическая ценность синонимов формируется в результате накопления у каждого из них несовпадающих контекстов употребления» (с. 94). Примечательно также положение К.Я. Сигала, что для синтаксических синонимов характерны два способа реализации в речи: с одной стороны, это единичная синтаксическая конструкция, принадлежащая определенной синонимической парадигме, из которой она и была выбрана говорящим, с другой – синонимический повтор в тексте, обусловленный комбинаторной вариантностью на синтаксическом уровне (ср. пример К.Я. Сигала из рассказа А.П. Чехова «Тина»: *запах жасмина* и *жасминовый запах* в составе разных высказываний).

Как показывает К.Я. Сигал в ходе тонких наблюдений различного речевого материала, выбор одного из синонимичных атрибутивных словосочетаний каждый раз определяется комплексом факторов: семантическими, синтаксическими и текстообразующими. Однако возможность точного аргументированного объяснения языкового механизма, действующего при выборе говорящим атрибутивного словосочетания той или иной схемы, автор видит в постановке специального лабораторного эксперимента, требующего привлечения не только специалистов в области синтаксиса и психолингвистики, но и специалистов в области прикладной лингвистики.

В статье «Синтаксические интерференции и эстетическая функция языка» (с. 131–143) автор дает глубокий анализ синтаксических интерференций, встречающихся в «Одесских рассказах» Исаака Бабеля. Выбор именно этого писателя не случаен, ведь он, как пишет К.Я. Сигал, был билингом, поскольку в равной мере владел и идишем, и русским языком. Особенно любопытен собственно разбор реплик персонажей из рассказов Бабеля, в ходе которого выявляются некоторые типы синтаксических интерференций и определяется конструктивная роль идишизмов при формировании художественного текста в жанре сказа. В частности, наблюдения автора позволили установить, что в речи бабелевских героев преобладают именно синтаксические интерференции, причем среди них возможно выделить два их подтипа: морфолого-синтаксические и лексико-синтаксические интерференции. В статье предлагается оригинальное определение интерферентных явлений и их общая характеристика, высказываются интересные соображения по поводу усовершен-

ствования существующего метода исследования интерференций, предложенного специалистом в области контрастной лингвистики Н.Г. Михайловской. Нельзя не отметить также особую теоретическую значимость одного из вопросов, поставленных в этой статье. Речь идет о проблеме типологии интерферентных явлений. К.Я. Сигал полагает, что такая типология должна подразумевать учет, как минимум, двух аспектов: во-первых, следует установить, к какому уровню репрезентации относится данное явление в родном языке билингва; во-вторых, определить, на каком уровне анализа эта интерференция обнаруживается в неродном языке, средствами которого обеспечивается данный речевой акт. «Выделенные при таком подходе типы интерферентных явлений будут охарактеризованы не только по их при-

надлежности тому или иному уровню языка, но и по их функциональной значимости в каждой из языковых систем» (с. 139).

К.Я. Сигал написал полезную книгу, вне всякого сомнения, востребованную современной русистикой, развитие которой требует решения целого ряда актуальных проблем в области синтаксиса – проблем, которые до настоящего времени остаются либо в тени, либо представляются спорными в силу своей недостаточной изученности. С нашей точки зрения, в «Синтаксических этюдах» К.Я. Сигалу очень хорошо удалось привлечь внимание как раз к таким проблемным участкам теории общего и русского синтаксиса.

П.П. Ветров

Кабардино-черкесский язык. В двух томах. Нальчик: Институт гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН; Издательский центр «Эль-Фа», 2006. – Т. I: Создание письменности, фонетика и фонология, морфология, синтаксис. 549 с. – Т. II: Лексика, фразеология, диалектология, устно-поэтический язык, ономастика. 520 с.

Двухтомник «Кабардино-черкесский язык»¹, созданный по плану Института гуманитарных исследований правительства Кабардино-Балкарской республики и Кабардино-балкарского научного центра РАН (автор проекта и главный редактор – М.А. Кумахов), продолжает традицию коллективных описательных грамматик кабардинского языка, вышедших 50 и 35 лет назад [Грамматика 1957; 1970], а также фундаментальных монографических описаний обоих адыгских языков, опубликованных на русском и английском языках [Яковлев, Ашхамаф 1941; Яковлев 1948; Рогава, Керашева 1966; Кумахов 1971; Smeets 1984; Colarusso 1992]. За последние десятилетия адыговедение, как российское, так и зарубежное, не стояло на месте, во многом изменилась социально-политическая и культурная ситуация на северо-западном Кавказе и в странах адыгской диаспоры, в первую очередь в Турции, и авторы рецензируемого объемного труда постарались учесть эти изменения.

Кабардино-черкесский язык (далее КЧЯ), образующий вместе с адыгейским адыгскую ветвь абхазо-адыгской (западнокавказской) семьи, – один из заметнейших кавказских языков. Он является государственным языком Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, что зафиксировано в их конститу-

циях, и на нем ведется преподавание в ряде высших учебных заведений Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Не менее интересен КЧЯ и для типологии и теории грамматики. Абхазо-адыгские языки выделяются полисинтетическим строем, напоминающим строй многих языков Северной Америки, но крайне нетипичным для Евразии, особенно центральной ее части, к которой принадлежит и Кавказ. Поэтому вполне закономерно то, что КЧЯ вызывает большой интерес исследователей, который, на наш взгляд, со временем будет возрастать.

Рецензируемая коллективная монография представляет собой гораздо более масштабный опыт описания языка, нежели ее предшественники. Авторы стремятся включить в рассмотрение самые разные аспекты КЧЯ (порою в сопоставлении с другими родственными языками), в том числе и те, сведения о которых до сих пор были мало доступны. Два тома обсуждаемого исследования включают, помимо вводных частей, девять глав, посвященных вопросам кабардино-черкесской письменности, фонетики и фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики и фразеологии, языковой картины мира, диалектологии, устно-поэтического языка и ономастики. Некоторые из перечисленных тем не вполне укладываются в образ канонической описательной грамматики, и тем не менее, включение соответствующих разделов в издание по большей части оправдано. Это касается, например, вопроса о письменности, который приобретает особую актуаль-

¹ Рецензия выполнена при поддержке РГНФ (проект № 06-04-00194а «Синтаксис полисинтетического языка»).

ность в свете попыток унификации орфографии кабардино-черкесского и адыгейского языков. Не менее обосновано и появление в монографии отдельной части, рассматривающей кабардинские диалекты. Во-первых, диалекты КЧЯ довольно сильно отличаются друг от друга, см. [Очерки 1969]. Во-вторых, значительная часть кабардинцев проживает за пределами России (в первую очередь в Турции), и их язык, «язык диаспоры», в свое время почти не доступный для советских адыговедов, представляет особый интерес, что отражено в рецензируемой монографии.

Первый том монографии открывается кратким введением и главой I «Создание письменности» (М.А. Кумахов, З.Ю. Кумахова), содержание которой значительно шире заглавия. Она включает исторический очерк адыгской письменности, описание основных проблем, связанных с разработкой алфавита и орфографии, и изложение нового проекта унификации алфавитов и орфографий адыгских языков, разработанного в 1990-е гг., и наряду с этим – характеристику понятия «кабардино-черкесский литературный язык» и этноязыковых перспектив в условиях диаспоры. Здесь читатель обнаруживает в сжатом виде много важных сведений, ранее разбросанных по труднодоступным публикациям. С одной стороны, такая композиция удобна для читателя-лингвиста, в восприятии которого язык – это прежде всего письменность. С другой стороны, раздел о письменности естественней было бы поместить после главы, посвященной фонетике и фонологии. Разработка алфавитов и орфографий для западнокавказских языков на базе одной из известных систем письма (в настоящее время – на кириллической основе) представляет огромную трудность ввиду уникального богатства и своеобразия их фонологических систем, и многочисленные реформы всегда были нелегким испытанием для культур западнокавказских народов (особенно в этом отношении пострадали абхазы). Можно приветствовать ту последовательность и однозначность, к которой стремится новый проект унификации, например, в передаче сочетаний гласных и сонорных *y / w/*, *ÿ / j/*, или в написании притяжательных префиксов. Однако, поскольку всякое орфографическое решение представляет собой компромисс между несколькими конфликтующими принципами, – например, соображениями фонологической последовательности, соблюдения грамматических границ и практического удобства, новая единая орфография, как и всякая другая, не лишена определенных недостатков. Например, отвергаемое в проекте использование графем кириллицы *о, е, и* в алфавитах адыгских язы-

ков хотя и фонологически непоследовательно, но не лишено смысла, так как способствует более экономной (однобуквенной) записи сочетаний гласных с сонорными и выигрывает в эстетическом отношении, так как уменьшает длину слов и снижает частотность употреблений графемы *ы*, которую трудно признать украшением кириллической графики. Авторы критикуют кабардинскую орфографию притяжательных префиксов за нелогичность [I: 45]², но можно заметить, что раздельное написание префиксов выражает определенный грамматический факт: притяжательный префикс, как и падежный суффикс, оформляет не отдельное слово, а именной комплекс целиком (*фи унэ лъагэ-р* ‘ваш дом высокий-абс.’), причем не последовательность, о которой пишут авторы, – слитное написание в случаях типа *у-и-л* ‘твой муж’, – отчасти объяснима, так как тут избегается раздельное написание префикса с основой *-лы-* ‘муж’, ставшей неслогообразующей в результате отпадения конечного гласного. Авторы проекта справедливо считают адыгейское правило слитного написания префиксов более удобным и последовательным, но и тут остаются трудности с собственными именами (*си Родинэ* ‘моя Родина’).

Глава II «Фонетика и фонология» (Х.Т. Таов) дает общую характеристику звуковой системы КЧЯ, звукового состава корня и аффиксов, фонетических процессов, адаптации заимствований, фонетического типа корня, слога и сведения об орфоэпии. К сожалению, вовсе не описано ударение, хотя именно этим фактором автор раздела объясняет изменение долготы гласных в открытом слоге [I: 58–59] и слоговое деление [I: 71].

Обращаясь к грамматическим разделам монографии – главе III «Морфология» и IV «Синтаксис», можно заметить, что эту грамматику КЧЯ от ее предшественников отличает не только более широкий охват тем. Новое исследование, по-видимому, в гораздо меньшей степени, чем предыдущие, ориентировано на образ нормализованного литературного КЧЯ, хотя, конечно, основные излагаемые здесь грамматические факты касаются в первую очередь именно литературного языка. Это проявляется, в частности, в том, что, наряду с принятой в такого рода изданиях практикой иллюстрирования описываемых фактов примерами из реальных текстов, авторы включают и примеры, полученные в ходе опроса носителей языка. Такой подход позволяет не толь-

² Здесь и далее римскими цифрами указан номер тома рецензируемого издания и после двоеточия соответствующая страница.

ко лучше аргументировать существование грамматических запретов, но и выявить ряд тонкостей, которые остаются в тени при опоре на тексты. В результате наряду со стандартными и, в принципе, в большинстве своем известными правилами в рассматриваемом описании можно обнаружить и ценнейшие сведения о естественной для языка вариативности в отдельных фрагментах грамматики, о «непоследовательностях языка» (так, показательно обсуждение степени общности и возможности ряда теоретически допустимых глагольных форм в [I: 167–168]), о случаях исключений и отклонений от известных правил. Заметим в этой связи, что в типологической перспективе кажущиеся исключения на деле нередко служат ключом к выявлению некоторых более общих и нетривиальных закономерностей, например, обнаруживающееся в кабардино-черкесском языке употребление неодушевленного вопросительного местоимения при разговоре о ребенке (как в *Сыт а фызым кыльхуар?* букв. 'Что эта женщина родила?') [I: 121] имеет известные параллели в «трактовке» лексем со значением 'ребенок' как неодушевленных в других, в т.ч. индоевропейских и кавказских, языках.

Еще одна важная черта рассматриваемой монографии связана с особым интересом, который авторы проявляют к деталям и «маргиналиям». Пользу такого подхода можно проиллюстрировать на примере описания, казалось бы, периферийных случаев двойного отрицания, как в *Сэри сымыклуэ-мы-тэтэ-къым...* 'Я тоже не нерасторопный...' [I: 227], где сказуемое содержит как префиксальный (*мы-*), так и суффиксальный (*-къым*) показатели отрицания. Между тем обычно в грамматических описаниях эти показатели описываются как находящиеся в отношении дополнительной дистрибуции, поскольку их выбор, как считается, зависит от финитности словоформы (парадоксальным образом то же утверждается и в данной работе [I: 225]), и более того, считается одним из важнейших формальных свидетельств существования оппозиции по финитности в адыгских языках (см. критику этого взгляда в [Smeeets 1984; Ландер, Сумбатова 2007]). Таким образом, внимание к периферии в данном случае позволяет сделать определенные выводы в отношении основ грамматической системы.

Яркая типологическая специфика КЧЯ не может не оказывать влияния на то, каким образом он представляется в описательной грамматике. Авторы монографии пытаются выдерживать баланс между подходом в стиле описаний европейских языков и кардинально отличающимся от этих языков фактическим материалом. Действительно, традиционное описание

КЧЯ, предполагающее относительно жесткие противопоставления между словоизменением и словообразованием, именем и глаголом и т.д., хотя и помогает читателю, мало знакомому с абхазо-адыгским строем, ориентироваться в грамматике, но порою наталкивается на значительные трудности. В первую очередь это касается множества проявлений полисинтетизма, подразумевающего большую функциональную нагрузку морфем и одновременно большую степень их автономности (именно это, по-видимому, имеется в виду, например, когда подчеркивается «аналитический» характер полисинтетических форм [I: 156]). Попытка подогнать кабардино-черкесскую морфологию под логику морфологии неполисинтетической вполне обоснованна с точки зрения изложения, но не всегда отвечает логике самого материала языка. Так, например, так называемый «копулятивный суффикс» *-иц*, маркирующий определенный класс сказуемых, авторы вынуждены описывать в разделе «Глагол», хотя использование этой морфемы на деле глаголом не ограничивается, как показывает предложение *Ар къыздэкуар ди деж-иц* 'Он приехал к нам', букв. 'То, куда он приехал, – к нам' [I: 347], в котором указанный суффикс располагается на послелого *деж* 'к', выражая сказуемость всей послеложной группы. Впрочем, подробность и всесторонность описания во многом компенсирует такие несоответствия.

Следует сказать также, что, в целом следуя установленным принципам описания, авторы, тем не менее, вовсе не боятся отступить от традиции трактовки фактов КЧЯ: ряд выводов, обнаруживаемых в монографии, выглядят новаторски на фоне предшествующих грамматик. Не лишен интереса, например, обнаруживаемый в монографии подход к выражению темпоральной категории, согласно которому значения прошедшего и будущего времени в КЧЯ выражаются причастиями в сочетании с копулятивным суффиксом *-иц* или морфемой прошедшего времени *-т* [I: 159]. Кроме того, впервые в этой монографии проводится различие между масдаром и инфинитивом, которые, хотя и оформляются одним показателем, все же проявляют различные свойства.

Учет типологической специфики кабардино-черкесского языка касается не только отдельных фактов вроде приведенных выше, но и подхода к функционированию грамматической системы в целом. Так, например, утверждение о том, что «полисинтетизм глагола, морфологически четко выражающего субъектные и объектные отношения, делает подлежащее и дополнение грамматически избыточными, а сказуемое – выразителем функции не

только сказуемого, но и подлежащего и дополнения (М.А. Кумахов)» [I: 383] отвечает распространённому в типологических исследованиях (хотя, конечно, и не бесспорному) взгляду, согласно которому субъектно-объектные отношения в полисинтетических языках выражаются уже на уровне морфологии, в то время как синтаксис лишь уточняет эти отношения (см., например [Jelinek, Demers 1995]).

Во вводном грамматическом разделе «Общая характеристика морфологической системы» (М.А. Кумахов) содержится весьма важный вывод, что адыгская полисинтетическая словоформа складывается в результате действия нескольких разнородных морфологических стратегий, в том числе агглютинации, фузии и инкорпорации. Отмечая слабую дифференцированность имени и глагола, автор разграничивает конверсию со сдвигом лексического значения типа *усэ* 'стих' – *мэ-усэ* 'он сочиняет' и другой, гораздо более свободный, вид конверсии, когда именны основы могут быть использованы без глагольных словообразующих аффиксов как основы статических глаголов: *щлалэ* 'юноша' – *сы-щлалэ-щ* 'я юноша', причем лексическое значение не изменяется.

Разделы, посвященные именной морфологии, в сжатой форме излагают в основном известные факты грамматики КЧЯ. Можно отметить подробный раздел, посвященный прилагательным (Х.Ш. Урусов). Значительная часть первого тома посвящена центральной теме адыгской морфологии – глаголу и отглагольным образованиям. Дается характеристика основных классов – переходных и непереходных, динамических и статических глаголов, финитных и инфинитных форм, полиперсонализма, таблицы форм полиперсонного спряжения. В разделе о наклонениях (М.А. Кумахов) отметим наблюдение, согласно которому формы с показателем *-клэ*, совпадающим с маркером инструментального падежа, нельзя безоговорочно отнести к условному наклонению. Форма *сыщыклуэ-клэ* с темпоральным значением 'когда я иду' не изменяется по временам, в то время как омонимичная сй форма со значением 'раз (поскольку) я иду' может иметь разные временные формы: *сыщэклу-а-клэ* (перфект) 'раз я пошел', *сыщэклу-эну-клэ* (будущее II) 'раз я пойду'. Подробно рассмотрены категории глагольной деривации – версии, союзности, каузатива, функции местных провербов и директивных суффиксов. В разделе о причастиях (Б.Ч. Бижоев) обращает на себя внимание разработка проблемы неполного соответствия парадигм финитного глагола и причастия (последние образуют лишь часть полиперсонных форм) и наблюдение

о возможности повтора (до трех раз) префикса-релятивизатора *зы-* в результате множественной релятивизации четырехличной формы.

Глава IV первого тома, посвященная синтаксису, включает обзор основных типов словосочетаний, конструкций предложения, типов предложения по коммуникативной целеустановке, причем особый интерес вызывает разбор употребления причастных форм в вопросительной конструкции, когда глагол «занимает синтаксическую позицию подлежащего», а в качестве сказуемого выступают вопросительные местоимения и наречия [I: 394]; обсуждение трудностей, связанных со сложностью выделения членов предложения, характеристика определений и обстоятельств. В число конструкций предложения попала, в соответствии с известной идеей А. Чикобавы, и так называемая «индефинитная», т.е. включающая падежно немаркированные формы подлежащего и прямого дополнения, выраженные личными местоимениями I и 2 л. или неопределенными именными группами. Несмотря на то, что отсутствие падежных маркеров эргатива и абсолютива у личных местоимений-локуторов и у неопределенных имен не является случайностью, не случайно также и то, что сегодня идея «индефинитной» конструкции не находит сторонников среди кавказоведов.

Второй том монографии начинается с главы, посвященной лексике (М.Л. Апажев). Обсуждаются понятия лексико-семантической и лексико-стилистической систем и их компонентов, таких, как семантические поля и функциональные стили, лексикология с разграничением этимологических слоев, источников заимствований, архаизмов, профессионализмов и т.п., дан исторический очерк лексикографии КЧЯ. Особый интерес представляет анализ концептов, трудно переводимых на язык другой культуры, соответствующих таким словам, как *исэ* 'душа' или *зу* 'сердце'.

В главе II второго тома рассматриваются проблемы фразеологии (Б.Ч. Бижоев). Предлагается семантическая и лексико-грамматическая классификация фразеологических единиц КЧЯ и фразеологический словарь из 577 единиц. Глава III второго тома посвящена диалектологии КЧЯ. Обосновывается классификация диалектов, даны некоторые изоглоссы и достаточно объемный диалектологический словарь. Специальные разделы посвящены языку черкесов в Карачаево-Черкесии (Р.Х. Темирова) и языку черкесской диаспоры (Б.Ч. Бижоев), с образцами текстов.

В IV главе второго тома монографии (М.А. Кумахов) рассматривается устно-поэти-

ческий язык нартского эпоса – особая наддиалектная форма речи.

Глава V второго тома посвящена ономастике (Д.Н. Коков). В ней мы находим классификацию и этимологический анализ топонимической лексики и адыгский топонимический словарь.

В монографии обнаруживаются и некоторые упущения. Например, говоря о внешних связях абхазо-адыгских языков [I: 6; II: 84–85], авторы не упоминают наиболее важную идею – гипотезу Н.С. Трубецкого [1987 (1926)] о северокавказском родстве и последующие работы С.Л. Николаева, С.А. Старостина [Nikolayev, Starostin 1994] и В. Чирикбы [Chirikba 1996]. Заметим, что в одновременно опубликованной «Адыгской энциклопедии» [Энциклопедия 2006] современное состояние изучения проблемы отражено с достаточной полнотой. С другой стороны, конкретным этимологическим гипотезам, скорее всего, не место в разделах, посвященных грамматике, тем более что с некоторыми этимологическими идеями авторов согласиться трудно – например, с предположением, что возвратно-усилительное местоимение *ezy* представляет собой сложение местоименного префикса *з* л. *e-* и глагольного рефлексивного префикса *зы-* [I: 121], см. похожую идею в [Яковлев, Ашхамаф 1941: 358] и убедительную критику в [Кумахов 1989: 98], а также [Шагиров 1977: 172; Nikolayev, Starostin 1994: 1102]. К сожалению, издание не свободно от опечаток и других технических погрешностей, из которых некоторые было бы легко исправить (например, знак *l*, характерный для машинописи, не везде заменен на *l*).

В целом рецензируемая монография представляет собой значительный вклад в изучение адыгских языков и представляет ценность не только как справочное издание, но и как фундаментальная исследовательская работа. Ее выход в свет – заметное событие в научной и культурной жизни Северного Кавказа, важная историческая веха в истории исследования кабардино-черкесского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Грамматика 1957 – Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. М., 1957.

Studies on reduplication / Ed. by B. Hurch with editorial assistance of V. Mattes (Empirical approaches to language typology; 28). Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2005. 640 p.

Статьи рецензируемого сборника представляют собой переработанные варианты докладов на конференции, посвященной редуплика-

Грамматика 1970 – Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. Ч. I. М., 1970.

Кумахов 1971 – М.А. Кумахов. Словоизменение адыгских языков. М., 1971.

Кумахов 1989 – М.А. Кумахов. Сравнительно-историческая грамматика адыгских (черкесских) языков. М., 1989.

Ландер, Сумбатова 2007 – Ю.А. Ландер, Н.Р. Сумбатова. Адыгейские отрицания // Кавказский лингвистический сборник. Вып. 18. М., 2007.

Очерки 1969 – Очерки кабардино-черкесской диалектологии. Нальчик, 1969.

Рogaва, Керашева 1966 – Г.В. Рogaва, З.И. Керашева. Грамматика адыгейского языка. Майкоп; Краснодар, 1966.

Трубецкой 1987 (1926) – Н.С. Трубецкой. Исследования в области сравнительной фонетики северокавказских языков // Н.С. Трубецкой. Избранные труды по филологии. М., 1987.

Шагиров 1977 – А.К. Шагиров. Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков. Т. 1. М., 1977.

Энциклопедия 2006 – Адыгская (черкесская) энциклопедия / Гл. ред. М.А. Кумахов. М., 2006.

Яковлев 1948 – Н.Ф. Яковлев. Грамматика литературного кабардино-черкесского языка. М.; Л., 1948.

Яковлев, Ашхамаф 1941 – Н.Ф. Яковлев, Д.А. Ашхамаф. Грамматика адыгейского литературного языка. М.; Л., 1941.

Chirikba 1996 – V. Chirikba. Common West Caucasian. Leiden, 1996.

Colarusso 1992 – J. Colarusso. A grammar of the Kabardian language. Calgary, 1992.

Jelinek, Demers 1994 – E. Jelinek, R. Demers. Predicates and pronominal arguments in Straits Salish // Language. 1994. V. 70 (4).

Nikolayev, Starostin 1994 – S.L. Nikolayev, S.A. Starostin. A North Caucasian etymological dictionary. М., 1994.

Smeets 1984 – R. Smeets. Studies in West Circassian phonology and morphology. Leiden, 1984.

Ю.А. Ландер, Я.Г. Тестелец

ции, которая проходила в ноябре 2002 г. в г. Грац (Австрия). В издании, как и на конференции, представлены работы разных направ-

лений. С известной долей условности можно противопоставить европейские исследования, в которых явлениям даются неформальные объяснения (В. Дресслер, Д. Гил, Л. Куликов и др.), и блок американских работ, где факты объясняются в формализме теории оптимальности (П. Шоу, С. Урбанчик, Н. Нельсон и др.). Даже при беглом просмотре сборника бросается в глаза различие между «европейскими» и «американскими» статьями в том, что касается используемой литературы: авторы первых, как правило, оперируют работами, написанными на 3–4 языках и в большом временном интервале (см., например, статьи Ф. Роз, Д. Эль Зарка, П. Баккера и М. Парквалла, не говоря уж о Л. Куликове), тогда как вторые пользуются преимущественно или даже исключительно англоязычными работами последних десятилетий (см., например, статьи Ш. Инкелас, Н. Нельсон, П. Шоу, С. Урбанчик). Это различие связано с хорошо известной тенденцией к изоляционизму, свойственной современной американской теоретической лингвистике.

С 1980-х годов в рамках американской формальной фонологии появляется множество работ, посвященных редупликации. Так как мы не можем отослать читателя к какому-либо русскоязычному обзору этих работ, кажется уместным вкратце изложить концепции описания редупликации, предложенные в конце прошлого века.

Российским лингвистам известно противопоставление морфем-операций (редупликации и чередований) и сегментных морфем. Для современной американской лингвистики такое разграничение нехарактерно. Теоретически оно может быть снято двумя путями – либо последовательным отказом от аддитивной модели (см. о такой возможности в [Плунгян 2000: 69–70]), либо аддитивным описанием самой редупликации. Именно второй вариант был характерен для американской лингвистики, по крайней мере, начиная с Л. Блумфилда [Блумфилд 1968: 325]. Согласно этому взгляду, редупликant¹ – поверхностная реализация специальной морфемы, которая отличается от обычных аффиксов (префиксов, инфиксов) лишь тем, что у нее не полностью определены фонологические признаки. Впрочем, в генеративных работах 1970-х годов редупликация, естественно, описывалась как результат применения трансформационных правил. Однако на рубеже 1970-х и 1980-х годов объяснитель-

ная сила правил была поставлена под сомнение из-за их всеисильности (правила могут порождать любые структуры, в том числе и такие, которые не представлены ни в одном естественном языке). Новый формализм аддитивного описания редупликации был предложен в программной работе А. Маранца [Marantz 1982], ссылки на которую можно встретить едва ли не в большинстве статей сборника. В ней было высказано предположение, что редупликативная копия может быть задана в виде последовательности согласных и гласных ячеек (например, CVC или CV), в которые по достаточно общим правилам происходит копирование сегментного состава из основы; с некоторыми ячейками могут быть связаны и другие фонологические признаки, в предельном случае это может быть полностью определенная фонема. Эту идею ни в коем случае нельзя считать новой: она вполне соответствует лингвистической традиции (ср., например, представление в виде Се-префиксальной редупликативной копии в формах древнегреческого перфекта в [Булыгина 1977: 142–143]) и хорошо описывает подавляющее большинство редупликаций, хотя, по-видимому, не все. Для дальнейшего развития теории редупликации был существен тот эмпирический факт, что редупликant обычно имеет более простую («немаркированную») просодическую структуру, а иногда и более простой фонемный состав, чем основа. Наглядным примером упрощения структуры в редупликante могут служить только что упомянутые редуплицированные формы древнегреческого перфекта: при их образовании начальный кластер всегда упрощается, ср. $\tau\rho\acute{\epsilon}\phi\omega$ 'кормлю' ~ перф. $\tau\acute{\epsilon}\tau\rho\phi\alpha$, $\beta\lambda\acute{\alpha}\lambda\tau\omega$ 'наносу вред' ~ перф. $\beta\acute{\epsilon}\beta\lambda\alpha\phi\alpha$ и т.д. (не $*\tau\rho\acute{\epsilon}\tau\rho\phi\alpha$, $*\beta\lambda\acute{\epsilon}\beta\lambda\alpha\phi\alpha$). Было предложено два объяснения такого рода фактам. Во-первых, было отмечено, что в этом отношении редупликant похож на другие аффиксальные морфемы. Во-вторых, была разработана модель «проявления немаркированной структуры» (the emergence of the unmarked) [Alderete et al. 1999], ставшая общим местом в теории оптимальности и в некоторых статьях обсуждаемого сборника называемая «теорией соотношений» (correspondence theory). Эта модель исходит из того вполне логичного допущения, что только внешний вид основы может быть напрямую получен из глубинно-морфологического представления («underlying form»), а редупликant строится непосредственно из основы. На языке теории оптимальности это описывается с помощью «ограничивающих условий» (constraints): одна группа ограничений требует от всех реализаций морфем совпадения с их глубинной формой, вторая группа

¹ В редупликативной конструкции выделяется основа (исходная морфологическая единица) и редупликant (редупликативная копия, которая добавляется к основе).

ограничений требует от редупликанта совпадения с основой, а третья группа – запрещает реализацию «маркированных» сегментов и структур (например, кластеров). В тех случаях, когда ограничения второй группы оказываются слабее, чем ограничения первой, некоторые ограничения третьей группы могут располагаться в иерархии между ними. Тем самым они оказывают влияние на форму редупликанта (потому что они сильнее, чем требование сохранить сходство основы и редупликанта), но не оказывают влияния на форму всех остальных морфем (потому что они слабее, чем требование сохранить глубинное представление морфемы в ее поверхностной реализации). Результатом такого ранжирования и является наблюдаемый эффект: запрет на маркированные структуры (например, кластеры) в редупликанте.

Широко распространенные в современном американском языкознании формальные модели языка, к числу которых принадлежит и теория оптимальности, строятся скорее на дедуктивной, нежели на индуктивной основе. Если факты не укладываются в предлагаемую автором теорию, они могут получать самую удивительную интерпретацию, нередко мотивированную именно теоретическими аргументами. К таким решениям естественно относиться с настороженностью. В частности, для американских авторов сборника характерно исключение из понятия редупликации целого ряда явлений, которые обычно в это понятие включаются. Так, Ш. Инкелас и Ш. Цолль выводят за рамки редупликации некоторые случаи «слишком коротких» повторов (например, образование множественного числа в хауса – *bindigà* 'ружье' ~ pl. *bindig-o:gi:*), поскольку такие факты мешают единообразно описать все случаи редупликации как морфологический повтор. Еще более выразительна в этом плане статья Н. Нельсон (N. Nelson, *Wrong side reduplication: Evidence from Yoruba*), посвященная случаям, при которых левая редупликация, как кажется, копирует конец основы, а правая – начало. Согласно Н. Нельсон, редупликации в неправильную сторону на самом деле не существует. Для всех таких случаев приводятся различные частные объяснения: например, индонезийские примеры типа *rikul* «бить» – *rikul-tetikul* описываются как полная редупликация с последующей вставкой префикса. Те случаи «неправильной редупликации», для которых подобных объяснений найти не удастся, Н. Нельсон вынуждена не признавать редупликацией; так, образование отыменных глаголов в нанкаури (*rom* – ?*um-rom*, *liak* – ?*uk-liak*) она трактует как ударную рифму (stressed rhyme; отметим, что в работе [Alderete

et al. 1999] эта модель описывается как левая редупликация с «проявлением немаркированной структуры»). Подобным образом Н. Нельсон описывает и материал языка йоруба, которому, собственно, и посвящена статья. Р. Уилбур отказывает в праве называться редупликацией не только производным, но и словообразовательным повторам в американском языке жестов [Wilbur 1973]. Производные повторы вообще довольно часто не считаются редупликацией (например, так у И.А. Мельчука и у Э. Моравчик). Удвоение же при образовании отглагольных имен в американском языке глухонемых, согласно Уилбур, следует считать не морфологическим, а «фонологическим» явлением потому, что оно обусловлено требованием обеспечения достаточной минимальной длительности каждого жеста. При этом складывается впечатление, что такая трактовка важна для исследовательницы не сама по себе, а в силу убеждения Р. Уилбур в том, что «настоящая» редупликация может быть только иконической.

Проблеме иконичности редупликации в сборнике уделено первостепенное внимание. Авторы признают «естественными» для редупликации такие значения, как множественность, аугментативность, длительность действия и т.п. Поэтому значения типа приблизительности, уменьшительности, завершенности действия, также (как видно в том числе и из работ, представленных в сборнике) нередко выражаемые в языках мира путем редупликации, ставят исследователей перед выбором – либо отказаться от тезиса об иконичности, либо в очередной раз доказать, что «*п о м ы с л и т ь с е б е* (выделено нами. – *Авт.*) можно едва ли не любую семантическую эволюцию» [Бурлак, Старостин 2005: 84]. С. Коувенберг и Д. Ляшаритэ (S. Kouwenberg, D. LaCharité, *Less is more: Evidence from diminutive reduplication in Caribbean Creole languages*), рассматривая редупликацию, выражающую уменьшительность или приблизительность в креольских языках Карибского региона (ямайском, ндьюка и сранан), без колебаний идут по второму пути, предлагая для соответствующих примеров следующую, не побоимся этого слова, фантастическую схему развития значения: 'X встречается много раз' > 'X встречается отдельными порциями' > 'не сплошь X' > 'приблизительно X' > 'маленький X'.

Статья В. Абрама (W. Abraham, *Intensity and diminution triggered by reduplicating morphology: Janus-faced iconicity*) является в некотором смысле ответом на предыдущую статью. Автор предлагает свое решение для отклонений от принципа иконичности. По его мнению, следует различать «интенсивную» и

«экстенсивную» модификацию: при применении редупликации к словам, обозначающим «квантуемые» сущности, получается количественное увеличение (множественное число у исчисляемых существительных, длительный вид у глаголов, обозначающих события), напротив, если редуплицируемое слово обозначает сущность «неквантуемую», приращение семантических черт сопровождается размыванием качества (что дает значения типа дисперсности, диминутивности и т.п.). Автор, по его собственным словам, принимает принцип иконичности как данность и не готов от него отказаться даже ввиду наличия примеров (в том числе приводимых в его работе), которые никак не укладываются в эту концепцию.

Ш. Инкелас и Ш. Цолль, полемизируя с теорией соотношений, разработали «теорию морфологического повтора» (*Morphological doubling theory*). На конференции выступали обе исследовательницы (с формальной точки зрения, это были два отдельных доклада), однако в сборнике представлена лишь статья Ш. Инкелас (*Sh. Inkelas, Morphological doubling theory: Evidence for morphological doubling in reduplication*). Согласно теории Ш. Инкелас и Ш. Цолль, редупликация – это конструкция, требующая двух экземпляров одной и той же морфологической единицы (морфемы или какого-то сочетания морфем). Оба элемента редупликативной конструкции структурно равноправны, поэтому термины «основа» и «редупликант» авторы используют лишь как традиционные, не вкладывая в них никакого теоретического смысла. Рассматриваемая теория отражена в солидной монографии [Inkelas, Zoll 2005]; ознакомиться с ее кратким изложением можно в электронном архиве [ROA (№ 425)].

Аргументы в пользу предлагаемой теории авторы делят на морфологические и фонологические: фонологические доводы представила на конференции Ш. Цолль, тогда как Ш. Инкелас представляет морфологические доводы (более значимые в рамках данной теории). В статье рассматриваются редупликативные конструкции, которые описываются в морфологических, а не фонологических терминах. Например, в океанийском языке эроманга в редупликативной конструкции в определенных случаях выступают два разных алломорфа корня, а в ндебеле (группа сото-тсвана языков банту) корень в «редупликанте» оформляется пустыми морфемами. В австралийском языке дирбал повторяться может как корень, так и аффикс, причем такие редупликации находятся в свободном варьировании и не различаются по семантике. Теория морфологического повтора обеспечивает сходное

описание редупликации и сочетаний парных слов, актуальное для многих восточных языков, в которых эти явления демонстрируют заметное сходство (в статье Ш. Инкелас приводятся кхмерские, вьетнамские и ачехские синонимические композиты).

Внимание к морфологическим аспектам редупликации кажется вполне оправданной реакцией на описание этого явления преимущественно в фонологических терминах, которое было доминирующим в течение двух предшествующих десятилетий. В этом отношении теория морфологического повтора является частью общей смены парадигмы в изучении редупликации (необходимость эксплицировать основу в морфологических терминах мотивируется также в статьях П. Шоу и Э. Кин в рассматриваемом сборнике).

Морфологическую теорию редупликации, разработанную Ш. Инкелас и Ш. Цолль, использует в своей статье Ф. Маклафлин (*F. McLaughlin, Reduplication and consonant mutation in the Northern Atlantic languages*). Ее статья посвящена взаимодействию редупликации и чередований начальных согласных в двух относительно близких языках северной подгруппы западноатлантических языков: пулар (*Pulaar*, западная разновидность фула) и серер-син (*Serer-sin*). В работе рассматривается использование ступеней чередования в качестве показателей именных классов. Ступени чередования описаны как результат сочетания корней с не-сегментными морфемами, означающим которых являются фонологические признаки последующих согласных, например: [-щелевой] (т.е. взрывной), [назальный]. В пулар это самостоятельные морфемы, а в серер-син префиксальные показатели класса являются сочетанием обычных сегментов с определенными признаками: например, показателем 1-го класса является сочетание префикса *fo* с признаком [-щелевой] первого согласного корня, а показателем 13-го класса – сочетание префикса *o* с признаком [назальный]. В редуплицированных именах в языке пулар второй экземпляр корня всегда начинается с щелевого звука (согласно автору, это исходная форма именных корней в этом языке), первый экземпляр корня начинается с той ступени, которую требует префикс данного класса. В серер-син выделяется два вида корней: в одних происходит чередование согласных по глухости/звонкости, в других – по способу образования (оба типа корней имеют также чередование по назальности). При редупликации корней первого типа первый экземпляр корня содержит глухой согласный, а второй – звонкий (*opii-bid* ‘писатель’). При редупликации корней второго типа первый экземпляр содержит взрывной согласный, а во

втором экземпляре наблюдается вариативность – он может начинаться как с щелевого, так и со взрывного (*obaa-war/obaa-bar* ‘убийца’). Poleмический пафос автора направлен против фонетических объяснений морфологии редупликации. Автор выводит наблюдаемое взаимодействие редупликации и системы чередований в серер-син из морфонологической структуры и деривационных свойств соответствующих морфем. Некоторые детали этого построения изложены, к сожалению, неясно.

В статье К. Рубино (C. Rubino, Reduplication: form, function and distribution), открывающей сборник, дается обзор формальных и семантических особенностей редупликации в языках мира. Не касаясь напрямую теоретических проблем, автор иллюстрирует примерами основные классификационные признаки плана выражения редупликации (полная/частичная, префиксальная/суффиксальная/инфиксальная, простая/с чередованиями или с дополнительными сегментами и др.) и характерные для редупликации значения (множественность, интенсивность, аттенуативность). Иллюстрируя экзотические правила построения редупликанта, К. Рубино воспроизвел существующее в литературе довольно причудливое описание редупликации в австралийском языке мангарай. Некритически следуя работе Мерлана, К. Рубино выделяет в этой редупликации редупликанты, склеенные из несмежных частей основы: *gurjag* ‘лилия’ ~ *gur.jur.jagj-i* ‘с большим количеством лилий’, *bangal* ‘яйцо’ ~ *baŋ.gaŋ.galji* ‘с большим количеством яиц’. В рамках подобной обзорной статьи было бы естественно ограничиваться более очевидными решениями. Например, в работах [McCarthy, Prince 1995] и [Kurisu, Sanders 1999] редупликант выделяется следующим образом: *g.urj.urjagj-i*, *b.aŋ.aŋgalji*; кроме того, можно предложить и третье решение: *gurj.urj.agj-i*, *baŋ.aŋ.alji*.

Частичная редупликация обычно копирует непосредственно смежную часть основы, на чем даже базируется определение основы в некоторых формальных работах. П. Шоу (P.A. Show, Non-adjacency in reduplication) анализирует случаи, когда редупликант отделен от основы какой-то морфемой – другой редупликативной копией или обычным аффиксом. Самый яркий случай такого рода – редупликация в двух близкородственных салишских языках томпсон и лиллуэт. Диминутивная и дистрибутивная редупликации могут применяться к основе как по отдельности (*sil* ‘хлопчатобумажная ткань’ ~ *dim. si.sil* ‘небольшой кусок хлопчатобумажной ткани’ ~ *distr. sil.sil* ‘лоскуты хлопчатобумажной ткани’), так и одновре-

менно (*distr. dim. sil.si.sil* ‘маленькие лоскуты хлопчатобумажной ткани’). В последнем случае диминутивная копия отделена от своей основы дистрибутивной копией (в [Мельчук 2001: 324–325] «повторная» редупликация в томпсон сопоставляется со сходными конструкциями в другом салишском языке, лушущид, где дистрибутивная копия в этом случае копирует не основу, а диминутивную копию). Автор делает из анализа рассмотренных моделей вывод, что основа, используемая для построения редупликации, должна быть составляющей, определенной в просодических или морфологических терминах, а не произвольной цепочкой.

Д. Гил хорошо известен своими исследованиями риану (диалект индонезийского языка, распространенный в провинции Риану). Эти исследования основываются на полевой работе автора. Его статья в данном сборнике (D. Gil, From repetition to reduplication in Riau Indonesian) посвящена разграничению синтаксического повтора и редупликации (которая, как он полагает, по определению есть строго морфологическое явление). Автор выделяет диагностические свойства повтора и редупликации (замечательно, что одним из признаков последней – наряду с просодической и синтаксической связностью – Д. Гил считает НЕиконичность семантики) и анализирует представительный материал. Много внимания уделено как ясным с точки зрения классификации случаям, так и разного рода пограничным явлениям.

Л. Куликов исследует в своей статье (L. Kulikov, Reduplication in the Vedic verb: Indo-European inheritance, analogy and iconicity) шесть редупликативных моделей, представленных в ведийском глаголе. После синхронного и диахронического описания морфологии этих моделей автор обсуждает их семантику, прежде всего – семантику редуплицированных форм настоящего времени. Л. Куликов присоединяется к выдвинутой еще в 1903 г. гипотезе Г. Ульянова, согласно которой характерной особенностью многих глаголов с редуплицированным настоящим временем является то, что обозначаемая ими ситуация состоит из множества микроситуаций (таковы, например, значения ‘пить’, ‘нюхать’ ‘идти’, ‘смеяться’). При этом у некоторых глаголов движения семантически противопоставлены две формы настоящего времени – редуплицированная форма имеет неопределенное значение (например, ‘носить’), а тематическая форма (1 класс по традиционной классификации) – предельное (например, ‘нести’).

В статье Э. Кин (E. Keane, Phrasal reduplication and dual description) рассматривается эхоредупликация в четырех индийских языках:

двух индоевропейских (хинди и бенгали) и двух дравидийских (тамильском и каннада). Данные по хинди и тамильскому собраны самим автором. Редупликация с ассоциативной семантикой, распространенная во многих восточных языках, чаще всего применяется к словоформам (каннада *kanni* 'глаз' ~ *kanni ginni* 'глаз и тому подобное'). Э. Кин интересуют случаи, когда эхо-редупликации подвергаются единицы, меньшие или большие, чем словоформа. Такие случаи представлены в трех языках из четырех обследованных (носители хинди отказывались от предлагавшихся им примеров). Так, например, исключение окончания из эхо-конструкции отмечается в каннада, ср. *baagil.anni* 'дверь (Асс)' – *baagil-giigil-anni* 'дверь и т.п. (Асс)'. Сходные примеры встречаются и в некоторых тюркских языках (например, в татарском *kitap-mitap.lar* 'книги и тому подобное' [Ганиев 1982: 39]). Возможность редуплицировать основу, а не словоформу связана с известной независимостью окончания от основы.

Автор рассматривает также фразовые редупликации вроде каннада *meejin-a meelee giijin-a meelee* 'на столе и в сходных местах' (*meelee* – локативный послелог, управляющий генитивом, ср. *meejin-a meelee* 'на столе').

Подобные примеры из тамильского языка хорошо известны (см. [Андронов 1965: 96; 1978: 441]); остается неясным, верна ли интерпретация таких примеров, предлагаемая автором, – согласно Э. Кин, в этих случаях происходит неточный повтор целого словосочетания. По крайней мере для сходного поведения эхо-редупликации в тюркских и славянских языках кажется оправданным совсем иное объяснение. Рассмотрим такие примеры: тур. *Stassen giderse, yerine Mtassen gelir* 'Если Стассен уйдет, придет кто-то вроде Стассена' [Lewis 1967: 237], болг. разг. *Забравих пантофите. Няма пантофи, няма мантофи вече* 'Я забыл тапочки. Больше нет тапочек, нет шмапочек' [Младенов 1975: 386], рус. разг. *Вы можете в Африку / в Шмафрику / куда хотите* // [Земская и др. 1983: 194]. В этих примерах неточная копия ведет себя как относительно независимое слово, похожее на элемент парного синонимического сочетания. Возможно, такая же интерпретация приемлема и для индийских языков. Отметим еще, что для описания морфологии редупликации Э. Кин вводит собственный формализм, который более подробно описан в ее статье [Keane 2006] и которого мы не будем здесь касаться.

С. Урбанчик (S. Urbanczyk, Enhancing contrast in reduplication) подробно рассматривает собранный ею материал салишского языка комокс. В этом языке есть две редупликации –

диминутивная (*súpaɟu* 'бык' ~ *súspaɟu*) и имперфективная (*túqʷəm* 'cough' ~ *tútuqʷəm* 'coughing'). Предполагается, что обе модели представляют собой префиксальную CV-редупликацию. Имперфективная редупликация не содержит никаких дополнительных морфологических правил, тогда как диминутивная модель характеризуется редукцией гласного основы и заменой [ə] на [i] в редупликанте. Следует отметить, что сходная диминутивная редупликация в салишском языке шусвап описывалась в предшествующих работах иначе – как инфиксальный повтор согласной фонемы [Мельчук 2000: 59] (исторически, видимо, в салишских языках диминутив является префиксальной редупликацией, что следует из фактов лушucid и томпсон). Автор объясняет эти особенности морфологии комокс (а также различия в морфологии редупликативных моделей в других языках, рассмотренных в статье) тем, что при наличии нескольких моделей редупликации в языке действует специальный механизм их расподобления.

Л. Даунинг (L.J. Downing, The emergence of the marked: Tone in some African reduplicative systems) рассматривает поведение тона при редупликации в йоруба, хауса и некоторых других африканских языках. Исходя из теории соотношений можно было бы предполагать, что редупликant всегда содержит немаркированный тон, однако в рассмотренных моделях это не так. «Неправильное» поведение тона автор связывает с тем, что тон приписывается не в рамках основы или редупликанта, а в рамках целого слова.

Статья Ф. Роз (F. Rose, Reduplication in Tupi-Guarani: Going into opposite directions) посвящена сопоставлению редупликации в эмерильон (материал по этому языку собран автором) и в нескольких других языках семьи тупигуарани. Во всех рассмотренных языках есть две модели редупликации – CV- и CVCV-редупликация (эти модели автор не очень удачно называет слоговой и двухслоговой, из-за чего приходится постулировать дополнительное правило усечения последнего согласного закрытого слога). Повтор двух слогов используется для выражения разного рода глагольной множественности и имперфективности (значения 'часто', 'время от времени', 'постепенно', 'постоянно' и т.п.), повтор одного слога выражает множественность участников ситуации, которые принимают в ней участие один за другим. Как отмечает автор, не все примеры укладываются в это распределение. CVCV-редупликация получает свой сегментный состав из последних двух слогов основы, вставляясь перед ними (тупинамба *a.i.mokón* 'я проглотил это' ~ *a.i.mokó.mokón* 'я глотал их часто'). CV-

редупликация в эмерильон копирует первый слог корня: *ō.hem* 'выходит' ~ *ō.hē.hem* 'выходят', тогда как в других обследованных языках копируется последний слог: ваямпи *o.sala* 'он ломает' ~ *o.sa.la.la* 'он раскалывает'. Автор не может предложить никакой диахронической гипотезы, касающейся этого различия. Исследовательница отмечает, что в шипайя (группа тупи) и в аравакских языках (возможно, родственных языкам тупи-гуарани) сосуществуют два вида редупликации – с копированием начала и с копированием конца основы.

В статье Д. Эль Зарка (D. El Zarka, On the borderline of reduplication: Gemination and other consonant doubling in Arabic morphology) рассматриваются различные виды глагольной редупликации в арабском языке. Автор выделяет следующие редупликативные модели, соответствующие структуре основы CVCCVC: *katkat* (полная редупликация), *katkab* (удвоение C₁), *kattab* (геминация C₂), *katbab* (удвоение C₃). Как показывает Эль Зарка, в формах типа *kattab* представлена именно геминация срединного согласного, а не его удлинение; в пользу такой точки зрения говорит, в частности, то, что первый из двух консонантов может подвергаться диссимилятивному изменению – ср. *faqqa!* > *farqa!* «взрывать». Эль Зарка разделяет точку зрения, согласно которой полная редупликация «лучше» частичной, а слоговая – моноконсонантной, выстраивая следующую иерархию: *katkat* > *katkab* > *katbab* > *kattab*. При этом автор справедливо подчеркивает, что ни эта иерархия, ни гипотеза о возникновении частичной редупликации путем разрушения полной не находят себе никакого аналога в истории арабского языка: единственной несомненно старой разновидностью редупликации, надежно возводимой на общесемитский уровень, в арабском языке является как раз «плохая» редупликация типа *kattab*.

Статья Дж. Хогена (J.D. Haugen, Reduplicative allomorphy and language prehistory in Uto-Aztecan) посвящена реконструкции редупликативных моделей в юто-ацтекском праязыке. В качестве основания для реконструкции этого уровня принимается присутствие морфологической модели как в южной, так и в северной ветви рассматриваемых языков. Автор реконструирует для праязыкового состояния три собственно редупликативные модели и «аффиксацию моры». Аффиксация моры может реализовываться как геминация согласного, как удлинение предшествующего гласного и как вставка ларингала. Первые две из этих трех реализаций аффиксации моры можно признать редупликацией. Эти удвоения сегментов, как и вставка ларингала, в основном имеют характерные для редупликации значения

(геминация согласного или вставка ларингала для выражения множественного числа в тепекано, удвоение согласного или гласного для выражения хабиуталиса в яки, геминация согласного для выражения дуратива в ряде нумийских языков). В этот ряд автор ставит и вставку ларингала в западно-нумийском языке моно, семантика которой заметно отличается от семантики сопоставляемых моделей в других языках (*whitapo* 'strike several blows' ~ *whitahpo'i* 'strike one blow'; *kwaca* 'fall' ~ *kwahca'i* 'fall a short distance').

Другая нетривиальная модель, рассмотренная в статье Д. Хогена («Marked heavy syllable reduplication»), состоит из префикса CV-, «утяжеленного» одним из трех способов: удлинением гласного, геминацией последующего согласного или вставкой ларингала. Было бы логично рассматривать эту модель как сочетание префикса CV- и аффиксации моры. Объединяемые в эту модель морфемы обозначают не только разные виды множественности у существительных и глаголов, но и консекутив (в науатль).

Объектом исследования в статье В. Дресслера и группы авторов (W.U. Dressler, K. Dziubalska-Kořaczyk, N. Gagarina, M. Kilani-Schoch, Reduplication in child language) является редупликация у детей, в чьих родных языках грамматическая редупликация отсутствует. Поскольку детский язык более иконичен, чем взрослый, он содержит больше экстраграмматической редупликации. Многие слова детской речи по форме являются редупликативными: *ням-ням*, *буль-буль*, *кап-кап*, и вследствие этого редупликация начинает осмысляться как нечто относящееся к детям, получает уменьшительное или гипокористическое значение. Кроме того, редупликация проявляется в детском языке, когда вместо взрослых слов с сильно различающимися фонемами ребенок произносит цепочки похожих друг на друга звуков, сохраняя при этом количество слогов и общую «мелодию» слова.

М. Леруа и А. Моргенстерн (M. Lerou, A. Morgenstern, Reduplication before age two) исследуют редупликацию в процессе усвоения языка (на материале одного франкофонного ребенка от 2 месяцев до 1 года 10 месяцев). Им удалось проследить, как ребенок переходит от простых повторов, имеющих целью удержать внимание взрослого (для таких повторов характерна многократность и наличие пауз), к редуплицированным последовательностям, заменяющим слова (здесь компоненты повторяются лишь один раз и без паузы). Если примерно до 1 года 3 месяцев редупликация служит лишь показателем общего возбуждения, то затем контроль над звукопроизводством укреп-

ляется, и редуцированные последовательности начинают употребляться в качестве замены слов взрослого языка. Редупликация, таким образом, упрощает запоминание и хранение в памяти многосложных слов и представляет собой важную стадию перехода от однословных высказываний к дву- (и более) – словным.

В исследовании Х. Софу (H. Sofu, Acquisition of reduplication in Turkish) рассматривается усвоение редуциративных моделей турецкими детьми. Особый интерес представляют данные о префиксальной редукации со значением интенсивности, где конечный согласный редуциранта выбирается по каким-то не вполне предсказуемым правилам (например, *uz.yuvarlak* 'совершенно круглый', *sim.siyah* 'совершенно черный'). Исследовательница предлагала построить такие редуцированные формы от 38 несуществующих «слов» группе детей и группе взрослых. Не только дети, но и взрослые при построении этих форм довольно плохо соблюдали те закономерности, которые можно сформулировать на основании существующих редуциративных форм.

В статье П. Баккера и М. Парквалла (P. Bakker, M. Parkvall, Reduplication in pidgins and creoles) поднята проблема генезиса редукации в креольских языках. Дело в том, что, хотя почти во всех креолах редукация имеется, в пиджинах она крайне редка и периферийна – при том, что не связанные с грамматикой повторы очень часты в регистре «язык для иностранца», на основе которого формируется пиджин. Авторы статьи выражают обоснованные сомнения в том, что появление редукации в креолах объясняется наличием у человека особой врожденной языковой программы, как предполагают, например, Н. Хомский и Д. Бикертон. По мнению П. Баккера и М. Парквалла, против этого свидетельствует как чрезвычайное разнообразие функций редуциративных моделей в креольских языках, так и очевидный субстратный источник некоторых из них. Интересно при этом, что влияние языка-субстрата возникает лишь на стадии креолизации.

Не является возникновение редукации в креольских языках и следствием какой-то особой иконичности этого морфологического средства: как показывают П. Баккер и М. Парквалл, использование редукации для выражения, например, множественности (что является в высшей степени иконичным) в креолах встречается сравнительно редко – не чаще, чем в не-креольских языках. Таким образом, возникновение редукации в креольских языках – результат их собственного внутреннего развития.

Заслуживает внимания сделанное авторами наблюдение, согласно которому в креольских языках, образованных от одного языка-лексификатора, редукация встречается чаще, чем в креольских языках, образованных от другого (в англо-креольских языках она представлена шире, чем во франко-креольских). Такая же зависимость прослеживается и с языками-субстратами (например, в португало-креольских языках Нижней Гвинеи редукация встречается чаще, чем в португало-креольских языках Верхней Гвинеи).

Более частая встречаемость полной, а не частичной редукации в креольских языках связана, по мнению авторов, с тем, что времени, прошедшего с момента возникновения этих языков, оказалось недостаточно для фонетической эрозии. Показателен пример языка сарамакка, где засвидетельствованы ранние формы с полной редукацией и их современные продолжения, где редукация частичная.

Статья Р. Пфау и М. Штейнбаха (R. Pfau, M. Steinbach, Backward and sideward reduplication in German sign language) подробно и аккуратно описывает типы редукации, применяемые при образовании взаимного залога глагола и множественного числа имен существительных в немецком языке глухонемых. Форма редукации зависит как от лексических свойств слова, так и от характера передающего его движения – является ли оно простым или сложным, выполняется двумя руками или одной, имеет привязку к определенному участку тела или нет. Однако авторы считают основной своей заслугой не формулировку четких правил, описывающих выбор типа редукации, а пространственный анализ этих типов в формализме теории оптимальности. Вводятся целых семь ограничительных условий, пять из которых относятся к классу «ограничений достоверности» (причем три из них применимы только к жестовым языкам), а оставшиеся два касаются непосредственно множественного числа существительных в немецком жестовом языке.

Статья Р. Уилбур (R.B. Wilbur, A reanalysis of reduplication in American sign language) посвящена обоснованию тезиса о том, что редукация в американском языке жестов иконична. Ее основная функция – выражение способа глагольного действия (дуратив, итератив, хабитуалис и т.д.): характер возвратного движения между повторениями движения собственно знакового, обеспечивающий эти различия, иконически отражает время между обозначаемыми событиями. В дистрибутиве остановки движения в определенных пунктах обозначают различные актанты. В статье много внимания уделяется иконическим элемен-

там грамматики американского языка жестов, не связанным непосредственно с редупликацией. Участие Ронни Уилбур почетно для сборника, поскольку ее диссертация [Wilbur 1973] оказала большое влияние на современное изучение повторов.

В сборник вошли также статьи Р. Сингха о хинди (R. Singh, Reduplication in modern Hindi and the theory of reduplication), Р. Сибасаки о японском (R. Shibasaki, Clause integration and semantic change in Japanese verbal reduplication: A diachronic perspective) и У. Мааса об арабском синтаксисе (U. Maas, Syntactic reduplication in Arabic).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Андронов 1965 – М.С. Андронов. Дравидийские языки. М., 1965.
Андронов 1978 – М.С. Андронов. Сравнительная грамматика дравидийских языков. М., 1978.
Блумфилд 1968 – Л. Блумфилд. Язык. М., 1968.
Булыгина 1977 – Т.В. Булыгина. Проблемы теории морфологических моделей. М., 1977.
Бурлак, Старостин 2005 – С.А. Бурлак, С.А. Старостин. Введение в лингвистическую компаративистику. М., 2005.
Ганиев 1982 – Ф.А. Ганиев. Образование сложных слов в татарском языке. М., 1982.
Земская и др. 1983 – Е.А. Земская, М.В. Кистайгородская, Н.Н. Розанова. Языковая игра // Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983.

- Мельчук 2000 – И.А. Мельчук. Курс общей морфологии. Т. III. Москва; Вена, 2000.
Мельчук 2001 – И.А. Мельчук. Курс общей морфологии. Т. IV. Москва; Вена, 2001.
Младенов 1975 – М.С. Младенов. Об одном типе повторов в болгарском языке, имеющем параллель в румынском языке // *Revue roumaine de linguistique*. 1975 (XX). 4.
Плунгян 2000 – В.А. Плунгян. Общая морфология. М., 2000.
Alderete et al. 1999 – J. Alderete, J. Beckman, L. Benua, A. Gnanadesikan, J. McCarthy, S. Urbanczyk. Reduplication with fixed segmentism // *Linguistic inquiry*. V. 30. 1999.
Inkelas, Zoll 2005 – Sh. Inkelas, Ch. Zoll. Reduplication: Doubling in morphology. Cambridge, 2005.
Kurisu, Sanders 1999 – K. Kurisu, N. Sanders. Infixal nominal reduplication in Mangarayi // *Phonology at Santa Cruz*. V. 6. 1999.
Keane 2006 – E. Keane. Fixed segmentism and dual description // *Linguistics* 44. 4. 2006.
Lewis 1967 – G.L. Lewis. Turkish grammar. Oxford, 1967.
Marantz 1982 – A. Marantz. Re Reduplication // *Linguistic inquiry*. 1982. V. 13. № 3.
McCarthy, Prince 1995 – J. McCarthy, A. Prince. Prosodic morphology // J. Goldsmith (ed.). *The handbook of phonological theory*. London, 1995.
ROA – <http://roa.rutgers.edu>
Wilbur 1973 – R.B. Wilbur. The phonology of reduplication. Ph.D.diss. University of Illinois. Bloomington (Indiana), 1973.

С.А. Бурлак, И.Б. Иткин, Ф.Р. Минлос

E. Filimonova (ed.). Clusivity: Typology and case studies of the inclusive-exclusive distinction. Amsterdam: Benjamins, 2005. xii + 436 p. (Typological studies in language; 63).

Рецензируемый сборник «Ключивность» (этот термин, который нельзя не признать органичным и естественным, возник в ходе подготовки книги для обозначения противопоставления инклюзивных и эксклюзивных форм местоимений) объединяет работы исследователей, описывающих указанную оппозицию инклюзив/эксклюзив с теоретической и типологической точки зрения. Сборник состоит из двух частей: в первой собраны работы, посвященные общим проблемам описания этой оппозиции, тогда как работы второй части описывают это явление в языках определенной генетической группировки либо лингвистического ареала. Тем самым, книга представляет собой прекрасный пример сбалансированного (т.е. разностороннего и полного) лингвистического описания. С одной стороны, в книге представлен богатый фактический

материал; в то же время, в ней затрагиваются достаточно общие вопросы, такие, как типология прономинальных систем, типология форм вежливости, тенденции ареальной и диахронической эволюции систем, демонстрирующих изучаемое противопоставление.

Сборнику предпослано краткое введение, в котором представлены включенные в книгу работы (отметим, что как в его теоретической, так и в описательной части немало статей российских типологов). Открывается сборник статьей М.А. Даниэля «Understanding inclusives» («К пониманию инклюзивных форм»). Автор анонсирует во введении задачу – показать, что, в отличие от эксклюзива, инклюзив не является формой 1 л., и построить адекватную этой трактовке лингвистическую модель, соотносящую между собою число, лицо и ключивность в прономинальной сфере. Автор с

блеском выполняет (и значительно перевыполняет) эту задачу, в качестве «бонуса» преподнося читателю нетривиальные и глубокие замечания по вопросам, смежным с основной темой исследования. В качестве первоначального аргумента в пользу независимой трактовки инклюзивных форм и форм 1 л. М.А. Даниэль показывает, что морфологически эти прономинальные формы связаны только в трех языках из его выборки, тогда как морфологически независимы они более чем в 80-ти языках. Основой предлагаемой автором модели, позволяющей единообразно и непротиворечиво описать как прономинальные системы, обладающие категорией клязивности, так и прономинальные системы, не имеющие ее, являются локутивные иерархии. Так, в языках с отсутствием клязивности действует иерархия [Говорящий > Адресат]: всякая группа, в которую входит говорящий, в таких языках обозначается одним и тем же образом, вне зависимости от того, какие другие лица входят в нее. В свою очередь, в языках, где представлена категория клязивности, действует иерархия [Говорящий = Адресат] и, тем самым, наличествуют специальные формы для обозначения группы, в которую входят и говорящий, и адресат. Но реализуется ли третья логическая возможность – а именно, есть ли языки, в которых действует иерархия [Адресат > Говорящий]? Автор отвечает на этот вопрос утвердительно и подробно анализирует материал ряда языков, в которых единообразно обозначается всякая группа, в которую входит адресат. Интересная полемика возникает между этим разделом статьи М. А. Даниэля и опубликованной в этом же сборнике статьей М. Сисоу «Syncretisms involving clusivity» («Случай синкретичного выражения клязивности»). М. Сисоу собрал коллекцию данных, которая показывает, что в прономинальных системах клязивные формы могут быть омонимичны любой другой прономинальной форме и что функционально мотивированный синкретизм форм инклюзива и форм второго лица, о котором говорит М.А. Даниэль, встречается не чаще, чем случаи функционально немотивированного синкретизма. Как показал М. Сисоу на материале 123 языков, синкретизм инклюзива и формы 1 л. встречается только в одном языке, типологически частотными являются случаи формального совпадения эксклюзива и 1 л. (40 языков), а вот случаи формального совпадения инклюзива и эксклюзива с любой другой личной формой (в том числе и случаи формального тождества инклюзива и эксклюзива) являются гораздо более редкими, но, что существенно, частота их приблизительно равна

(каждый случай представлен примерами из 15–20 языков).

В статье Б. Бикеля и Дж. Николс «Inclusive-exclusive as person vs. number categories worldwide» («Инклюзив-эксклюзив как категории лица vs. числа в языках мира») предлагается трехчастная типология клязивных систем и изучается ареальное распределение выделенных типов. Авторы объявляют, что в основание классификации положено соотношение клязивности с формами лица либо с формами числа. Но, к сожалению, на фоне других статей данного сборника их апелляция к понятиям лица и числа для описания выделенных ими типов выглядит достаточно слабой: каждый из выделенных ими типов описывается в других статьях сборника в терминах, позволяющих существенно более адекватно отразить семантику лично-числовых противопоставлений в сфере клязивности. Тем не менее, выделение самих трех типов клязивных систем остается несомненным, так как они формально четко противопоставлены. Их условно можно обозначить следующими схемами, в которых использование одной и той же заглавной латинской буквы обозначает наличие формальной корреляции между формами парадигмы, а использование разных букв – отсутствие формальной корреляции:

Tun 1

Sg		Group	
1	A	Excl	B
		Incl	C

Tun 2

Sg		Group	
1	A	Excl	A
		Incl	B

Tun 3

Sg		Group	
1	A	Excl	A
1 + 2	B	Incl	B

Наибольшая концентрация прономинальных систем с категорией клязивности обнаруживается в так называемом тихоокеанском ареале (Circum-Pacific), включающем Австралию, Океанию, Восточную Азию и западное побережье обеих Америк. Единство этого аре-

ала (выделяемого авторами также на основании географического распределения других лингвистических признаков) Б. Бикель и Дж. Николс обуславливают происходившими по меньшей мере 20 тыс. лет назад миграционными процессами, в результате которых все эти территории были, как считается, заселены выходцами из Восточной Азии. Что касается распределения трех выделенных типов в данном регионе, то на западе господствуют системы первого типа, на востоке представлено более или менее сбалансированное соотношение между системами первого и второго типов, а системы третьего типа представлены только в Австралии, причем в 80% языков этого континента. Авторы полагают, что тем самым в Австралии сохраняются реликты древних волн миграции, по не вполне ясным причинам исключая трактовку систем третьего типа в Австралии как более поздней инновации, распространившейся на весь австралийский континент. Это тем более удивительно, что особая роль ареальных сходств для австралийских языков хорошо известна и описывалась во многих работах. Схожее недоумение возникает и при описании Б. Бикелем и Дж. Николс других частей выделенного ими древнего ареала: делая выводы о том, что распределение лингвистических признаков обуславливается направлением миграционных процессов, имевших место несколько десятков тысяч лет тому назад, авторы полностью игнорируют возможность того, что позднейшие языковые контакты могли в значительной степени изменить «лингвистический портрет» описываемых регионов.

В статье Х. Саймона «Only you?» («Только ты?») анализируются те языки, про которые делались утверждения о наличии в них кляузности в формах 2 л. Языков таких немного, в пределах десятка; автор, однако, утверждает, что категория кляузности во 2 л. не просто редка, а вовсе не существует. Он подробно анализирует материал каждого из этих языков и показывает, что, по тем или иным причинам, существующая в языке вариативность форм 2 л. была ошибочно интерпретирована как кляузность. В действительности же за этим может стоять и контаминация двух диалектных вариантов, и различие эмфатической/неэмфатической формы и т.п. Однако, показав, что ни для одного из этих языков формы в действительности не различают кляузности, автор приводит пример баварского диалекта немецкого, где при вежливом обращении к группе лиц выбирается одно из двух местоимений в зависимости от того, обращается ли говорящий к группе присутствующих либо к адресату и отсутствующему лицу/лицам.

Примеры, приводимые из текстов на баварском диалекте, очень убедительны и интересны. Примечательно также, что материал баварского диалекта побуждает автора признать, что, хотя кляузность во втором лице кажется ему мифом (что он и попытался показать в своей статье), все же баварский с несомненностью доказывает, что такое противопоставление может существовать на периферии прономинальной системы, будучи спаянным с выражением вежливости и другими прагматическими установками, и что подобные случаи, как правило, не отражаются в грамматических описаниях языков мира.

А. Северская и Д. Баккер в статье «Inclusive and exclusive in free and bound person forms» («Инклюзив и эксклюзив в морфологически самостоятельных/несамостоятельных формах личных местоимений») на материале почти четырехсот языков исследуют вопрос о различии выражения кляузности в парадигме независимых местоимений в противовес парадигмам местоименных клитик и аффиксов. Известно, что увеличение степени грамматичности элемента сопровождается ослаблением степени его свободы (что, в данном случае, выражается эволюцией несвязанной формы в клитику или аффикс) и определенной семантической «эрозией». Таким образом, первоначальная гипотеза авторов, полностью подтвердившаяся в статье, состоит в том, что кляузная оппозиция чаще сохраняется в формах свободных местоимений, нежели в связанных, клитических или аффиксальных местоименных показателях.

В сборнике представлена также очень интересная статья В.Ю. Гусева и Н.Р. Добрушиной «Inclusive Imperatives» («Инклюзивные императивы»). Как правило, кляузность изучается на материале личных местоимений; глагольные парадигмы изучаются реже, и в этом случае, как правило, исследователи говорят о глаголе в целом, ограничиваясь рассмотрением индикативных форм. Вместе с тем, как убедительно показали авторы этой работы, оказывается, что в глагольной системе есть наклонение, для которого противопоставление по кляузности оказывается очень существенным – это формы императива. Причем это единственная форма глагольной системы, в которой существует асимметрия в сфере кляузности в виде явного предпочтения инклюзивов. Особое положение императива по отношению к категории кляузности объясняется его семантикой: во всех императивных формах адресат играет центральную роль, либо являясь объектом каузации в формах второго лица, либо выступая в качестве посредника между говорящим и каузируемым субъектом третьего

лица. Семантика эксклюзива фактически несовместима с семантикой императива, так как в этом случае в качестве объекта каузации выступает говорящий и объединяющаяся с ним группа людей, по отношению к которым адресат не может выступать даже посредником. Эта асимметрия проявляется следующим образом. Во-первых, в большинстве языков существует только инклюзивная, но не эксклюзивная императивная форма (т.е. форму императива 1 л. можно употребить только в том случае, если в действии участвует говорящий: в противном случае выбирается форма другого наклонения либо форма будущего времени индикатива). Во-вторых, в тех немногих языках, где в императиве все-таки представлено формальное противопоставление инклюзивных форм, эксклюзивная форма имеет особую семантику, используясь как обращение к адресату для того, чтобы спросить его согласия на совершение действия; таким образом, и в этом случае адресат выступает в роли лица, от которого в значительной степени зависит совершение данного действия. В-третьих, крайне редки языки, в которых в императиве употреблялась бы форма «нейтрального» первого лица, покрывающая одновременно значение инклюзива и эксклюзива; в то же время, такие формы широко употребляются в языках мира в неимперативных глагольных парадигмах. Еще одна интересная особенность императивных форм, отмеченная авторами статьи – сильная тенденция к формальному различению числа адресатов в императивных инклюзивных формах ('мы с тобой' vs. 'мы с вами', ср. в русском *давай Р vs. давайте Р*). Эта тенденция – противопоставлять ситуации с двумя локуторами и ситуации с большим числом участников – проявляется в том числе и в тех языках, в которых формы двойственного числа не представлены ни в какой другой части грамматической системы. В качестве функционального обоснования для такого различения авторы указывают на то, что в ситуации императива успех действия существенно зависит от того, насколько прямой является каузация. Таким образом, «идеальным» объектом каузации является адресат, тогда как включение в ситуацию других лиц подразумевает также необходимость опосредованной каузации. По этой причине и оказывается столь существенной грамматикализация числовых противопоставлений в сфере императивных форм.

В статье М. Сисоу «A typology of honorific uses of clusivity» («Типология гонорифических употреблений инклюзивных форм») анализируются возможные употребления инклюзивов и эксклюзивов для передачи различных значений категории вежливости. К сожалению – и

автор статьи это признает – сведения о таких употреблениях форм инклюзивности встречаются в грамматических описаниях крайне редко, и даже в том случае, если в грамматике удастся отыскать упоминание о гонорифических употреблениях инклюзивных форм, такие упоминания носят характер очень кратких замечаний. Соответственно, автор имел возможность привести в статье всего три примера, иллюстрирующих гонорифические употребления инклюзивных форм. Однако хорошим дополнением к его исследованию служит материал открывающей вторую часть сборника статьи Ф. Лихтенберга «Inclusive-exclusive in Austronesia» («Инклюзив-эксклюзив в Австронезии»), в которой приводится много примеров гонорифического употребления инклюзивных форм. На материале языков Австронезии, в которых категория инклюзивности реконструируется для праязыка, Ф. Лихтенберг показывает асимметрию инклюзивных и эксклюзивных форм, проявляющуюся в том, что: а) только инклюзивные формы способны развивать дополнительные употребления, такие, как гонорифические или имперсональные; б) в случае утраты инклюзивной оппозиции в языке в качестве формы первого лица удерживается именно форма с исходной инклюзивной семантикой.

Во второй части сборника представлены также статьи, посвященные категории инклюзивности в тибето-бирманских (Э. ЛаПолла) и тюркских (И. Невская) языках, в языках центрально-восточной части Южной Америки (М. Кревельс и П. Мейскен), а также в месетенских языках Боливии (Ж. Сакель) и в языке шусвап (Ян П. ван Эйк). В этих статьях анализируются диахронические и ареальные пути возникновения категории инклюзивности в описываемых ареалах, а также функционирование этих форм в системе современного языка. В сборник также включена статья К. Кормира, описывающая противопоставление инклюзивности/эксклюзивности в американском жестовом языке.

Завершается сборник статьей редактора книги Е. Филмоной «Clusivity cross-linguistically» («Типология инклюзивности»), в которой суммируются приведенные в статьях сборника факты и мнения, касающиеся различных аспектов описания инклюзивности. Пользу такого заключения трудно переоценить, так как многие статьи сборника перекликаются между собой, описывая сходные феномены. Кроме того, в заключении анализируются также работы предыдущих лет, посвященные категории инклюзивности и прономинальным формам, что позволяет включить сборник в более широкий научный контекст.

Все статьи рецензируемого сборника интересны как рассматриваемыми в них фактами, так и предлагаемыми интерпретациями. Иногда сопоставление точек зрения различных авторов подразумевает полемику между ними, иногда их трактовки дополняют друг друга, но, в любом случае, хочется отметить, что перед

нами не коллекция разрозненных заметок, собранных под одной обложкой и объединенных только общностью темы, а интегральное, глубокое и увлекательное описание категории ключивности в языках мира.

А.Ю. Урманчиева

J. Hewson, V. Bubenik. From case to adposition. The development of configurational syntax in Indo-European languages. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2006. xxx + 419 p. (Current issues in linguistic theory; 280)

Основная идея рецензируемой книги заключается в том, что формирование в индоевропейских языках группы «прилога»¹ с фиксированным порядком слов послужило моделью для сходного развития у групп существительного и глагола. Для того, чтобы обосновать этот тезис, авторы анализируют развитие падежных и «приложных» систем в некоторых индоевропейских языках.

Книга начинается с авторского предисловия, где сообщается, что авторы считают своими предшественниками Л. Ельмслева с его работой «Категория падежа» [Hjelmslev 1935] и Р. Якобсона [1936/1985]. Далее излагаются теоретические предпосылки, из которых исходят авторы, в частности, декларируется намерение следовать приоритету содержания. При этом критикуется использование в лингвистике функций истинности: «Пора признать аномальность семантики, основанной на функциях истинности, и наконец избавиться от антименталистских убеждений, на которых она базируется» (с. vii). Кроме того, авторы обещают пользоваться «простым синтаксисом зависимостей, восходящим к Аристотелю и греческой *gramatikē*». Читателя не должно смутить то обстоятельство, что немедленно после этого в книге появляется термин *adpositional phrase* («группа прилога»), а дальше в тексте свободно употребляются и термины «именная и глагольная группа»². В разделе 4.0 «Приложные

(предложные и послеложные) системы» авторы обращают внимание на то, что при исследовании свойств приложной группы необходимо заниматься и значениями самих прилогов и каким-то образом соотносить значения прилогов со значениями падежей.

В книге 16 глав, из которых относительно более подробно имеет смысл остановиться на первых двух. Глава 1 называется «Типологическая революция в индоевропейских языках: от парадигмы к словосочетанию»³. Отметив, что в латинском языке допустимо довольно свободное расположение существительного и модифицирующего его прилагательного, в то время как предлог должен непосредственно предшествовать управляемому существительному, авторы переходят к рассмотрению греческих «частей», обладавших довольно свободным распределением в гомеровском греческом, но превратившихся впоследствии в прилоги. От этого авторы переходят к рассмотрению прилогов вообще, и к связи между наличием в языке пред- или послелогов и типа основного порядка слов. В разделе 1.3.3 «Типологические последствия существования приложных групп» сообщается, что в некоторых и.-е. языках произошла типологическая революция, заключавшаяся, в частности, в том, что именно в языках, сокративших число падежей до четырех или меньшего числа, развилась система артиклей. Насколько мы можем судить, это утверждение неверно: артикли существуют и в некоторых и.-е. языках с богатыми падежными системами, например, в грабаре и в современных армянских, а также в некоторых севернорусских диалектах. Тем более это не так в неиндоевропейских языках: богатые падежные системы сосуществуют с артиклями в мордовских, венгерском, баскском и др.

¹ К сожалению, в русском языке до сих пор нет общепринятого перевода для удобного термина *adposition*. Чтобы не писать всякий раз «предлог или послелог», мы будем пользоваться словом «прилог» (уже предлагавшимся некоторыми исследователями), которое кажется нам очень естественным аналогом английского термина.

² Более того, на с. 145 читателя ожидает вполне обычное дерево непосредственных составляющих [_{PP} P_t [_{NP} N Adj]] с явно указанными узлами P_t и NP. (Мы приводим не само дерево, а эквивалентную скобочную структуру ради экономии места.)

³ Под «словосочетанием» (*phrase*) подразумевается, по всей видимости, именно синтаксическая группа, т.е. понятие из отвергаемой авторами грамматики составляющих.

После этого рассматриваются падежные системы и.-е. языков и редукция этих систем в диахронии. Падежи подразделяются на «канонические» (номинатив, аккузатив, генитив и датив) и прочие (аблатив, аллатив, локатив, инструменталис, комитатив и препозиционалис, «используемый только с предлогами»). Отмечается, что падежи образуют иерархию: «именной уровень» (номинатив и аккузатив) «уровень прилагательного» (генитив и датив), «адвербиальный уровень» (прочие падежи).

Затем обсуждается редукция падежного инвентаря, происшедшая во многих и.-е. языках. При этом почему-то не упоминается о еще одной тенденции – возникновении «новых» падежных систем, имевшей место, например, в осетинском и некоторых новых индоарийских.

Далее отмечается, что прилагательное может модифицировать только существительное, а наречие – только прилагательное. Обсуждению этого явления посвящен раздел 1.6, к сожалению, при этом не упоминается так называемый *accusativus graecus*, встречающийся в некоторых и.-е. языках, например, ср. лат. (Ovid., *Metamorphoses* 15.212):

(1) *alb-a* *capill-os*
белый-NOM.F волос-ACC.PL

‘седовласая’, букв. «белая волосами».

В разделе 1.8 «Когнитивные процессы наименования и упоминания» говорится, в духе теории Гийома, в частности, что «бинарное когнитивное противопоставление определенно и неопределенного непосредственно зависит от бинарной структуры существительного, как бы состоящего из лексемы и референта». Довольно существенное для анализа артиклей во многих языках противопоставление референтных и нереперентных существительных не упоминается вовсе.

Во введении к главе 2 («Синтаксис предложной группы») сообщается, что эволюция предложной группы, приведшая к возникновению жесткого порядка слов, повлекла за собой развитие глагольной группы и именной группы. В разделе 2.1 авторы возвращаются к критике грамматики составляющих и вновь декларируют свою приверженность 2500-летней европейской грамматической традиции. В разделе 2.2 вводятся «уровни синтаксиса»: синтаксисальный, соответствующий взаимосвязи предиката и субъекта; первичный, соответствующий связи глагольной группы и именной группы; и вторичный, соответствующий связи существительного и прилагательного, глагола и наречия, прилагательного и наречия, а также наречия и наречия. Наконец, субсинтаксический уровень соответствует зависимостям, существующим внутри слов и синтаксических групп. (При этом говорится, что

именная группа и глагольная группа обычно функционируют как единое существительное или глагол, соответственно. Мы затрудняемся сопоставить это замечание с намерением авторов пользоваться грамматикой зависимостей.)

Несколько нестандартен для современной лингвистики подход авторов к взаимоотношению сказуемого и подлежащего: критикуя восходящую к Теньеру вербоцентрическую концепцию, авторы предлагают считать, что «подлежащее (часто топик) *поддерживает* (is the support of) сказуемое (обычно комментарий), в то время как последнее *зависит* от своего поддерживающего» (с. 29).

В разделе 2.3, «Система частей речи в и.-е. языках», говорится о двух интересных идеях в этой области, высказанных Гийомом. Первая из них – разделение «частей речи» на предикативные (существительное, глагол, прилагательное, наречие) и непредикативные (местоимение, определитель, предлог, союз). Сходство этой идеи с бытующим в школьной грамматике делением частей речи на знаменательные и служебные, вероятно, чисто случайно, иначе верность 2500-летней традиции не позволила бы авторам приписать эту идею Гийому.

Вторая идея Гийома – подразделение местоимений на «комплетивные» и «супплетивные». (Последний термин не имеет никакого отношения к обычному морфологическому супплетивизму.) По-видимому, речь идет о противопоставлении клитик и местоимений, способных составлять отдельное фонетическое слово. Далее авторы отмечают, что подобное различие существует у наречий и глаголов. В разделе 2.4 авторы возвращаются к проблеме бинарной структуры существительных в индоевропейских языках, связывая с этой бинарностью возможность использовать существительные в качестве прилагательных (*bus station*) и наречий (*We went home*.) В разделе 2.5 обращается внимание на то, что во множественном числе может быть только референт, а не лексема. В конце главы, в разделе 2.6, описывается система основных английских предлогов.

В остальных главах, с 3 по 14, дается обзор падежных и приложных систем в ряде индоевропейских языков. Мы перечислим заголовки глав, отмечая лишь некоторые из подробностей, привлечших наше внимание.

Глава 3 – «Падежи и предлоги в древнегреческом». Глава 4 – «Падежи и послелоги в хеттском». Глава 5 – «Падежи и послелоги в индоарийских языках» (фактически из новых индоарийских языков упоминается только хинди). Глава 6 – «Падежи и предлоги в иранских языках» (в качестве примера западноиранско-

го языка рассматривается фарси, а в качестве примера восточноиранского – пушту; осетинский язык, с его необычной и непохожей на прочие современные иранские падежной системой, не упомянут вовсе).

Глава 7 – «Армянский». На с. 176 читаем: «Сокращение от шести синтетических падежей древнеармянского к четырем в современном армянском сопровождалось возникновением определенного артикля». Если подсчет числа падежей – в известной мере условность, зависящая от определений (хотя во многих современных армянских грамматиках на вполне резонных основаниях выделяется большее число падежей), то наличие определенных артиклей в древнеармянском, как нам представляется, факт все же бесспорный (для справки можно обратиться к любой грамматике грабара, например [Туманян 1971]). Кроме того, отрицание древнеармянской предложной системы и смена ее послеложной не упоминаются вовсе.

В конце главы по не вполне ясным причинам упоминается древнееврейский язык, причем предлоги *לֵא* и *בֵּא* именуются при этом послелогам. («Доктор, в терминах ли дело?») Порядок слов в ивритских примерах (32) и (33) странен как для библейского, так и для современного иврита. Источник этих примеров в книге не указан, и они, во всяком случае, не являются цитатами из Библии.

Глава 8 – «От древнего к современным славянским». В этой главе, в частности в таблице 8.8, перечислены основные русские наречия, обозначающие место. В их число, согласно авторам, входят *наперед*, *наружи* и *вон*. Другие неожиданные русские примеры включают *подойти ко кому* (с. 193), перевод *мне-ка* как «ко мне» (с. 182), *поди-ко* как «подойди» (*do come*, с. 182). Источник подобных русских примеров, разумеется, не указан.

Глава 9 – «Балтийские языки». Глава 10 – «От древних к современным кельтским». Глава 11 – «От латыни к современным романским».

Глава 12 – «От древних к современным германским». На с. 276 дается отсылка к таблице латинских примеров: «[В] и.-е. языках, напри-

мер, неодушевленные (т.е. неагентивные) субъекты получают маркирование, совпадающее с аккузативным, ср. распределение латинских форм в табл. 12.2». Латинские примеры в табл. 12.2 в самом деле подобраны так, что неодушевленных существительных мужского или женского рода там нет, однако это затруднительно сказать о латинских существительных в целом: ср. *gladius*, асс. *gladium* 'меч', м.р.; *via*, асс. *viam* 'улица' ж. р. и т.п.

Глава 13 – «Албанский». Глава 14 – «Тохарский». Глава 15 – «Падежи, адвербиальные частицы и прилоги в протоиндоевропейском». Глава 16 – «Заключение».

Единственным примером языка, для которого авторы обсуждают развитие именной группы (и в котором оно происходит одновременно с развитием предложной группы), является гомеровский греческий, и основной тезис работы – о влиянии приложной группы на формирование именной и глагольной групп – на наш взгляд, не получает убедительного доказательства: обилие странных утверждений в главах про конкретные языки не позволяет использовать книгу и в качестве справочника по падежным и приложным системам этих языков.

В завершение остается заметить, что в одной книге Хьюсона и Бубеника весьма поучительна – она наглядно демонстрирует, что даже принятая в крупных международных издательствах и в целом, безусловно, полезная система анонимного рецензирования иногда не может застраховать от издания откровенных курьезов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Туманян 1971 – Э.Г. Туманян. Древнеармянский язык. М., 1971.
Якобсон 1936/1985 – Р.О. Якобсон. К общему учению о падеже // Избранные работы. М., 1985.
Hjelmslev 1935 – L. Hjelmslev. La catégorie de cas. Aarhus, 1935.

Д.А. Эршлер

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Российский гуманитарный научный фонд: поддержка лингвистических мероприятий

Начиная с 2005 года наш журнал освещает деятельность Российского гуманитарного научного фонда, который поддерживает участие ученых-лингвистов в конференциях, симпозиумах, экспедициях и других научных мероприятиях, а также организацию подобных мероприятий. В этом выпуске «Хроники» мы представим обзор отчетов о лингвистических конференциях, поддержанных Фондом в 2006 году, а также анонсируем конференции и лингвистические экспедиции, проведение которых при поддержке Фонда запланировано на текущий 2007 год.

В 2006 г. Фондом было поддержано 15 лингвистических конференций. В негласном соперничестве двух российских столиц на этот раз уверенную победу одержали организаторы конференций из Санкт-Петербурга, где прошло шесть научных мероприятий. Несомненным лидером здесь уже не первый год является Институт лингвистических исследований РАН, организовавший в 2006 г. четыре конференции: Чтения памяти И.М. Тронского (19–21 июня); конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения А.А. Холодовича (4–6 сентября); II Всероссийскую научную конференцию «Русский язык XIX века: от века XVIII к веку XXI» (17–20 октября) и III конференцию по типологии и грамматике для молодых исследователей (2–4 ноября). Кроме этого, в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена прошла Всероссийская научная конференция «Слово. Словарь. Словесность: из прошлого в будущее (к 225-летию А.Х. Востокова)» (15–17 ноября), а ЗАО «Златоуст» провело конференцию под названием «Вопросы языковой адаптации мигрантов» (29–30 мая).

Чтения памяти профессора И.М. Тронского (традиционная, уже X конференция по индоевропейскому языкознанию и классической филологии) прошли с участием

ученых из Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска, а также их зарубежных коллег из Италии, Германии и США. Особо стоит выделить два доклада старейшего петербургского филолога-классика Н.С. Гринбаума, отметившего во время конференции свое 90-летие.

Международная конференция «Проблемы типологии и общей лингвистики», посвященная 100-летию со дня рождения основателя Санкт-Петербургской типологической школы А.А. Холодовича, собрала немало авторитетных лингвистов, многие из которых являются постоянными авторами нашего журнала. В частности, в конференции приняли участие В.С. Храковский и А.К. Отлоблин (СПб.) с докладом «А.А. Холодович: теоретические основы творчества», С.Е. Яхонтов (СПб.) «Лексическое и грамматическое словообразование», А.В. Бондарко (СПб.) «Аспектуально-темпоральный комплекс в системе категориальных единств», В.Ф. Выдрин (СПб.) «Локативные превербы в языках манде», Д. Вайс (Цюрих) «Сериализация “люкс” в русском и венгерском языках», В.М. Алпатов (Москва) «Докторская диссертация А.А. Холодовича и общее языкознание», Ю.Д. Апресян (Москва) «Типы соответствия семантических и синтаксических актантов», Е.В. Падучева (Москва) «Диатеза, генитив отрицания, наблюдатель», Я.Г. Тестелец (Москва) «К типологии предложений с невыраженной связкой», М.А. Кронгауз (Москва) «Пространство и время: семантические параллели», В.А. Плуныян (Москва) «О категории “темпоральной подвижности” в армянском языке», С.Г. Татевосов (Москва) «Аспектуальная композиция в предикациях с неполной структурой» и многие другие. Программа и тезисы докладов доступны на сайте ИЛИ РАН (<http://iling.nw.ru>).

Всероссийская научная конференция «Слово. Словарь. Словесность: из прошлого в будущее (к 225-летию

А.Х. Востокова)» прошла на филологическом факультете Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, в здании бывшей Российской Академии, академиком которой А.Х. Востоков был избран в 1820 г. На конференцию съехались русисты из разных городов России: Екатеринбург, Москва, Новосибирск, Пермь, Оренбург, Псков, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Томск, Великого Новгорода, Череповца, Петрозаводск и Архангельск.

Программа Третьей конференции по типологии и грамматике для молодых исследователей состояла на этот раз из четырех лекций приглашенных профессоров (Е.В. Падучевой, В.И. Подлесской, В.Б. Касевича и Ю.П. Князева) и 35 докладов молодых ученых из Москвы и Санкт-Петербурга. Программа и тезисы докладов также доступны на сайте ИЛИ РАН.

II Всероссийская научная конференция «Русский язык XIX века: от века XVIII к веку XXI» собрала более 100 участников, представлявших 27 учебных или научных учреждений России, Казахстана, Финляндии и Китая. Впервые в практике проведения научных мероприятий на базе ИЛИ РАН в подготовке и проведении конференции активное участие приняли научные сотрудники Музея Г.Р. Державина и русской словесности его времени, где и проходило большинство заседаний конференции.

Среди тем, обсуждаемых на конференции «Вопросы языковой адаптации мигрантов», были следующие: сохранение родного языка в диаспоре, школьная интеграция детей мигрантов за рубежом, языковая адаптация мигрантов, языки гастарбайтерства, методики преподавания языка в иноязычной аудитории. В конференции приняли участие ученые из России, Франции, Финляндии, Австралии, Греции и Украины.

В Москве в 2006 г. было проведено четыре конференции, две из которых прошли в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Седьмые Шмелевские чтения [24–26 февраля] и «Актуальные проблемы русской диалектологии» [22–25 октября]), по одной на филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова («Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспекте», 31 января – 2 февраля) и в Институте языкознания РАН («Кельтика-славика», 13–17 сентября).

Седьмые Шмелевские чтения, проходившие в год 80-летней годовщины со дня рождения академика Д.Н. Шмелева, на этот раз были посвящены проблемам языковой нормы. На конференции было сделано

93 доклада, 43 из которых были пленарными. Среди докладов по общим вопросам изучения языковой нормы стоит отметить доклады Л.П. Крысина (Москва) «Литературная норма и речевая практика», О.Б. Сиротининой (Саратов) «Узуальная норма и ее роль в развитии языка» и Е.А. Земской (Москва) «Новое в современном русском языке: соотношение узуса и нормы». Особенности современного словоупотребления в нормативном аспекте рассматривались в докладах М.А. Кронгауза «Семантическая норма и ее разрушение: расширение значения слов и конструкций в современной коммуникации» и В.И. Беликова «Русское языковое пространство и технический прогресс». Доклады Л.Л. Касаткина (Москва) «Предмет орфоэпии», Р.Ф. Касаткиной (Москва) «Произносительная норма и фразовые позиции» и М.Л. Каленчук (Москва) «Об одной из норм произношения заимствованных слов в русском языке» были посвящены проблемам современной орфоэпической нормы. Проблема освоения нормы носителями других подсистем русского языка затрагивалась в докладе О. Йокоямы (Лос-Анджелес) «Норма и нормализация “наивных” писем крестьян конца XIX века». Актуальные вопросы лексической семантики и лексикографии рассматривались в докладах М.Я. Гловинской «Неконвенциональная оценка у безоценочных слов – система или узус?», В.Ю. Апресян «Русское не судьба...» и Ю.Д. Апресяна «Об активном словаре русского языка». Проблеме функционирования русского языка в Финляндии был посвящен доклад Е.Ю. Протасовой (Хельсинки) «Языковая норма: извне и изнутри». Г.Е. Крейдлин (Москва) в докладе «Эмфатические ответные реплики в диалоге» анализировал способы языкового выражения эмфатического отказа. В докладе Е.В. Падучевой (Москва) «Единство дейктического центра как критерий выбора концептуализации» рассматривались семантические различия в отрицательных предложениях бытийного типа с генитивным и номинативным субъектом в зависимости от позиции наблюдателя. Наконец, в своем полемическом докладе «Может ли норма быть неправильной?» В.А. Успенский (Москва) говорил о субъективности понятий «правильность»/«неправильность».

II Международная конференция «Актуальные проблемы русской диалектологии» оказалась, пожалуй, самой представительной по географии ее участников: в ней приняли участие 76 диалектологов из Барнаула, Благовещенска, Брянска, Волгограда, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Кемерово, Костромы, Красноярска, Магадана, Москвы, Набережных Челнов, Новокуз-

нецка, Орла, Перми, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Саратова, Сыктывкара, Тамбова, Твери, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, а также их зарубежные коллеги из Латвии, Эстонии, Украины, Норвегии, Австрии, Польши, Германии и Румынии.

V Международная научная конференция «Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспекте» была организована кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Доклады были представлены на двух пленарных и девяти секционных заседаниях; в конференции приняли участие 80 исследователей из России и стран зарубежья.

II Международный коллоквиум «Кельтика-славика», продолживший традицию первого коллоквиума, состоявшегося в 2005 г. в университете Ольстера, был организован на базе Института языкознания РАН совместно с филологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова. Научная работа Общества «Кельтика-славика», созданного в июле 2004 г., будет продолжена на третьем и четвертом коллоквиумах, которые запланировано провести в Лодзи (Польша, 2008 г.) и Дубровнике (Хорватия, 2009 г.).

Также в 2006 г. Фондом было поддержано проведение пяти региональных конференций: «Бодуэн де Куртенэ и современные проблемы теоретического и прикладного языкознания» (Казань, 23–25 мая); «Актуальные проблемы классической филологии и сравнительно-исторического языкознания» (Томск, 26–29 июня); «Активные процессы в современном русском языке» (Таганрог, 11–13 сентября); «Поэтика и лингвистика: преодолевая границы» (Тверь, 16–18 октября); «Сопоставительное изучение разнотипных языков: научный и методический аспекты» (Чебоксары, 24–26 октября).

III Международные Бодуэновские чтения, посвященные современным проблемам теоретического и прикладного языкознания, литературоведения и фольклористики, у истоков которых стоял основатель Казанской лингвистической школы, профессор Казанского университета И.А. Бодуэн де Куртенэ, собрали рекордное количество участников – 284 филолога из России, ближнего и дальнего зарубежья. Со всеми материалами конференции можно познакомиться на сайте <http://www.kls.ksu.ru/index.php>.

В конференции «Актуальные проблемы классической филологии и сравнительно-исторического

языкознания», организованной Томским государственным университетом, приняли участие более 50 российских филологов-классиков, в том числе и директор ИЛИ РАН, академик РАН Н.Н. Казанский. Кроме различных научных вопросов, на конференции обсуждалась и проблема подготовки молодых кадров: поскольку Томск является единственным научным и учебным центром в Сибири по подготовке филологов-классиков, было принято решение об открытии в ТГУ факультета повышения квалификации по классической филологии для сибирских вузов.

Конференция в Таганроге «Активные процессы в современном русском языке» собрала 123 участника из Волгограда, Воронежа, Краснодара, Москвы, Майкопа, Саратова, Ставрополя и Ростова-на-Дону. Она была посвящена новым явлениям в речи, обусловленным как реализацией языковых закономерностей, так и влиянием факторов социологического характера.

В Тверском государственном университете прошла конференция под красноречивым названием «Поэтика и лингвистика: преодолевая границы», посвященная 100-летию со дня рождения Р.Р. Гельгардта. Кроме российских ученых в ней приняли участие и большое количество зарубежных гостей из Италии, Дании, Финляндии, Польши, Болгарии, Литвы, Беларуси и Украины.

Конференция в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова (Чебоксары) «Сопоставительное изучение разнотипных языков: научный и методический аспекты» объединила исследователей самых разных областей контрастивной лингвистики. Приведем для примера названия некоторых докладов: Т.М. Николаева «Русская цветопись и ее эквиваленты в немецком языке», Е.А. Григорьева «Типология мужских и женских имен в русском языке и языке народов Кении», Г.Н. Чиршева «Усвоение русской грамматики американскими детьми» и И.Н. Анисимова «Языковые особенности пейзажных зарисовок в переводах новелл Ги де Мопассана на русский язык».

Перейдем теперь к анонсированию научных мероприятий текущего 2007 г. В этом году лидерство в соперничестве Москвы и Санкт-Петербурга перешло к столице: в Москве планируется провести восемь конференций, три из которых организует Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН (V Международная конференция «Фонетика сегодня», рук. проекта Р.Ф. Касаткина; «А.И. Соболевский и русское историческое языкознание», рук. проекта

А.М. Молдован; «Лингвистика и поэтика в начале третьего тысячелетия», рук. проекта Н.А. Фатеева). В МГУ им. М.В. Ломоносова пройдет III Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» (рук. проекта М.Л. Ремнева); в Институте языкознания РАН состоится Международная конференция по уральским языкам к 100-летию К.Е. Майтинской (рук. проекта В.А. Виноградов); в РГГУ будет проходить Всемирный конгресс ассириологов (рук. проекта Л.Е. Коган); МГОПУ получил поддержку для организации XI конференции «Текст. Структура и семантика» (рук. проекта Е.И. Диброва); независимая некоммерческая организация Институт перевода Библии проводит постоянно действующий научный семинар «Проблемы библейского перевода» (рук. проекта Е.П. Чельшев).

В Санкт-Петербурге в 2007 г. пройдет пять конференций, две из которых будет организовывать ИЛИ РАН (Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения С.Д. Кацнельсона [рук. проекта М.Д. Воейкова], и Четвертая конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей [рук. проекта С.С. Сай]), одна пройдет на филологическом факультете СПбГУ («Современная албанистика: достижения и перспективы»; рук. проекта Л.А. Вербицкая), в ИЦ РАН состоится очередное заседание Грамматической комиссии при Международном комитете славистов (рук. проекта Н.Н. Казанский), а ЗАО «Златоуст» проводит международную конференцию «Государственный (официальный) язык как средство социальной адаптации мигрантов» (рук. проекта С.Н. Голубев).

Среди региональных конференций, поддержанных Фондом в 2007 г., Международная научная конференция «В.А. Богородицкий: научное наследие и современная лингвистика» (Казань; рук. проекта К.Р. Галиуллин), Форум русистов Азиатско-Тихоокеанского региона «Русский язык в Азии: современное состояние и тенденции распространения» (Иркутск; рук. проекта И.М. Головных), Международный научный семинар «Лингвофольклористика: итоги и перспективы» (Петрозаводск; рук. проекта З.К. Тарланов) и конференция «Коммента-

рий и интерпретация текста» (Новосибирск; рук. проекта Т.А. Трипольская).

Закончим обзор перечислением лингвистических экспедиций, которые будут проведены в 2007 г. при финансовой поддержке Фонда. Большинство из них уже можно назвать традиционными, однако каждый год в списке появляется и несколько новых названий. Таким образом, ежегодно расширяется география как исследуемых языков, так и самих организаторов этих мероприятий:

ОтиПЛ МГУ (рук. А.Е. Кибрик). Экспедиции по сбору данных уральских, алтайских и кавказских языков;

ОтиПЛ МГУ (рук. Е.Ю. Калинина). Документация вымирающих тунгусо-маньчжурских языков Дальнего Востока и Сахалина;

НИВЦ МГУ (рук. О.А. Казакевич). Экспедиция к северным эвенкам в поселки Чиринда и Эконда Эвенкийского АО Красноярского края;

РГГУ (рук. А.В. Дыбо). Хакасская лингвистическая экспедиция;

ИРЯ РАН (рук. Л.Л. Касаткин). Диалектологические экспедиции Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН;

Ияз РАН (рук. Л.Р. Додыхудоева). Словарь материальной и духовной лексики памирских языков (шугнанского, бартангского и др.);

ИЛИ РАН (рук. С.А. Мызников). Полевые исследования лексики русских говоров для лексического атласа русских народных говоров;

ИЛИ РАН (рук. И.М. Стеблин-Каменский). Лингвистическая экспедиция «Современный осетинский язык: аспекты грамматики, лексика, этнолингвистика»;

ГлазовГПИ (ГОУ ВПО) (рук. М.Т. Слесарева). Фольклорно-диалектологическая экспедиция в область смешанного проживания удмуртов, бесермян, русских;

СдвФ ПоморГУ (рук. Н.В. Хохлова). Концептуализация мира природы в семантике диалектных единиц (на материале архангельских говоров XIX–XXI веков).

О. В. Федорова,
(Москва)

**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» в 2007 г.**

Статьи

Б а й д а В.В. К вопросу о выражении категории таксиса в ирландском языке	6
Б о г о л ю б о в М.Н. Из исторической грамматики иранских языков	4
Г а н и н а Н.А. «Алкуинова рукопись»: к этимологической и историко-культурной трактовке	6
Г и р о - В е б е р М. Существительное в функции именного сказуемого в современном русском языке: возможно ли еще говорить о семантическом противопоставлении «Им. vs. Тв.»?	1
Г л а д к и й А.В. О точных и математических методах в лингвистике и других гуманитарных науках	5
Г л а д к о в а Г., Л и к о м а н о в а И. Некоторые раздумья над языковой ситуацией	6
Г о р б о в а Е.В. Аспектуальные граммемы и адвербиальный контекст (на материале испанского языка)	4
Г р а щ е н к о в П.В. Типология посессивных конструкций	3
Г р е н н А., Ф и л ю ш к и н а К р а в е М. Конкуренция видов: прагматические импликации и анафорические пресуппозиции несовершенного вида	4
Д о б р о в о л ь с к и й Д.О. Пассивизация идиом (о семантической обусловленности синтаксических трансформаций во фразеологии)	5
З а л и з н я к А.А. Еще раз об энклитиках в «Слове о полку Игореве»	6
З а л и з н я к А.А., Я н и н В.Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2006 г.	3
З е л е н и н А.В. Компрессивное словообразование в эмигрантской прессе (1919–1939 гг.)	4
И т к и н И.Б. Мягкие основы в современном русском языке	5
К а з е н и н К.И. О некоторых ограничениях на эллипсис в русском языке	2
К а л и н и н а Л.В. К вопросу о критериях выделения и отличительных приметах лексико-грамматических разрядов имен существительных	3
К и б р и к А.Е. Принципы и стратегии клаузуального сочинения в дагестанских языках ...	3
К р а с у х и н К.Г. Аспекты и времена праиндоевропейского глагола. Часть II: Аорист и имперфект древнегреческого глагола	4
Л е в и т с к а я А.А. О видовой несоотнесенности в современном осетинском языке (влияние универсальных и идиоэтнических факторов)	5
М а к о в с к и й М.М. Мифопоэтические этюды	2
М е н г е л ь С. Отражение протекания действия во времени в языке восточных славян	6
М и х а й л о в а Т.А. К вопросу о падежном синкретизме в континентальном кельтском: галльское <i>gobedbi</i>	4
Н и к о л а е в А.С. Бессуффиксный претерит <i>ro'ír</i> и другие древнеирландские претериты с долгим <i>-i-</i> в корне	2
О' К о р р а н ь А. Перфектные конструкции в островных кельтских языках	5
П о н а р я д о в В.В. Диалектная дифференциация в древнетюркском языке енисейских рунических надписей	2
П р о з о р о в а Е.В. Российский жестовый язык как предмет лингвистического исследования	1
Р о ж а н с к и й Ф.И. Редупликация и названия животных в африканских языках	2
С а й С.С. Прагматически обусловленные возвратные конструкции «опущенного объекта» в русском языке	2
С а м и г у л л и н а А.С. Когнитивная лингвистика и семиотика	3
С а х а р о в а А.В. Содержательные параметры употребления кратких причастий в древнерусской летописи для некоторых стативных глаголов	2
С м о л и н а М.Ю. Импликативные реализации граммем: детерминация, личность, падеж и число (на материале старокрымского диалекта урумского языка)	4

Соколянский А.А. О статусе звука [ц] и фонемы <ц> в русском литературном языке.....	3
Тадинова Р.А. Отражение заднеязычных согласных при заимствовании тюркской лексики в нахско-дагестанские языки.....	1
Цзяхуа Чжан. Аспектуальные семантические компоненты в значении имен существительных в русском языке	1
Шаповал В.В. Цыганские элементы в русском воровском арго? (размышления над статьей акад. А.П. Баранникова 1931 г.)	5
Шафиков С.Г. Категории и концепты в лингвистике.....	2
Шацков А.В. К вопросу о назальном презенсе в хеттском языке: <i>duwarne</i>	3
Шмидт К.-Х. К концепции сравнительно-исторического анализа кельтского словаря ...	1
Щербин В.К. Вклад О.Н. Трубачева в развитие научной критики словарей	5
Ягунова Е.В. Коммуникативная и смысловая структуры текста и его восприятие.....	6
Ян Цзе. Забайкальско-маньчжурский препиджин. Опыт социолингвистического исследования.....	2

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Благова Г.Ф. Плеяда востоковедов-единомышленников в противостоянии новой и старой школ (первые десятилетия XX в.).....	1
Кузнецов В.Г. Ф. де Соссюр и Женевская школа: от «языка» к «речи»	6

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Крысько В.Б. Русская историческая лексикография (XI–XVII вв.): проблемы и перспективы	1
Шестакова Л.Л. Авторская лексикография на рубеже веков.....	6

Рецензии

Аркадьев П.М. Языки мира. Славянские языки.....	3
Аркадьев П.М. Языки мира. Балтийские языки	5
Белов А.М. А.Е. Кузнецов. <i>Ars brevis</i> . Латинская метрика	5
Бурлак С.А. <i>W. Wildgen</i> . The evolution of human language: Scenarios, principles, and cultural dynamics.....	1
Бурлак С.А., Иткин И.Б., Минлос Ф.Р. <i>Studies on reduplication</i>	6
Ветров П.П. <i>К.Я. Сигал</i> . Синтаксические этюды	6
Викторова К.В. <i>G. Lazard, C. Moysse-Faurie</i> (eds.). <i>Linguistique typologique</i>	4
Вимер Б. <i>Т.А. Майсак</i> . Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции.....	2
Выдрин А.П., Ландер Ю.А. <i>Secondary predication and adverbial modification. The typology of depictives</i>	1
Герасимов Д.В. <i>G.J. Rowicka, E. B. Carlin</i> (eds.). <i>What's in a verb? Studies in the verbal morphology of the languages of the Americas</i>	5
Грунтов И.А. <i>А.Н. Самойлович</i> . Тюркское языкознание. Филология. Руника	1
Грунтов И.А. <i>J. Janhunen</i> (ed.) <i>The Mongolic languages</i>	2
Гусев В.Ю. <i>А.И. Изотов</i> . Функционально-семантическая категория императивности в современном чешском языке в сопоставлении с русским	1
Добрушина Н.Р. <i>B. Hansen, P. Karlík</i> (eds.). <i>Modality in Slavonic languages. New perspectives</i>	2
Зализняк Анна А. <i>D. Dobrovolskij, E. Piirainen</i> . <i>Figurative language: Cross-cultural and cross-linguistic perspectives</i>	1
Запольская Н.Н. <i>Розмова-Бесѣда</i> . <i>Rozmova-Besěda. Das ruthenische und kirchenslawische Berlaimont-Gesprächsbuch des Ivan Uževyč</i>	1

Иванов С.В. Parallels between Celtic and Slavic. Proceedings of the First international colloquium of Societas Celto-Slavica held at the university of Ulster, Coleraine, 19–21 June 2005	5
Кисилер М.Л. <i>M. Napoli</i> . Aspect and actionality in Homeric Greek: A contrastive analysis.....	3
Кузнецова Ю.Л. <i>M. Tomasello</i> . Constructing a language: a usage based theory of language acquisition	1
Кустова Г.И. Dostoevskij in focus. Лексикография и фразеология литературного текста ..	1
Ландер Ю.А. <i>N. Evans</i> . Bininj Gun-wok: A pan-dialectal grammar of Mayali, Jinwinjku and Kune. V. 1–2	2
Ландер Ю.А., Тестелец Я.Г. Кабардино-черкесский язык.....	6
Минор С.А. Linguistic diversity and language theories.....	1
Урманчиева А.Ю. <i>E. Filimonova</i> (ed.). Clusivity: Typology and case studies of the inclusive-exclusive distinction	6
Хроленко А.Т. <i>А.А. Кремов</i> . Основы лексико-семантической прогностики	3
Шапошникова И.В. Integrum: точные методы и гуманитарные науки	5
Эршлер Д.А. <i>L. Kulikov, A. Malchukov, P. de Swart</i> (eds.). Case, valency and transitivity	4
Эршлер Д.А. <i>J. Hewson, V. Bubenik</i> . From case to adposition. The development of configurational syntax in Indo-European languages	6

Научная жизнь

Хроникальные заметки

Алпатов В.М. Международная конференция «Социологическое направление в советском языкознании»	3
Вельмезова Е.В. Восемнадцатая конференция Международного Общества по изучению истории лингвистики (Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft).....	1
Вельмезова Е.В. Ежегодная международная конференция Общества Генри Свита по изучению истории лингвистики	3
Вельмезова Е.В. Международная конференция, посвященная истории синтаксиса.....	3
Вельмезова Е.В. Международная конференция «Язык и мышление: В.Н. Волошинов и Л.С. Выготский».....	5
Дмитренко С.Ю. Проблемы типологии и общей лингвистики: Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А.А. Холодовича	2
Капитанова Ю.С. Виноградовские чтения 2007 г.....	4
Куркина Л.В., Варбот Ж.Ж. Международный научный симпозиум «Славянская этимология сегодня».....	3
Михайлова Т.А., Парина Е.А. Конференция «Celto-Slavica-2»	4
Паперно Д.А. Юбилейная конференция, посвященная 50-летию семинара «Некоторые применения математических методов в языкознании».....	2
Плотникова А.А. Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура во взаимодействии.....	5
Сичинава Д.В. Вторые Ярцевские чтения в Институте языкознания РАН.....	4
Скребцова Т.Г., Черниговская Т.В. Вторая международная конференция по когнитивной науке.....	4
Степанова В.С. Международная конференция «Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры» Алушка–Херсонес.....	4
Татевосов С.Г. Третья международная конференция по формальному описанию алтайских языков	2
Федорова О.В. Российский гуманитарный научный фонд: поддержка лингвистических мероприятий.....	6